

ВМБ

YMCA PRESS

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

О. А. ХРЕПТОВИЧ-БУТЕНЕВА

ПЕРЕЛОМ

(1939-1942)

YMCA-PRESS



ОСНОВАНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

СЕРИЯ

НАШЕ НЕДАВНЕЕ

3

YMCA-PRESS
11, Rue de la Montagne-Ste-Geneviève – 75005 - Paris

О. А. ХРЕПТОВИЧ-БУТЕНЕВА

ПЕРЕЛОМ

(1939-1942)

1984

I.S.B.N. 2-85065-054-4



Посвящается детям и внукам



Ольга Александровна Хрептович-Бутенева.

Глава 1

ЩОРСЫ.

Погода в сентябре 1939 года в Польше была сухая и солнечная. Деревья Щорсовского парка еще не облетели, листья только начинали краснеть, желтеть и отливать золотом, но на утренней росе в еще зеленой траве уже заблестели серебром осенние паутины. Осень как бы выжидающе задержалась, цепляясь за последние теплые дни, такие тихие в своей настороженности.

Среди нас нарастало беспокойство и страх перед неизвестностью и, казалось, неизбежностью катастрофы. Мы все внутренне оцепенели в этом ожидании и старались непрерывной деятельностью заглушить нарастающую жуть.

Марьюшка и Катя, дочери Поли,* с начала войны уехали в Новогрудок, за 25 верст, на курсы сестер милосердия. По мобилизации призвали нашего управляющего, пана Малишевского. Оставшиеся – лесничий, лесники, эконом, служащие администрации – часто собирались у нас на тревожные заседания, а непрерывные призывы радио к объединению, к сохранению спокойствия, ко всеобщей мобилизации держали нас в постоянном напряжении. Страшны и, казалось, безнадежны были и сводки о продвижении

---

* Семья Бутеневых-Хрептович в 1939 году: граф Аполлинарий Константинович, "Поля", (1879–1946); Ольга Александровна, его вторая жена и мачеха его семерых детей (род. 1890); дочь Прасковья, "Паша" (1911–1969), замужем за Н. Мальцевым, у нее было двое детей – близнецы Сережа и Катя (род. 1934); сын Константин, "Костя" (1912–1963); дочери Мария, "Марьюшка" (1913–1973), Елизавета, "Лизанька", (род. 1915), Екатерина, "Катя" (род. 1917); сыновья Михаил (род. 1919) и Сергей (1922–1974). Война застала Пашу, Костю и Лизаньку во Франции. Остальные все, включая двоих детей Паши, близнецов Сережу и Катю, были в Польше. Гостил в то время в имении и Юлий Эдуардович Конюс (1873–1947), "дядя Жюль", дядя Ольги Александровны.

немцев, и растерянность Англии и Франции, от которых мы ждали помощи.

На нашем фольварке Мурованка день и ночь молотили хлеб для армии, все старались быть на своем посту, и это нас сближало и объединяло в одну большую семью.

При всей этой лихорадочной деятельности внешне наша жизнь текла по-прежнему. Семилетние близнецы, дети старшей дочери Поли, проживающей в Париже, Сережа и Катя, со своей гувернанткой, панной Марьей, нашей милой героической "карлицей", по-прежнему занимались, гуляли в парке или играли перед террасой дома. Панна Леонтина, старенькая экономка с трясущейся седой головой, по-прежнему ходила за мной, требуя указаний относительно меню, по-прежнему Павел прислуживал за столом в белом пиджаке и нитяных перчатках... Много было, конечно, разговоров о бегстве из Щорс, – но куда? Дороги запружены армией и беженцами, везде бомбардировки, а здесь больной Сережа, младший сын Поли, 16-летний мальчик, полный дом старых служащих, которых невозможно бросить на произвол судьбы.

17 сентября утром нас разбудил телефон из Несвежа, имения Радзивила. "Советы перешли границу и их передовые отряды могут быть в Щорсах с часу на час!"

Мы спешно оделись и разбудили всех. Дела много, звонит беспрерывно телефон. За письменным столом, в кабинете, Поля отвечает, отдает последние распоряжения в Мурованку, в лес, в администрацию. Вот и взволнованный голос Марьюшки из Новогрудка. "У нас здесь паника. Приход большевиков застал всех врасплох; тот, кто еще может, бежит на запад. Что вы будете делать?"

Отвечать не пришлось – нас прервали... Снова и снова телефон – из Мурованки, из леса... потом вдруг все стихло.

Собравшись в кабинете у Поли, Миша, 18-летний сын, Сережа, панна Марья и я спешно приняли общее решение – отправить близнецов из дома, чтобы они не испугались при виде возможного насилия и грубости. Тут же наша горничная Варя предложила отвезти их к ее родителям в деревню Лоски. Это и близко, и в стороне от Щорс. Мы, конечно, с радостью согласились. Там, казалось нам, они будут в безопасности. Начались торопливые сборы. За нами по пятам ходит молчаливый, как всегда, когда волнуется, дядя Жюль, брат моей матери, живший вместе с нами. То он с детьми, то связывает вещи, то о чем-то сосредоточенно задумывается. Необходимо было также немедля отправить Павла к его семье. Он осадник, сражавшийся с Советами, злейший враг большевиков, и ему надо скрываться. Миша взялся собрать все имеющееся оружие и выбросить

в пруды. Несмотря на протесты панны Леонтины, надо открыть кладовые, шкапы и комоды, чтобы при неизбежном грабеже оградить служащих от насилия, но важнее всего, пока еще не поздно, отправить Мишу и мальчиков Малишевских в Новогрудок к Марьюшке и Кате. К террасе подали верховых лошадей. Прощанье с Мишей было торопливо и волнующе. Поля крестит его и обнимает... "Не убивай никого!" – долетают до меня его слова.

Со стиснутыми челюстями и каменными лицами садятся мальчики верхом. Молча их провожают пани Малишевская и все служащие. Мы тоже не двигаясь смотрим, как они скрываются из вида, но задумываться над происходящим некогда. Пока одевают близнецов, мы с Полей и Сережей идем в кабинет. За письменным столом Поля с озабоченным лицом разбирает бумаги и документы. Сережа болен, но помогает мне укладывать их в чемодан с немногими золотыми вещами и деньгами, чтобы передать все это на хранение панне Марье. Слышим, как коляска с Василием, нашим кучером, уже подъехала к террасе. Сбегаем вниз... Несут брезент, обтянутый ремнями, – с постельными принадлежностями, кладут его в ноги Василию. Сережа и Катя в осенних пальто, недоуменно, но молча смотрят на эти приготовления. Садится панна Марья, рядом с ней Катенька, Сережу подают панне Марье на колени. В ногах у них какие-то узлы, чемоданы привязаны сзади. Сжимается сердце при виде их беспечных, доверчивых лиц! "Готово! с Богом"! – говорит кто-то сзади. Тронулись! Я подбегаю, кричу им вслед:

– Мы скоро придем помочь вам устроиться.

Дети машут платками... уехали. Дядя Жюль, проводив детей, ушел к себе. Сережа тоже лег в своей комнате. Все разбрелись, и стало вдруг тихо и пустынно...

Что-то порвалось и закрылось навсегда. Служащие тоже все куда-то попрятались.

– Пойдем в парк, – сказал Поля.

Он казался теперь таким осунувшимся и усталым, что у меня захватывало дыхание. Все это утро я уговаривала его уехать с Мишей в Новогрудок – по существу ему, как помещику, мог грозить арест, но он наотрез отказался оставить Сережу, близнецов, меня и всех служащих.

Дороги уже не безопасны, думала я, отряды солдат могут остановить, арестовать, а то и пристрелить при сопротивлении. Теперь уже поздно что-либо предпринимать. Это, как что-то упущенное и недоделанное, меня смутно мучило. А все же при этом и внутренняя радость: что он тут и я не одна.

Моему мужу Поле к этому времени уже минуло 60 лет, мне 45, но оба мы были моложавы, жизнерадостны и здоровы. Оба умели наслаждаться и жизнью, и работой по имению, и семьей. Женаты мы были всего 6 лет, поженились после кончины его первой жены, которую я знала давно и любила, как и всю их многочисленную и прелестную во всех отношениях семью. Вихрь событий захватил нас врасплох, как и всех в Польше. Мы наивно доверяли подписанным соглашениям о ненападении и о несомненной помощи Англии и Франции...

Мы вышли из дома, такого беспорядочного в своей лихорадочной суете. А в парке так необычайно тихо! Светит солнце, плавают как ни в чем не бывало лебеди. Осенние цветы на клумбах еще не отцвели и не помяты. Кое-где под ногами уже шуршат упавшие сухие листья. Такое затишье и кажущийся мир и это предельное несоответствие с действительностью все же дает какое-то отдохновение и внутренне успокаивает. Жизнь, несмотря ни на что, берет свое и продолжается!

Последние мгновения свободы и счастья, так ярко тогда ощущавшиеся. Что можно о них сказать? Мы шли за прудами, останавливаясь, смотрели на дом. Людей не видно и администрация как бы вымерла, ни шума, ни ветра. Все затихло.

Слишком полные тревогой и волнением, чтобы об этом говорить, мы шли молча, и в этом обоюдном молчании – такое внутреннее объединение и связь.

Но вот уже доносится и постепенно нарастает какой-то посторонний, чуждый нам гул – не то топот лошадей, не то грузовики, не то дребезжание железа на повозках. Мы медленно возвращаемся домой.

Больной, худой, с блестящими от лихорадки глазами, взволнованный Сережа идет нам навстречу. Сильнее и сильнее чувствуется стягивающая нас петля... Пока Поля сидел с Сережей, я собрала разбросанные вещи. Пусть все будет в порядке – никто не бежал; дом обитаем и спокоен! Дрожащая, растерянная няня помогает мне подбирать с пола террасы какие-то детские тряпки. Тепло, как летом. Все залито солнцем. Не зная, что нас ожидает, мы, несмотря на протесты Сережи, все же уговорили его и дядю Жюля пойти к близнецам в Лоски. Проводив их задним ходом через кухню, мы вернулись на террасу и сели у стола.

Сидели мы молча, каждый вспоминая и думая свое. Здесь, на террасе, мы летом всегда обедали большой, шумной семьей... Непомерно толстые, овальные колонны поддерживают балкон кабинета, перед нами цветы и розы, за которыми Поля сам

ухаживал… Когда-то наш теперешний дом, вблизи развалин дворца и только что отремонтированного флигеля, был домом управляющего, а терраса – застекленной, высокой оранжереей… Много здесь за эти годы было положено работы… И казалось, что каждая самая незначительная вещь нашла свое настоящее место в этом прелестном старинном поместье…

Шум и гул постепенно нарастали. Мы ждали, что парк с минуты на минуту наводнится людьми, но когда это произошло – все же оказалось неожиданным и страшным.

Они шли партиями и вразброд, озираясь и оглядываясь, как бы ожидая сопротивления. Медленно сходились они вокруг дома и перед террасой. Спереди лица все незнакомые, а позади и наши щорсовские мужики и бабы. Служащих нет – все попрятались.

Поля и я молча встали им навстречу. Было бы тихо и даже пристойно, если бы впереди не шел пьяный, растерзанный не то мастеровой, не то батрак. Он шагал пошатываясь и выкрикивал трафаретные революционные лозунги. В руках он держал наше охотничье ружье, взятое, вероятно, в администрации, и угрожающе направлял дуло на Полю. Я знала, что оно не заряжено, что ни одного патрона, ни одной пули в имении нет, но все же взяло сомнение, я внутренне испугалась, захватило дыхание! Толпа на его крики реагировала мало. Но, увидев в его руках ружье с направленным в нашу сторону дулом, крестьяне подбежали, с руганью обезоружили его и вытолкали вон. Они долго еще продолжали кричать между собой, что-то обсуждая, не обращая на нас внимания…

Войдя в дом, мы через другие двери, минуя толпу, снова вышли в парк. Издали все громче и громче слышался непривычный шум – Красная армия занимала деревню Щорсы. Изредка раздавались отдельные выстрелы, а над нами низко летал самолет.

Мы медленно шли в напряженном молчании по знакомой дорожке. Чувство какого-то оцепенения и нереальности охватило нас обоих, но ни страха, ни печали я не чувствовала, а так, какое-то опустошение…

Совсем не помню, как проходило время. Мы шли, садились на скамейку, снова шли по пустынным аллеям, говоря о постороннем, как бы вне действительности, пока не разыскала нас наша горничная, Ядя.

– Граф, я проведу вас в Лоски, задами, – сказала она нам по-польски. – А то, кто их знает, что будет!

Она принесла Поле куртку, а мне пальто, помогла нам одеться и повела нас полями, огородами и задворками крестьянских домов.

Мужиков нигде не видно – одни бабы да дети, да и те больше сидели по хатам, выжидая – что будет.

– Встречали многие армию хлебом-солью, – торопливо рассказывала Ядя нам по дороге. – Говорят, что Советы пришли освободить нас от немецкой оккупации и от притеснения поляков, войска уже заняли всю деревню, площадь-то перед церковью запружена солдатами, телегами, лошадьми, грузовики разъезжают по дорогам! – и, помолчав, добавила:

– Думаю, вас грабить пойдут! в доме-то все открыто, и кладовые и шкапы, и все-то полно запасами.

– Ядя, скажи служащим, пусть возьмут, что им нужно, и запасутся провизией, а то боюсь, потом поздно будет.

Мы шли не торопясь по пустынным полям, солнце стояло еще высоко, гул и шум толпы остались где-то позади. Молча мы подошли к небольшой, бедной деревне Лоски.

Родители Вари жили в плохонькой белорусской избе на дальнем конце деревни. Два окна на улицу, крыльцо, выходящее во двор, узкие сени. Вошли – закоптелые стены, низкий потолок, лавки по стенам, огромная печь занимает треть комнаты, в углу стол с остатками еды, над ним висят темные иконы. Нас встретили, низко кланяясь, пожилые хозяева. Притихшие дети шепотом переговариваются, изредка хихикая. Сережа, в полушубке, хотя совсем тепло, угрожающе на них шикает. Трагичная, решительная панна Марья хлопочет у стола, убирая посуду.

– А Юлий Эдуардович только что вышел, хотел идти к вам, – сказала она. – Вот, выпейте чаю и закусите, наверно, ничего с утра не ели!

Мы сели у стола. В этой убогой хате нависла над нами какая-то угрожающая тяжесть. Хозяева безмолвны и испуганы и за себя, и за нас. Они не посмели отказать, когда их дочь Варя рано утром предупредила о приезде детей к ним в дом на неопределенное время. Заметна была их жалкая растерянность, смешанная с явной жалостью к нам; тут же и страх за себя, а у нас такая неловкость и боязнь их подвести!

Ядя, попрощавшись, ушла. Хозяева вышли в соседнюю горницу, оставив нас одних. Подали чай, какие-то бутерброды, мы сидели и ждали, окруженные детьми, – так успокоительно было слушать их шаловливые разговоры, видеть их полное доверие в этой необычной обстановке, и такое отсутствие страха и беспокойства. Мы же решили, в сумерки, уложив их, вместе с Сережей вернуться в Щорсы.

Ждали мы недолго. За окном послышались крики, потом торопливые шаги, и на крыльцо шумно вошло несколько солдат. Мы

вышли к ним навстречу. В сенях они оглядели нас, и солдат постарше заявил:

– Не бойтесь, мы вот отведем пока молодого парня зарегистрироваться, а вы тут погодите, – остановили они нас, видя, что мы собираемся идти вместе.

Сережу увели; мы едва успели наскоро с ним попрощаться. Проводив его, я на всякий случай передала панне Марье все деньги, которые у меня были в случайно захваченной сумке. Тут же и браслет, подаренный мне сестрой Поли, – свадебный подарок, – оставила только маленькую иконку Божьей Матери, которая много лет потом меня сопровождала всюду... Чемодан с документами и деньгами панна Марья уже успела куда-то спрятать.

Солнце склонялось к западу. Было часов пять пополудни. Так ярко и красиво освещались окна, все заполняя красноватым светом, когда, громко крича, пришли за нами человек 10 штатских, похожих на фабричных парней. Из них некоторые были одеты в грязные рабочие куртки, другие в кожаные куртки и высокие сапоги. Мы поспешили к ним во двор, боясь напугать детей.

– Собирайтесь в гмину. Там разберут, – кричали они нам.

Зашли в хату, поцеловали наспех детей.

– За них не бойтесь! – успела панна Марья шепнуть нам по-польски, провожая нас во двор. Оглянулись. Дети приникли к стеклу. Долго мне потом мерещились их приплюснутые лица и следящие за нами глаза... Хозяев не видно, может быть, ушли к соседям.

Вели нас широкой деревенской улицей. С обеих сторон избы, кое-где женщины с детьми на руках молча провожают нас испуганными глазами. Мальчишки постарше забегают то спереди, то сзади, возбужденные необычным зрелищем. Посреди деревни нас остановили и окружили, чтобы обыскать. Оружия у нас, конечно, не было, но, вывернув все карманы, вытащили у Поли бумажник.

– В жизни своей я еще не видывал столько денег, – торжествующе закричал один из них, потрясая перед толпой пачкой кредиток. У меня отобрали часы, у Поли тоже, но, пошарив в сумке, оставили платок и иконку. Снова сомкнулось кольцо вокруг нас. Рабочий с бумажником все продолжал высоко держать кредитки, показывая их крестьянам, мы же продолжали шагать по прямой, пыльной дороге в Щорсы.

Вот уже слева виден парк, дом, развалины дворца, каре администрации, а справа от дороги только что выстроенная амбулатория, уже оборудованная всеми необходимыми инструментами, которые мы еще так недавно вместе с Полей покупали в Вильно...

Здесь стоит толпа. Двери и окна открыты настежь. Вероятно, все разграбили, думаю я. Идем дальше не останавливаясь. Слева от дороги, в стороне, одноэтажное здание с высоким крыльцом, окнами выходящее во двор, отделенное от улицы низким частоколом. Покатая высокая крыша. Это гмина, сельское управление Щорс. Весь двор и прилегающая улица запружены народом. Здесь все смешалось – мужики, бабы, солдаты, рабочие. Среди них много незнакомых крестьян, вероятно, из соседних деревень. Толпа наших мужиков нерешительно переговаривалась, они держались вместе, и при нашем приближении голоса их становились все громче и громче. Мы уже явственно слышали их протесты и отдельные выкрики.

– Чего это вы? Куда ведете? Зачем? Это хорошие паны!..

Наш конвой без стеснения протиснулся через толпу и, распахнув дверь, впихнул нас в прихожую. Я здесь никогда не была, но, конечно, раньше по стенам стояли лавки для ожидающих просителей или зашедших по делу в канцелярию. Теперь было пусто, от скамеек остались лишь следы по стенам, пол наслежен, у дверей – солдат с винтовкой. Он ткнул ее ногой; завизжал блок одностворчатой, выкрашенной в коричневую краску двери, солдат, придерживая ее рукой, пропустил нас в большую квадратную комнату. Нервы были напряжены, и я невольно замечала каждую мелочь, каждый звук. Мы вошли и остановились. От сизого табачного дыма в первые минуты мы ничего не различали. Постояли, огляделись. Два окна на улицу, напротив дверь, другая у задней стены, посередине длинный стол, по стенам лавки, кое-где стулья. Над столом висячая электрическая лампа, низкий потолок. Вся комната полна людьми: мужчины, женщины в полушубках и городских пальто, другие просто в пиджаках и платьях, в платках. Это все арестованные в первую голову, как потом узнали, по составленному заранее списку, много и случайно захваченных на дорогах, бежавших в последнюю минуту со своих насиженных мест от неожиданного нашествия большевиков. Тут и чиновники, почтари, полицейские, мужики побогаче и все не успевшие или не хотевшие, как мы, бежать из своего дома.

Навстречу нам встал Сережа, такой худой и бледный, но с каким-то не по возрасту решительным видом. Все же было радостно ощущать его около нас. Мы уселись вместе в свободном углу, на подоконнике, Поле кто-то принес стул. Поля устал, грустным, внимательным взглядом неподвижно смотрит в окно. Тихо мы переговариваемся с Сережей, ищем среди арестованных знакомых, он нам рассказывает, как его записали в какие-то списки и потом провели в эту комнату. Все же мы все надеемся, что по проверке

нас отпустят домой... А блок визжит и визжит, и комната наполняется все больше и больше. Смотрим в окно — на такой знакомой нам площади, освещенной сейчас заходящим солнцем, солдаты расположились бивуаком. Кое-где горят костры. Повозки, телеги. Распряженные лошади, худые как тени, понуро стоят на дрожащих ногах. Вокруг мужики "дивятся" на их худобу, на выступающие ребра, на вздутые животы. Возможно, это было им первое наглядное предупреждение о грядущем голоде и нищете! Нам же все вокруг казалось нереальным — и эти чего-то ждущие люди, испуганные и затравленные, и мы трое, и этот чуждый шум на дворе, и тревожный шепот по углам...

К вечеру зажгли тусклую лампу, за окном ярче вспыхнули огни, а среди нас, в тесноте и дыму, силуэты людей приняли фантастический вид каких-то ночных теней.

Когда совсем стемнело и большую часть людей куда-то увели, нас разделили. Полю и нескольких мужчин заперли вместе, несмотря на мои просьбы отпустить Сережу по молодости лет и по болезни. Как потом выяснилось, их поместили в крохотную камеру, дверь которой выходила в переднюю. Нас же, женщин, человек восемь, — в соседнюю комнату. Так все было сумбурно, когда нас разделили, распихивая в разные стороны, что рассталась я с Полей и Сережей, не успев им сказать чего-то самого главного, и только глазами проводила их до двери, куда их вывели. Ушли! Надолго ли? кружилось у меня в голове. Господи! может быть и лучше для них обоих, что они вместе! думала я. Не верилось, что это может быть надолго. Все это казалось ненастоящим, как будто это так, "нарочно", и смутно и бессвязно пролетали мысли в голове во время этой первой одинокой и бессонной ночи...

Комната, куда нас отвели, заперев за нами дверь на ключ, оказалась довольно большой. Одно из окон выходило во двор перед гминой и главной дорогой. Другое на маленький дворик с уборной в дальнем углу — деревянной будкой, обычной в деревнях. Под окном по двору ходил стражник с ружьем. Мы зажгли висячую электрическую лампу, завесили окно платком... огляделись...

Вдоль стен уже сколочены нары в два этажа. Перед окном стол и два стула. Из дома принесли и передали нам какую-то еду. За нашей дверью слышны шаги и чей-то разговор. Ночь светлая, лунная. Кто здесь? Лица чужие, подозрительные, взгляды недоверчивые, из наших щорсовских никого. Они все говорят между собою по-польски и шепотом. Я устроилась наверху, в углу, ближе к окну — все же можно, отодвинув занавеску, смотреть на затихшую площадь, залитую сейчас лунным светом, смотреть на ясное небо, усыпанное

звездами... Из нас, конечно, никто не раздевался, все мы ожидали чего-то, и неизвестность этого ожидания держала нас всех настороже, не давая никому забыться.

Под утро стало холодно, болели все кости он непривычного лежания на голых досках. Так, в каком-то странном оцепенении, проходили эти первые дни нашего заключения. Все мы были растеряны от внезапности всего происшедшего и не знали, чего нам ждать и на что надеяться. К счастью, стали иногда пускать дядю Жюля, который деловито и смело разговаривал со стражниками. В случае недоразумений показывал свой французский паспорт, приводя в недоумение солдат. Повертев в руках незнакомый документ, они спрашивали друг друга: "Что с таким гражданином делать?" Приходила и Ядя – она тоже никого не боялась, принесла одеяла, подушки, регулярно носила еду. Шепотом она нам рассказывала последние новости, частью по-польски, частью по-белорусски.

– Дом ограбили, сперва много поживились и наши щорсовские, узлами белье и одежду уносили, а что выпало из узлов, так и теперь валяется по всему парку! Как пришла Красная армия – бойцы говорят: "Наше добро!" Никого и близко не подпускают, а сами-то грузовиками вывозили, говорят, прямо в Минск. Вот только рояли тяжелы, и Юлий Эдуардович отстоял. Про вас и графа, когда спрашиваем, говорят: "Еще живы"! А в парке-то без малого сто человек расстреляли, главное по ночам, за грабеж, а может быть и еще за что, мы не знаем.

– Как близнецы? Панна Марья? – спрашиваю я со страхом.

– Дети здоровы, ничего, живут у Вари в избе, панна Марья за ними смотрит, никого не боится, да ее и не трогают!

– Что слышно о графе и Сереже? – с замиранием сердца я жду ответа.

– Да мы снесли им одеяла, носим еду, нас туда не пускают, сдаем стражнику, – добавила она, с сочувствием смотря на меня.

Однажды принес дядя Жюль бутылку коньяка, запечатанную сургучом и с привешенным аптекарским ярлыком на имя Поли. Надпись лекарства латинская. Отдал стражнику, строго приказав:

– Передайте графу, это его лекарство, при нем и откупорите!

Посмотрели, передали... я радовалась, воображая их удивление, а главное их мысль, что их помнят, их не забыли!

О нас наши новые власти эту первую неделю как бы совсем не помнили. Утром и вечером водили под конвоем умываться, выпускали в маленький коридор, где была раковина и холодная вода; впускали по двое, стражник оставался снаружи у закрытой двери. Здесь можно было и постирать, и вычистить зубы. Водили

в уборную во двор. По очереди убирали мы свою камеру, коридоры и канцелярию, где часто сидели солдаты, играли в карты, обедали за длинным столом. Подметали наслеженный пол березовым веником, окропив предварительно из жестяного чайника пол водой.

Однажды, в пасмурный осенний день, выводят нас во двор. У дверей уборной с винтовкой в руках стоит наша птичница — коренастая, краснощекая, курносая Соня. Неумело держит винтовку обеими руками. Увидев меня — отвернулась, опустила глаза.

Дни идут... Мы следим, как выводят в ту же уборную арестованных мужчин. Видим их спины и тяжелую, медленную походку. Перед уборной стоят в очереди. Они не знают, где мы заперты, и не смотрят в окно. Мы же видим их опущенные глаза, небритые, серые лица, но не смеем постучать в стекло. Стараюсь при всякой возможности выпытать у солдат хоть что-нибудь о Поле и Сереже. Есть и среди стражников сочувствующие нам люди, видно это по глазам, по случайной услуге, по несмелой улыбке...

— Вот вам рубахи, — принес мне один из таких, и не глядя сунул сверток грязного белья. — Овшивели, постирайте.

К счастью, есть у меня в запасе чистая смена. Стражник взял, деловито все перетряхивает — нет ли записки, и берется передать.

В коридоре, вне очереди, я стираю под краном в маленькой раковине. Мыло есть — принесли из дома, но вода ледяная, и оно не мылится. И все же казалось — в этих рубашках что-то свое, бесконечно близкое и дорогое; и до сих пор воспоминание об этой "стирке" осталось радостным и светлым на фоне этого мрачного времени. Они тут, близко, просто за стеной, и эта близость и радостна и мучительна — хотя ничем, даже словом, им помочь нельзя.

Дни тянутся однообразно и медленно, но вот в один из таких нудных и тягостных дней, когда приелись и стены, и окна, и вид на опустошенную площадь, открылась дверь в неурочный час и вошел солдат, молодой, в хорошо пригнанной шинели и чисто выбритый. Я, как обычно, сижу на нарах, поджав ноги, прикрытые пледом. Солдат дверь за собой не затворил, наоборот, распахнул ее настежь. Мы все испуганно насторожились.

— Вот, мы покажем нашим бойцам, за что они сражаются. Пусть посмотрят на врагов народа, притеснителей наших белорусов. Вот и графиня из дворца тут сидит. Полюбуйтесь!

Гуськом, по очереди входят солдаты, останавливаются, смотрят, оглядывают, проходят дальше. Что они думают? Чаще молчат, иногда посмеиваются, иногда скажут грубое слово, чаще

смотрят не мигая, серьезно – может быть недоумевают! Лица большею частью молодые, чистые, иногда совсем детские. Смотрят, проходят... В начале это было страшно, не расправа ли! Потом все притупилось, и я уже не чувствовала ни унижения, ни страха, ни гнева. Так, какое-то безразличное окаменение...

Прошел час, может быть больше. Наши женщины сидели неподвижно и молча. Только одна, молодая, изредка всхлипывала и украдкой вытирала глаза. Наконец вошел солдат постарше, с сединой в волосах. Остановился, оглянул нас всех, раздвинул руки поперек распахнутой двери и, обернувшись к остановившейся очереди, крикнул:

– Стыдно! Женщины как женщины, пошли вон!

Вышел сам и захлопнул за собой дверь. Послышалась ругань, но постепенно затихла, и топот ног стал удаляться все дальше и дальше. Старый солдат сторожил дверь до водворения полной тишины. Были еще слышны переговоры с нашим стражником, потом все затихло. Так кончились наши "смотрины". Ушли... Мы взглянули друг на друга, и вся эта сцена нам всем показалась вдруг до того бесконечно тупой и глупой, а несостоятельность и беспочвенность их пропаганды такой комичной, что в первый раз за это время мы не смогли удержаться от дружного смеха. Конечно, это был смех не беспечный и не веселый – в нем слышались и горечь, и облегчение после пережитого напряжения, и радость, что это позади... Переживание это, которое мы так все одинаково ощутили, – нас дружески как-то объединило, и тут впервые я была принята в их польскую семью.

Прошло еще несколько дней в каком-то затишье. Заходили к нам реже. Передачи приносили ежедневно, но передавали через стражников. Стали наших мужчин выводить гулять на полчаса во двор. Нас тоже, но в другое время. Заключенные проходили мимо нашего окна и искали нас глазами, видимо, теперь уже знали, где мы. Мы группой стоим у окна. Смотрим, как они гуськом кружатся по протоптанной тропинке. Потом снова проходят мимо нашего окна, но остановиться не могут, их спешно отгоняют к двери, ведущей в их камеру.

Однажды зовут меня мои сожительницы к окну. У окна Поля! Заросший, худой, с лихорадочно блестящими глазами. Конвой далеко, стоит у частокола, разговаривает, покуривает. Я распахнула окно. Конвой отвернулся! Что это? Что-то случилось! мелькнуло у меня в голове. Были за это последнее время разные слухи – о суде, о расправе, о новых строгостях, о каких-то приехавших из Минска комиссарах, но я всем существом не верила, что будет

плохо. Поля, сильно похудевший, с преувеличенно большими глазами, внимательным взглядом смотрит на меня молча, и вдруг!

– Оленька, тебе останется Сережа! – и протянул мне руки.

– Что? Что ты хочешь сказать?

Но конвой уже подошел и, подхватив Полю под руки, увел его...

Окно захлопнули снаружи и забили досками. Тут я, кажется, в первый раз потеряла самообладание. Меня трясло, и зубы стучали о стакан с водой, который мне наперерыв давали мои милые сожительницы. Меня охватил ужасный, животный страх перед чем-то неизбежным, бесчеловечным и отвратительным. Темнело, зажгли свет. Какая-то внутренняя решимость назревала у меня в душе. Сказавшись больной, я попросилась выйти. Пустили. Дошла до уборной одна. Стоит Соня с винтовкой, отвернулась, на меня не смотрит.

– Соня, говори, что, графа расстрелять собираются?

Шепот Сони:

– Не знаю.

Молчание, потом:

– Сегодня решат вечером на собрании, кого куда...

– Соня, ты там будешь?

Молчание – потом шепот:

– Буду...

– Ну, смотри, Соня, если самосудом, вы все ответите, даром вам это не пройдет, ответите перед Советами и перед польскими и немецкими властями! Это вам не кто-нибудь! Помни это! Скажи им это на собрании, или до собрания поговори с кем надо. Скажешь?

Молчание, отвернулась, и тихо:

– Скажу.

Отлегло от сердца. Соломинка, но не знаю почему – поверила! Стараюсь не задумываться над безрассудностью надежды на влияние Сони, безграмотной, молодой батрачки, правда, чисто пролетарского происхождения. Да, но кто знает! Вот из таких-то и выходили влиятельные комиссарши, вершившие судьбами многих.

Вернулась в камеру. Холодно, ночь длинная, ночь темная и страшная. Мерещатся кошмары, пытки, казни. И в этой темноте вдруг снова закрадывается какой-то нечеловеческий, отвратительный страх, чисто животный, какая-то пустота в желудке и тошнота. Казалось бы, во время такого полного опустошения неотвязчива и успокоительна должна была бы быть мысль о Боге, о молитве, или хотя бы память об этом, но нет, я ничего не чувствовала тогда, кроме полной оставленности, беспомощности и одиночества! Не для помощи ли людям при таком состоянии окаменелости сердца дана Христом

молитва: "Да святится Имя Твое". (В нашем сердце). Всегда, во всякое время, при оставленности, страхе, мучении, болезни, грехе и смерти!

Прошло утро – тихо. Прошел день – тихо. Пришел вечер. Арестованных мы не видали. Соню у уборной сменил солдат, но когда заболело сердце в ожидании и страхе – в сумерки пришла Ядя. И, о чудо, ее впустили! Она принесла хлеба и молока и прошептала:

– Не тронут! Велено отвезти в Новогрудок на суд.

Господи, какая радость заливает всю душу. Снова надежда, и уже осязательная. Мысли бегут – в Новогрудок! Там Миша, там Марьюшка, там Катя – и они помогут, и наконец увижу всех! Все мы повеселели, ведь наша участь, наверно, общая, и на радостях впервые мы устроили общую трапезу.

Снова проходят дни однообразно и кажутся длиннее осенние вечера. В один из таких пасмурных дней, когда и гулять нас не выводили из-за дождя, входят три солдата с винтовками. Выстроили нас по стене в два ряда напротив забитого окна. Хотя мы и знали, что должны нас везти в Новогрудок – все застыли на месте... что это? расстрел? мелькнула глупая мысль броситься в оставшееся незабитым окно, куда-то бежать, куда-то скрыться. У нас у всех, конечно, было невыносимое внутреннее напряжение. К счастью, эти минуты хоть и казались вечностью, думаю, продолжались недолго. Солдаты потоптались, поглядывая на нас, позвякали оружием, поговорили вполголоса и ушли.

Зачем все это? Быть может, чтобы каждый из нас до глубины измерил свою беспомощность и свое малодушие и просил бы о пощаде, плакал и кричал? Не знаю, но, к счастью, все мы без исключения стояли молча, как окаменелые... Но после их ухода мы долго не могли отдышаться и сидели неподвижно. Шумело в ушах и кружилась голова, жизнь возвращалась постепенно. Сквозь щели забитого окна, после дождя, светило заходящее солнце, и привычная, обжитая наша комната и нары, стол, стулья нас как-то успокоили и вернули к действительности.

Октябрь. Осень вступала в свои права, все чаще и чаще шумел ветер, бил в окно косой дождь, все больше мы кутались в платки и пледы.

Начали почти каждый день выводить кого-нибудь из нас с вещами. Прощались мы с ними с беспокойством. Куда ведут? на допрос или выпускают на волю? Они для нас пропадали как в бездне. К концу октября осталось нас в камере всего двое. Снова стали пускать к нам дядю Жюля и Ядю. Постепенно узнаю кое-что о наших. Поля и Сережа как будто здоровы, у них в камере тоже стало

свободнее, близнецы живут по-прежнему, но у них был обыск – ничего не нашли, искали деньги, грозили панне Марье. Няня переехала в администрацию, панна Леонтина тоже там. Пани Малишевская – жена нашего управляющего – уехала с сыновьями в Новогрудок, остальные служащие разбрелись кто куда. Мурованка взята на учет, там работа идет по-прежнему, говорят, сделают совхоз. Из дома мебель давно вся вывезена, кое-что припрятали служащие и мужики. Юлий Эдуардович живет по-прежнему в администрации, играет на рояле или на скрипке; может быть вывезут его в Москву. Все это рассказано отрывисто, на минутных свиданиях при передаче провизии. Хочется знать больше о каждом в отдельности, но спросить не у кого, а при передачах дверь открыта и при ней стражник.

Время течет и течет. Утро, день и бесконечная, глухая ночь! Холод дает себя чувствовать, особенно когда завывает ветер, и к утру пожелтелая трава покрыта инеем. Мне принесли припрятанные няней полушубок, меховую шапку и верховые сапоги. Ядя украдкой шепчет последние новости.

– Польская армия разбита. 27 сентября немцы заняли Варшаву. Генерал Андерс ранен, попал в плен, пока в госпитале во Львове. Ходят слухи – посадят его, как и других офицеров, и вывезут в Москву.*

Моя сожительница слушает жадно и молча. Она молодая, красивая, хорошо одета, хоть и не по-зимнему, о себе ничего никогда не рассказывает, но мы знаем, что она настоящая полька, задержанная в первый же день на проселочной дороге, бежавшая из своего дома. Она не говорит по-русски, я по-польски, но постепенно мы начинаем понимать друг друга и она перестает меня бояться.

Как это удивительно, что мы не замечаем и не ценим "свободы", пока ее от нас не отнимут, свободы самой элементарной – кажется таким чудесным открыть окно, выйти на воздух без конвоя, пройти по дороге, куда вздумается, заговорить с кем захочется, а главное не испытывать этой отвратительной, нудной боязни всего – и тишины, и шума, и постоянного топота за дверью, и ожидания чего-то. Чего? Сама не знаешь, просто неизвестного и неожиданного, и при всем этом такая жажда перемены, перемены во что бы то ни стало, чтобы не завязнуть в этой мертвой неподвижности!

Наконец, в начале ноября входит военный, говорят, комиссар. Оглянул нас, проверил фамилии и объявил:

– Завтра утром собираться с вещами в Новогрудок.

---

* 2 ноября 1939 г. около Гродно и Люблина было арестовано 12 генералов, 8 000 офицеров и больше 200 000 солдат польской армии.

Вот оно, разрешение, но какое? Всю ночь нам не спалось, не выходили из головы всякие предположения и возможности, но все же преобладали радость и надежда. Радость увидеть Полю и Сережу – ведь повезут нас, вероятно, вместе. Радость увидеть детей, а главное, начинала крепнуть надежда на освобождение.

Мы встали очень рано. Еще совсем темно. Горит лампа, мы собираем немногие наши вещи, уже слышится за дверью необычная суета. Наскоро выпили молока и съели хлеба. Ждем одетые.

Всех нас, мужчин и женщин, наконец вывели и собрали во дворе перед гминой. Утро холодное, но сухое. Нас человек 25. Преобладают мужчины, среди них Поля и Сережа. Впервые вижу их обоих вместе и вблизи. Позволено идти рядом и даже разговаривать.

Звенит в ушах и кружится голова от воздуха и волнения. Мы втроем держимся вместе, и, думаю, им, как и мне, яркая радость согревает сердце! Мы смеемся и молчим, и наши лица сияют от счастья и надежды. После длительной переклички, проверки по списку, топтанья на месте, мы, наконец, двинулись в путь. Я думала – нас повезут на грузовиках, но мы шли пешком, окруженные конвоем. Поля в своей коричневой куртке, верховых штанах, высоких сапогах и меховой шапке идет с трудом передвигая ноги. Сережа в полушубке и охотничьих сапогах шагает рядом. Бросаются в глаза их руки, такие похудевшие и слабые. Сережа и я поддерживаем Полю с двух сторон. Невозможно, чтобы он дошел до Новогрудка.

– Дайте ему место на подводе, – прошу я у вчерашнего комиссара, который ехал за нами верхом. Он посмотрел, остановил одну из телег с нагруженными вещами, велел опростать место. Полю посадили на какие-то узлы. Мы с Сережей идем рядом, держась за подводу. Каким-то тихим, более высоким, не своим голосом Поля обратился ко мне.

– А знаешь, Оленька, я никогда еще не испытывал такой внутренней свободы. – И, помолчав: – так, какая-то оторванность от внешней жизни, от всего.

Снова помолчав минуту:

– Нет ни неотложных дел, ни прямых обязанностей и обязательств перед людьми! Какое-то в этом есть облегчение!

Казалось, так много надо бы им сказать нужного и неотложного, но горло как в тисках – не расплакаться бы! Кругом солдаты, ноги завязают в оттаявшей грязи наезженной дороги. С непривычки идти трудно. Молчу, но зато можно смотреть в глаза, улыбнуться, потрогать руку, тихо пожать похудевшие пальцы, поправить шарф

на шее, застегнуть тугую пуговицу куртки или полушубка; и это единственное, что сейчас я способна им дать, а себе доставить такую радость и утешение. А они оба улыбаются, и Сережа держит меня под руку, и я чувствую такую внутреннюю связь с ними.

Вокруг опустевшие осенние поля, неприветливые и черные. Летят с деревьев последние листья, кое-где сидят или пролетают над самой землей черные птицы – к дождю. Как мы поверхностно и мало все это чувствуем и замечаем в спокойной, нормальной и счастливой жизни. Сейчас так хочется эту окружающую нас жизнь вместить в себя и насладиться ею. Часам к трем пополудни мы с трудом прошли полдороги. Говорят: здесь заночуем. Моросит дождь и поднялся ветер. Поселок небольшой. Идем по главной улице, редко кто выйдет на крыльцо и тотчас снова уходит к себе. Наверно, не в первый раз проходит мимо них до каменного здания в два этажа группа арестованных. Освещенный подвал, вокруг люди в кожаных куртках. Вещи велено оставить на подводах. Нас оцепили солдаты. Темнеет рано, и пока нас пересчитывали, вызывая по списку, и проверяли, наступили сумерки. Тут нас разделили. Женщин отдельно от мужчин. Яснее светятся маленькие подвальные окна. По каменной лестнице мужчин спускают в подвал. Страшно смотреть, как они скрываются один за другим, нагибаясь, чтобы не стукнуться о косяк двери. Снова это ощущение страха и беспомощности.

– Пустите меня с мужем! – прошу я человека со списком в руке, но солдаты меня отпихивают и посмеиваясь замечают:

– Ничего! ты, небось, себе другого найдешь!

По приказанию человека со списком, меня под конвоем отводят к каким-то полуразвалившимся, пустым хатам. Не знаю, куда заперли других женщин, но меня ввели во двор одну. Там в углу клеть, я думаю, для кур. Метр ширины, метр длины, покатая крыша, дверь с отверстием наверху, как маленькое незастекленное окно. Дверь захлопнули, защелкнули крючок, приставили солдата сторожить. В этой клети – ни сесть, ни лечь. Пол земляной. Можно только прислониться к задней стенке, у которой какое-то подобие насеста.

Эта ночь – с мыслями о мрачном подвале, оцепленном вооруженными солдатами, с тревожными предположениями и предчувствиями – была бы правда страшной и даже трагичной, если бы не Ядя.

Когда совсем стемнело, затекли ноги и, несмотря на перчатки, застыли и заболели от холода пальцы, услышала я вдруг шорох, движение и шепот за дверью. Встала на носки, смотрю в

окно. Вспыхивает в темноте папироса моего солдата и освещает закутанную в платок фигуру. Вглядываюсь. Господи, да это же Ядя!

— Пусти, говорю, — шепчет она.

— Не велено! — отвечает шепотом солдат.

— Пусти при себе, вот те табак!

После долгой торговли слышу — снимают крючок. Сквозь слегка приоткрытую дверь протягивается рука.

— Вот вам, графиня! — и сует она мне сверток огромных бутербродов с жареной курицей.

— Не бойтесь, — шепчет она, — мужчин пугать будут, ходя с винтовками вокруг подвала, может и к ним заходить будут, но никого не тронут, приказано в целости доставить до суда!

— Ты у меня поговори! — шипит солдат, стараясь прикрыть дверь и оттянуть Ядю.

Смотрю в окно. Вспыхивает папироса. Ядя смеется ему в лицо, и он ей тоже улыбается в ответ.

— Спасибо тебе, милая, — кричу я ей, боясь назвать ее по имени.

Ядя, которая слыла в Щорсах самого легкого поведения, с которой никто не считался серьезно, так как она не укладывалась в рамки трафаретной добродетели, молодая, красивая, веселая и храбрая, настоящая полька, не поленилась и не побоялась последовать за нами, чтобы выразить свое сочувствие и подбодрить и словом и лаской. А как она меня нашла? В темноте, среди солдат, в каком-то глухом закоулке? Сколько надо было хитрости, храбрости и решимости, чтобы суметь одурачить стороживших нас солдат!

Все выступало теперь в другом свете. Вот что значит ласка и сочувствие. Развертываю бутерброды — какая чудесная курица! и корочка хрустит, и свежий домашний хлеб. Кажется, я никогда не ела ничего более вкусного. И все это приготовлено с любовью, с мыслью о нас, с желанием помочь. Какое может быть счастье жить на свете. С любовью, с лаской и вот сейчас с надеждой, что все обойдется, что нас, может быть, — нет, даже наверно, — просто сразу же отпустят и мы все вместе бежим в Варшаву!

Спать здесь, конечно, невозможно. Но это не так уж и важно. На земле лежат завернутые в чистую салфетку бутерброды для Поли и Сережи. И, улыбаясь, думаю, как их тронет и обрадует мой рассказ о Яде. Вот взошла луна, верно, дождь перестал. Светит она и в мое окно, и уже виден кусочек неба, а мой солдат, прислонившись к двери, сидит на земле и похрапывает, положив винтовку на колени. Все тихо, пахнет землей и прелыми листьями. Выстрелов

не слышно. Слава Богу! Может быть и мои там заснули. Попробую и я – спят же лошади стоя. И незаметно для себя, сев на землю, поджав ноги, не то задремала, не то забылась без дум и страха...

Было еще темно, когда я услышала, как звякнул крючок моей двери.

– Выходи! – говорит солдат и, распахнув дверь, пропускает меня вперед. Холодно, но спасает полушубок. Ноги как деревянные, ноют колени.

Дорога сухая, к утру подморозило, вокруг какая-то сырая мгла. Со страхом думаю – как-то они там провели ночь в подвале. Вывели и мужчин, появились откуда-то и наши женщины. Пытливо смотрю на замкнутые лица Поли и Сережи.

Комиссары, выкрикивая фамилии, проверили нас по списку, снова пересчитали, и долго еще мы топтались на месте, топая ногами, стараясь согреться и размять затекшие руки и ноги. Подъехали, наконец, подводы. Полю снова усадили, и мы двинулись в путь. В домах, кое-где, уже брезжит свет, но улица пуста – не слышно ни пения петухов, ни лая собак.

Сережа и я идем рядом, стараясь не отставать. Смотрю на него и Полю. Силюсь угадать, как прошла ночь. Они молчат, а я не спрашиваю, нельзя, – верно, плохо.

Спасают бутерброды – они ведь ничего не ели. Тихо им рассказываю про Ядю. Они слабо и благодарно улыбаются, делятся с нашими соседями. Стража видит, но не протестует. Солнце уже поднялось, светлеет небо, на востоке розовеют облака. Будет, как будто, ясно. Хорошо идти утром. Ноги отошли, руки согрелись, даже горят, грязи нет, сухо, воздух такой чистый, морозный, но главное – впереди надежда увидеть детей, узнать о близнецах, и откуда-то такая уверенность, что нас отпустят, конечно, отпустят! Говорили же нам, что нет состава преступления. Тихо им говорю об этом, и они тоже надеются и смотрят бодрее.

Вот уже вдали и Новогрудок, высится гора с развалинами замка, купол православного собора. Все чаще и чаще стали попадаться нам навстречу верховые, тянутся подводы, обгоняют грузовики. Наша охрана сомкнулась ближе и оттиснула нас к правому краю дороги. Мы растянулись длинной полосой. Все смотрят вперед, идут бодрее, но заметно примешивается беспокойство. Вот и сам город. Двигаемся по главной улице. Прохожие останавливаются, пропуская нас вперед, провожая сочувствующими взглядами. Вот справа Европейская гостиница, вот и площадь, такая знакомая, и гостиный двор с его непомерно толстыми колоннами и грузной крышей. Но где же лавки с зазывающими к себе купцами? магазины

со всякой снедью, базары с крестьянскими продуктами? Все закрыто. Витрины забиты. Весь город как бы замер. Совсем чужой, понурый и заброшенный, прохожих мало, даже в центре. Мы сдвинулись плотной группой. Поля сошел с подводы, идет рядом со мной.

И вдруг, неожиданно захватило дыхание от радости! Кто мог передать, что в Новогрудок пригонят партию арестованных "врагов народа"? Кто предупредил и приготовил все к нашему приходу? Марьюшка и Катя в полушубках и платках, такие молодые, чистые, красивые, улыбающиеся сквозь слезы, стояли посреди дороги, ожидая нас с огромными жбанами горячего кофе с молоком и сахаром и с толстыми ломтями душистого белого хлеба.

Мы все остановились как завороженные. Охрана потопталась, но и она не отказалась от горячего кофе с хлебом, и всем нам наливалось и доливалось досыта в принесенные чашки, стаканы и кружки. Бывает же такое утешение и радость! Чувствовалась такая любовь и ласка, что всем нам хотелось плакать.

– Давай! давай! – раздался советский окрик, такой нам еще непривычный. Кричали только что подоспевшие милиционеры. Охрана сомкнулась, Марьюшка и Катя отступили и долго еще провожали нас глазами, а мы зашагали дальше, не успев сказать друг другу ни одного слова. Все же думаю, что глаза наши, блестя слезами радости и благодарности, сказали им больше самых задушевных слов. А в душе у меня осталось такое ликование, и казалось, что эту неожиданную радость погасить трудно.

Мы подошли к окраине города. Тут остановились перед большим двухэтажным зданием. Подходим к широким каменным ступеням. Поднимаемся по ним густой толпой. Входим в открытую перед нами двустворчатую дверь. Впускают по два человека. Вокруг вооруженная стража. Большая квадратная прихожая полна народу. Высокий потолок, в середине широкая лестница, ведущая во второй этаж. Здесь толпится вся наша группа, здесь же и другие арестованные. У дверей и у лестницы стоят часовые с винтовками. Весь пол наслежен грязными сапогами. Сесть негде – все стоят. У подножья лестницы два комиссара в кожаных куртках и при револьверах. Они, со списками в руках, вызывают поименно арестованных. Уже многие прошли. Комиссары их оглядывают, проверяют по списку, недолго вполголоса совещаются. Женщин и совсем молодых мужчин большею частью отпускают на свободу. Тут же солдаты их выводят в наружную дверь на улицу. Других задерживают и с конвоем провожают по лестнице наверх. Куда? – никто не знает. И мы со страхом и тревогой следим за ними глазами. Из нашей группы первого вызывают Сережу. Поговорив – отпускают. Отлегло

от сердца! Он недоуменно оглядывается на нас, но его уже выводят на улицу. Потом вызывают меня – посоветовавшись между собой, меня тоже отпускают на свободу. Вызывают мою сожительницу, и тоже отпускают.

Тут приводят новую партию арестованных. Толкотня, места мало. Я прячусь за чужие спины, пробираюсь к Поле. Беспокойными глазами он смотрит на меня. Этого взгляда я, кажется, никогда не забуду. Его вызывают – успела только пожать его руку. Жду с замиранием сердца... Поговорили недолго. Слышу страшное слово – "Наверх"! Два солдата по бокам, Поля посередине. Широкая скользкая лестница и стук каблуков. Все. Поля скрылся за дверью. Как сейчас вижу его слегка согнутую спину и наклоненную голову. Посередине лестницы он оглянулся, но вряд ли в толпе заметил мое ошеломленное лицо.

Я осталась, надеясь, что после допроса Полю отпустят. Стою сзади у стены. Мимо все идут и идут арестанты. Одни в выходную дверь, другие наверх. Темнеет. Зажгли свет, редеют люди. Уже была смена стражи и комиссаров, а мы все стоим и ждем. Чувствую какую-то нереальность, с одной стороны – такая долгожданная свобода, а с другой – это жгучее беспокойство о Поле. Совсем уже опустело, наружную дверь закрывают. Ко мне подходит комиссар.

– Ну чего ждете? – говорит он. – Продержат до завтра, там разберут!

Кое-кого из оставшихся и меня выталкивают на улицу.

Холодно, темно, тихо падает мокрый снег и тут же тает под ногами. Тускло освещает фонарь давно неметенный тротуар. В полутьме различаю фигуры детей. Они еще ничего не знают – надеются! Они весь день по очереди поджидали нас у выхода. Но я иду к ним одна. Все ясно без слов.

Как я провела эту первую ночь моего освобождения – просто не помню. Знаю только, что все еще долго теплилась в душе надежда, что Полю выпустят из тюрьмы. "За неимением состава преступления" – все повторяла я кем-то сказанные мне слова утешения. Были мы тогда все еще очень доверчивы и наивны. Я и мысли не допускала, что увижу Полю только через семь лет и во Франции.

Глава 2

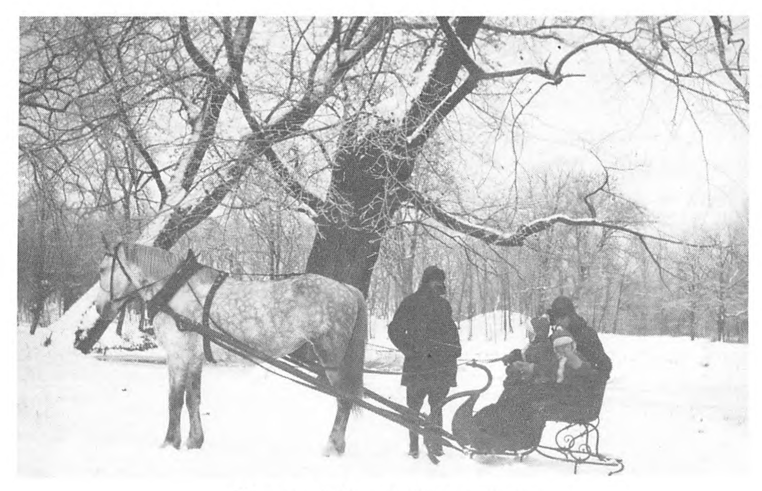
НОВОГРУДОК.

Старый город Новогрудок находится в 25-ти километрах от имения Щорсы. Это был ближайший город, с которым нам всегда приходилось иметь дело. Через него проезжали на станцию Новоельня, чтобы ехать в Вильно или Варшаву, здесь происходила ежегодная продажа леса — это был главный доход в Щорсах. Тут была наша местная администрация, почта, аптека, магазины. Мы все любили этот город и часто бывали в нем. Он приземист, его беспорядочно, но живописно разбросанные низкорослые домики гостеприимны и уютны. Чисто выбеленные, с двумя окнами на улицу, с деревянным крыльцом во дворе, часто украшенным двумя толстыми колоннами перед входной дверью. Улицы вымощены пузатым булыжником, по нему весело и лихо громыхают телеги и повозки. По бокам — тротуары, узкие и часто деревянные, в три доски. Улицы эти причудливо извиваются, теряясь в переулках и пустырях. Они то выпячиваются буграми, то скатываются пологими склонами. Есть в этом провинциальном городке, с его "гостиным двором" среди главной площади, обнесенным непомерно толстыми колоннами, еще придавленными тяжелой крышей, какая-то симпатичная торговая солидность. Эта житейская солидность торгового города вполне совмещается, как ни странно, с поэтической фантастикой развалин старого замка. Он высится над городом, на горе, заросшей кустарником и крапивой, но кажется своим и близким, благосклонно наблюдающим за людской суетой.

В Новогрудке много евреев. Евреи, торговцы в камилавках, часто с пейсами, одеты в невероятные кафтаны, громко и наперерыв зазывают прохожих в свои лавки. Чего тут только нет! Вот булочная с золотым кренделем над дверью, лавки со всевозможной снедью, мануфактура, добротные сукна, ситцы, яркие платки, валенки, полушубки, и тут же сбруи, хомуты, седла и ремни, все это приправлено острым запахом дегтя и чеснока. Торговля здесь



Парадный въезд в Щорсы.



Щорсы. Прогулка в санях.



Щорсы. Отстроенная часть дома.



Щорсы. Ольга Александровна и Аполлинарий Константинович.

процветала, и поляки, и евреи занимались ею со смаком и увлечением.

На главной улице "Европейская Гостиница", где мы так часто останавливались по дороге со станции, чтобы зимой обогреться, выпить чаю в жарко натопленной комнате и услышать от гостеприимного хозяина все местные новости. Над крышами домов высятся купола православного собора, тут же костел, синагога и даже хорошая библиотека. На главной площади любимый нашей молодежью ресторан, знаменитый в округе своей кулинарией, закусками и напитками.

До пришествия Красной армии в Новогрудке жили не торопясь, сытно, спокойно и патриархально. Хоть поляки евреев и недолюбливали и относились к ним свысока, но уживались они мирно и часто помогали друг другу всевозможными услугами. До самого дня вторжения большевиков местная польская администрация не подозревала о надвигающейся катастрофе. Все следили за войной с немцами и были поглощены работой для снабжения армии. Все были застигнуты врасплох, как нам сообщила Марьюшка. Только немногим удалось бежать в последнюю минуту, бросив все, имущество и дела, другие были арестованы на месте службы, многие по дорогам и станциям. На первых порах приход большевиков вызвал везде невообразимый хаос. Одни принимали их за освободителей от немецкой оккупации и от притеснения белорусов поляками, другие старались скрыться куда попало, а новая власть арестовывала без суда, сажала по тюрьмам, реквизировала, что попадало под руку, и преследовала беженцев вплоть до немецкого фронта.

Когда нас в ноябре привели в Новогрудок, город был уже переполнен беженцами из имений, деревень и поселков; всем казалось, что здесь легче скрыться и прорваться к железной дороге, чтобы бежать к Белостоку и дальше. Беженцы семьями ютились по квартирам, комнатам и углам незатейливых новогрудских домов. Все наиболее крупные новые здания были заняты советской администрацией, милицией, органами НКВД и армией.

Все же тогда было еще сравнительно легко обмануть их бдительность и незаметно проскользнуть из постепенно стягивающихся сетей. К ноябрю местная администрация, получив директивы из Москвы, успела организоваться. Приехали сведущие комиссары, товары исчезли, и появилась черная биржа. Арестованные ждали следствия, допроса и расправы. Улицы уже давно не убирались, и весь город принял опустошенный, грязный вид. Позакрылись ограбленные лавки, потянулись бесконечные

очереди за немногими оставшимися продуктами. Прохожих почти не видно – выходили только при крайней нужде и по неотложному делу.

В квартире Марьюшки и Кати нам всем места, конечно, не было. Какой-то сочувствовавший нашей семье кафельный фабрикант, с которым мы даже не были знакомы, предоставил нам несколько комнат и подвал в своем доме. Тут мы все и разместились. Миша, Сережа, Марьюшка, Катя и я. Помню только сумбур этих первых дней. Слухи, проекты, предположения, советы и все нарастающее беспокойство о Поле и близнецах. У детей непрерывно шли совещания о бегстве из этого ада на Запад, в Европу. Конечно, в начале и я в них участвовала. Одновременно неотвязчиво вставал вопрос: как и чем можно помочь Поле, чтобы скорее добиться его освобождения. Здесь мнения разделились.

Казалось логичным, что через влиятельных людей извне легче повлиять на советскую власть и попытаться этим путем добиться своей цели. Были там, за границей, такие люди, знающие нашу семью, которые несомненно постараются помочь нам, и надо скорее добраться до них. Так думали и рассуждали дети. Я же всем своим существом видела и ощущала Полю здесь. Мы теперь достоверно знали, что он сидит в новогрудской тюрьме. Уже не раз мы все пытались справляться о нем в учреждениях НКВД. Добивались свидания и возможности передач, но ни того, ни другого не разрешали. Мы были бессильны ему помочь.

Надвигалась зима. Я представляла его себе голодным и раздетым, без белья и теплой одежды. Мне казалось необходимым прежде всего его одеть и накормить. Утешить своим присутствием, как только его выпустят, на что я все время надеялась. Князь Мирский, наш сосед по имению, неоднократно эту надежду во мне поддерживал.

Дни проходили, все дальше я отходила от этого соблазна – уехать, бежать с детьми. Их доводы и уговоры были для меня все менее и менее убедительны. Из общей комнаты, где я жила с девочками, я переехала в крохотную каморку с окном во двор. Меблирована она была узкой койкой, столом перед окном и стулом. Здесь я была одна. Далеко от безостановочной суеты, разговоров и шума, я могла свободно отдаться своему горю, ожиданию позволения свиданий и передач, а временами и надежде, что Полю скоро выпустят. Василий Мирский по-прежнему заходил, обнадеживал, но однажды предупредил Мишу, что ему надо скрыться, т.к. со дня на день ему грозит мобилизация или арест. Он, конечно, рисковал больше нас всех. Миша, не долго

думая, собрался и бежал в Варшаву, надеясь послать оттуда проводников, которые помогут нам бежать.

В это время Советы, так же, как и их союзники немцы, тщательно охраняли свои границы. Переходить ее со стороны Советов было с каждым днем опаснее. Перебежчиков хватали вооруженные патрули, ловили их иногда с собаками, арестовывали, а то и просто пристреливали убегающих. Пограничные польские деревни помогали, как могли, этим беженцам, сами рискуя арестом. У этих крестьян можно было отогреться, дождаться ночи, поесть, договориться с опытными проводниками, которые знали каждое дерево в лесу и изучили повадки советских охранников. Им можно было безусловно доверять. Я ни разу не слышала за всю эту зиму о возможности предательства с их стороны.

Уход Миши как-то морально разбил нашу семью. Явно приблизилась необходимость бежать скорее, но для этого надо было немедля перевезти из Лосок в Новогрудок близнецов и панну Марью. Мы уже давно не видали их, нам поехать к ним – могло им только повредить. По слухам мы знали, что они здоровы, что у них было несколько обысков, что перерыли всю хату, ища золота и денег, и только недавно, подняв пол, нашли около печки наш чемодан с документами и кое-какими вещами. Панну Марью хотели арестовать, и ее спасла только находчивость и храбрость. Защищаясь, она им крикнула:

– Я ведь тоже рабочая и тоже хотела хоть чем-нибудь поживиться.

Эта фраза, понятная сердцу комиссара, ее спасла. Чемодан они забрали, но к ней самой отнеслись благосклонно и оставили пока с детьми в покое. Все же жить без денег и на примете у советских властей было дольше небезопасно. Необходимо было за ними послать кого-нибудь с подводой. На это опасное предприятие охотников не было, да и подводы и лошади у крестьян почти все были реквизированы. Пришел на помощь местный булочник – еврей. Когда мы после многих бесплодных попыток уже отчаивались найти выход из этого положения, он вечером зашел к нам.

– Я вам детей привезу, – сказал он, – только дайте записку к вашей няньке, она полька, не поверит "пархатому жиду" и детей мне не даст.

С радостью и благодарностью мы ухватились за это предложение. У него была лошадь и телега для подвоза муки. Под предлогом поездки на мельницу, он ночью буквально выкрал детей из Лосок и до света благополучно доставил нам их всех на квартиру. Мы ждали их всю ночь, и когда их, закутанных с головой в платки и

пледы, внесли к нам в комнаты, у нас как гора с плеч свалилась. Они были здоровы, одеты в синие поддевки, отороченные белым мехом, и недоуменно нас оглядывали, пока мы наперерыв не бросились их раскутывать и целовать.

Когда же они пришли в себя, то, хохоча, возбужденно и весело стали носиться по квартире, уговорить их лечь после бессонной ночи оказалось невозможно. Булочник, воспользовавшись суматохой, не дожидаясь благодарности, – исчез. Пребывание детей в Лосках не повлияло на их здоровье. Они выглядели, как и раньше, чистыми, причесанными и воспитанными. Конечно, этим мы всецело обязаны панне Марье. Она тоже сияла, и у нее свалилась гора с плеч. Она не была больше одна, с чужими детьми, в глухой деревне, в окружении враждебных к ней белорусов, а главное – под постоянной угрозой НКВД.

Детьми теперь почти всецело занялись Марьюшка и Катя. Я – незатейливым нашим хозяйством и стиркой в подвале, под руководством той же панны Марьи. Она же теперь исчезала иногда на целые дни, завязывая отношения с местными поляками и беженцами. Ее соотечественники ей всецело доверяли и передавали все добытые ими сведения. Они обсуждали с ней возможности побега, давали адреса пограничных крестьян, списки людей, которым грозили арест или обыск. В тюрьму все же передачи не допускались, и узнать о заключенных было невозможно. Правда, заходил к нам Василий Мирский, обнадеживал, что Полю на днях выпустят, что его судить не будут, но дни проходили, и надежда на его освобождение таяла.

К этому времени съехалось в Новогрудок много родственников и друзей арестованных. Они стали между собой организовываться, чтобы хоть отчасти узнать, что же дальше угрожает им и нам. Многие из польских жен и дочерей пошли служить к большевикам секретаршами, переводчицами, уборщицами. Информация, добытая ими с большим трудом и риском, передавалась шепотом среди нас. Узнавали теперь и кого водили на допрос, и чье следствие закончено. У энкаведистов часто работали очень молодые и неопытные служащие, которых еще возможно было обмануть и одурачить. Впервые тут стали ходить слухи о предполагаемом массовом вывозе поляков вглубь Советского Союза, правда, этому известию трудно было поверить. "Невозможно же вывезти всех несочувствующих", – говорили мы. Но все же среди беженцев поднялась настоящая паника. Затравленные слухами люди не ночевали у себя и ежедневно искали нового убежища, куда бы скрыться до побега. Стали появляться в Новогрудке жены и семьи польских офицеров и солдат, новые

беженцы, среди них много евреев, спасавшихся от немцев в надежде здесь найти приют у своих родственников и друзей. От них узнали мы подробности о разгроме польской армии, об арестах офицеров Советами и о вывозе пленных в Советский Союз.

Мы тоже лихорадочно готовились к бегству. В это время неожиданно приехали к нам два проводника, посланные Мишей из Варшавы. Это были два молодых парня, служившие при жизни старого князя Мирского лакеями в его имении Мир. Их звали – Алеша Белый и Алеша Черный. Они нам передали приказ:

– Пан Михал велел ехать немедля, спасайте детей и не играйте в героинь.

Не знаю, действительно ли таковы были Мишины слова, но они несомненно послужили толчком к бегству, и в конце ноября Катя, Сережа, близнецы и панна Марья вместе с проводниками двинулись в путь. Было уже холодно, снег и мороз. Было страшно попасть в руки советской охраны. Пройти сквозь цепь стражников в пограничной полосе можно только пешком, в темную безлунную ночь, и это с семилетними близнецами!

Ни денег, ни багажа у них не было – одна только непоколебимая решимость. В глухую, темную ночь, в опустевшей и затихшей квартире, мы остались вдвоем с Марьюшкой. Один Бог знает, что мы передумали и о чем говорили. Каждая из нас переживала по-своему; Марьюшка мне тогда рассказала, как ей предлагали работать в НКВД, обещая за это выпустить отца и даже всю семью за границу. Долго мы обсуждали, как нам жить дальше, но тщательно избегали думать и говорить о настоящем. Мы знали, как долго еще ничего не будет известно о переходе границы и как бесполезны и тягостны разговоры об этом. Как всегда в трудные минуты, когда приходит отупение и апатия, спасла насущная необходимость. Надвигался голод... немногие деньги были прожиты, хлеб получали только по карточкам, а это был у большевиков один из способов регистрации. Лозунг "Кто не работает, тот не ест!" стал входить в силу. Необходимо было начать где-то работать. Марьюшка ушла из дому, получив какую-то службу. Я осталась одна. Квартира фабриканта, в которой мы прожили несколько недель, была на учете – оставаться в ней небезопасно. Найти же мне комнату в переполненном городе казалось невозможным. На каждый освободившийся угол была строгая очередь. Ютились и на станции, ночуя на скамейках в нетопленных грязных помещениях, ожидая возможности выехать. Отдавали последние вещи русским солдатам, чтобы они не отбирали квартир. Мне же, как жене арестованного, всем известного в Новогрудке помещика, было особенно трудно найти даже койку.

Я была на учете у НКВД. Поляки меня побаивались, зная, что я русская. Для всех мое присутствие могло стать предлогом обыска, нашествия милиции и НКВД. Приходила мне даже мысль вернуться в Щорсы, но это казалось уже полным поражением, да и помогать Поле оттуда было невозможно. Пришлось ходить из дома в дом.

Хрустит снег под ногами. Светит солнце. Избегаю главной улицы, брожу с утра до вечера по извилистым переулкам. Высматриваю, где сквозь щели ставен брезжит свет, где тонкой струйкой подымается к небу дымок. Стучишь. Не всегда и дверь открывают – боятся. Так, после нескольких дней бесплодных поисков, я случайно набрела на небольшой одноэтажный домик, далеко от центра города. Маленький переулок, заваленный сугробами. Поломанные, разобранные на топливо частоколы, вокруг – никого. Ставни в домах закрыты, но вот у одного из них дымок над крышей. Хоть и запущено все вокруг, но, видимо, все же обитаем. Вошла в маленький грязный двор. Постучала в темное окно. Ответа нет, уже смеркалось. Надо возвращаться, думала я, когда заметила сквозь щели второго окна слабый проблеск света. Прошла к двери. Постучала громче. Вижу, на двери квадрат другого цвета, как будто недавно оторвали дощечку. Наверно, была фамилия дантиста или доктора, промелькнуло у меня в голове. Слышу шаги, неуверенно приотворилась дверь, задержанная натянутой цепочкой. Выглянула молодая женщина. Увидев меня одну, впустила в узкую переднюю. Гладко зачесанные темные волосы, миловидное лицо, заплаканные, распухшие глаза. Вопросительно и молча она смотрела на меня. Вероятно, она очень испугалась, поняв, что я русская, покраснела, и вид ее стал еще беспомощнее. Я уже к этому времени могла немного объясняться по-польски.

– Я ищу комнату, – сказала я, ожидая обычного ответа.

Удивленно взглянув, она провела меня в небольшую, почти пустую, но очень чистую комнату с опрятными занавесками на окне, выходящем на улицу.

– Как ваше имя? – спросила она меня.

Как только я ей назвала свою фамилию, все ее лицо так и осветилось приветливой улыбкой. Схватив мои руки, она радостно заговорила:

– Знаю о вас все. Мой муж тоже арестован, он доктор и сидит в новогрудской тюрьме. Меня здесь все боятся и никто не хочет жить со мной. А я тоже боюсь даже на улицу выйти – здесь все служащие живут, к ночи возвращаются, а я все одна.

– Я уже давно одна, и так все вокруг страшно. Я боюсь, я боюсь, – все повторяла она. – Неужели вы согласитесь жить со мной? Я была бы так, так счастлива.

Для меня это тоже было неожиданным счастьем, и, когда совсем стемнело и по нашему переулку кое-где зажглись в окнах мерцающие огоньки, мы, взяв салазки, вдвоем крадучись по опустевшим переулкам, перенесли вещи, оставленные мне бежавшими детьми. Драгоценное мое имущество в то время состояло из походной кровати, тонкого тюфяка, подушек, одеял и немногого белья. Ванда Скопович, так звали мою хозяйку, напоила меня чудным чаем с вареньем, за которым она сходила в подвал. Я только отчасти понимала ее беспорядочные рассказы о себе, о муже, о родителях, оставшихся в Кракове под немецкой оккупацией.

Пани Скопович была прелестная бесхитростная женщина. Слабая здоровьем, после недавно перенесенной операции, она жила после ареста мужа в постоянном страхе надвигающейся катастрофы. Ее муж, врач по профессии, был немного старше ее, работал он в Новогрудке после войны 20-го года не только частным врачом, но и тюремным. По приходе большевиков он был арестован одним из первых. Его обвинили в чудовищном преступлении – намеренном убийстве сидевших в тюрьме коммунистов. Грозило ему это, конечно, расстрелом, и Ванда ежедневно ждала суда и расправы. Детей у них не было. Выйдя замуж лет 8 тому назад, она жила с мужем счастливо и бездумно. Всей душой она привязана была к вещам и хозяйству. Сидя дома, ожидая прихода мужа, она с любовью готовила вкусные обеды, а по праздникам принимала друзей и знакомых. Любила заготавливать впрок всевозможные продукты, и даже сейчас ее подвал, замаскированный линолеумом, был полон окороков, сала, колбас, всяких солений и печений. Это, неслыханное по тогдашнему времени, богатство еще не нашли и не разграбили, хотя кабинет, книги и часть мебели были вывезены сразу после ареста. Жен и детей арестованных пока не трогали, но со дня на день она ждала реквизиции дома. Правда, он был очень скромен и стар и большевиков не привлекал.

Очутившись одна, Ванда совершенно растерялась, жила в полной прострации, никого не видя и ни у кого не бывая. К ней тоже никто не заходил – большинство ее друзей или были арестованы, или бежали. Только когда я вселилась к ней, она немного ожила, стала прибирать разбросанные после обыска вещи и кое-что готовить на кухне. Я же после поисков комнаты, суеты и шума города наслаждалась тишиной в ее доме.

Мы жили вдвоем, как бы забытые всем миром. Известия до нас не доходили, изредка только я бывала у Малишевских и знала, что передачи в тюрьму еще не разрешены.

Разыскал меня Василий Мирский, заходил, снова обнадеживал и предупредил о приезде в ближайшем будущем в Новогрудок немецкой комиссии, которая договорилась с Советами о выпуске некоторых лиц из населения и даже из арестованных, имеющих немецких родственников. Был также разговор о выкупе арестованного, что в это смутное время иногда действительно удавалось, но денег ни у кого из нас не было, достать же было невозможно. Самым существенным для меня было сейчас найти хоть какую-нибудь работу, чтобы зарегистрироваться и получить хлебную карточку.

Наступил декабрь – снегопады, морозы и вьюги еще более отделили нас от внешнего мира. Совершенно неожиданно среди этой неразберихи открылась на главной улице музыкальная школа с преподаванием пения, скрипки, фортепьяно, танцев и драматического искусства. Зашла ко мне пани Малишевская об этом предупредить. Она знала, что я окончила консерваторию в Петербурге и в Париже преподавала в Русской консерватории.

Преподаватели ринулись в эту школу толпой, предлагая свои услуги. Советы отнеслись к этой затее благосклонно. Директрисой школы назначили бывшую провинциальную певицу в отставке, которая не отказывалась и теперь выступать с популярными песенками в красноармейском клубе. Благодаря этому, она была у советских властей на хорошем счету. Думаю, что и идея открытия школы принадлежала ей. И ей удалось спасти немало людей. Записывались в число преподавателей – певцы и певицы без голоса, старые танцовщицы из провинции, какие-то старушки, когда-то игравшие на рояле, декламаторы, режиссеры. Попала туда и я. Заполнения анкет еще не требовалось, достаточно было рекомендации директрисы, а она благодушно принимала всех без разбора, просила только по возможности приводить в школу учеников.

В первом этаже какого-то реквизированного дома устроили классы без инструментов. В зале наскоро сколотили из досок небольшую эстраду для выступлений и поставили на ней единственный, старый, расстроенный рояль. По квартирам и частным домам набрали скамейки и стулья и повесили над эстрадой портреты Ленина и Сталина. Музыкальная школа тут же была торжественно открыта и зарегистрирована в НКВД.

Раз в неделю все преподаватели обязаны были являться на очередное собрание. Директриса по записке читала на русском языке кем-то написанную речь с неизменными советскими лозунгами и поощрениями работать для подъема искусства Белоруссии.

После жидких аплодисментов мы все расходились по домам, но в кармане у нас имелась драгоценная хлебная карточка с заметкой о преподавании в новогрудской музыкальной школе, и это было не только обеспечение хлебом, но могло заменить при случае и паспорт. Хуже дело обстояло с учениками. Полякам было не до музыки, белорусы и Советы заняты более важными делами, и учеников просто не было ни одного. Это становилось даже опасным. Что делать? Закроют школу, с ужасом думали мы. Решили устраивать концерты пения, декламации, танцев. Иногда меня вызывали аккомпанировать выступающим артистам. Публика была нетребовательная – да и как было разобрать, кто ученик, а кто учитель? Зал наш заполнялся молодежью и советскими солдатами.

Познакомившись со мной ближе, директриса однажды решила использовать меня, по ее выражению, "на благо школы и искусства вообще".

– У вас, конечно, – сказала она мне, – осталась в Щорсах нотная библиотека, а может быть и инструменты. Я могла бы устроить вам туда поездку на грузовике, привезите нам что возможно из нот, все равно на курево пойдет, – прибавила она тихо.

Попасть в Щорсы! Пройти по опустевшим комнатам, дому и парку, ставшими мне за эти годы такими родными и близкими! Вероятно, это будет ужасно страшно и жутко. Но так бы хотелось узнать о судьбе дяди Жюля, оставшихся служащих, о Яде, о Мурованке, обо всех, кто с любовью и храбростью помогал нам, не боясь себя скомпрометировать.

Подумав, я согласилась, и через несколько дней за мной в школу заехал грузовик с шофером и молодым советским комиссаром. Мы разместились – шофер и советский служащий спереди, а я сзади на полу грузовика. Снег замел дорогу, но ехали мы быстро, и заносило нас то в одну сторону, то в другую. Дорога такая знакомая! Двигаются по ней нагруженные машины, и пролетают деревни и поселки. Было уже три часа пополудни, когда мы въехали в ворота щорсовского дворца.

Во флигеле, отремонтированном Полей, где в последние годы жили дети, все пусто, ставни закрыты. Видно, еще не договорились, что делать с Щорсами, думаю я. Вылезли и пешком прошли во двор администрации – я спереди, показывая дорогу.

Вышел дядя Жюль, выглянули из-за двери испуганные лица няни и панны Леонтины. Дядя Жюль, постаревший, осунувшийся, шел нам навстречу с протянутыми ко мне руками. Мы взволнованно поцеловались, он вопросительно и пытливо смотрел

на меня, пока панна Леонтина здоровалась со мной, говоря что-то невнятное.

— Покажите дом, — сказал комиссар, ни на кого не глядя.

Ключи у панны Леонтины. По запущенным дорожкам, узкой тропинкой среди сугробов мы прошли к нашему дому. Трясущимися руками она отворила нам дверь кухни. Пусто, холодно, гулко раздаются наши шаги по коридору. Вот дверь ванной, вот комната близнецов, вот столовая... Все вывезено, только на стене одиноко висит огромная голова оленя. Осмотрели и другие комнаты — внизу мебели нет. Идем наверх. От ковра только клочья. Входим в маленькую гостиную, кое-где валяются на полу скомканные фотографии, бумага, солома. Вот и большая гостиная — совершенно пустая, даже тяжелая хрустальная люстра снята, и только посреди огромной комнаты стоит концертный рояль Стенвей. Не видно ни одной нотной тетради. Входим в кабинет и спальню. Книг — ни одной, все пусто, ни письменного стола Поли, ни кресел. Разбитый бюст, стоявший в углу, валяется у двери. Окно на террасу выбито, летают по комнате на сквозняке сор, бумага и солома. Кое-где стоят еще тяжелые шкапы красного дерева с оторванными стеклянными дверцами. Ушли книги... Полины друзья, всю его жизнь вновь и вновь появлялись они, где бы он ни жил, с книгами он так ласково прощался в Бордебюре за несколько дней до смерти!

В спальне на стене криво висят две иконы в почерневшей серебряной оправе — Спасителя и Божьей Матери, которыми нас благословили на свадьбу.

За мной по пятам идет советский комиссар. Я сняла иконы, он смолчал. Сзади стояли дядя Жюль и панна Леонтина.

— Куда все девали? — спросил комиссар, грозно смотря на трясущуюся, седую голову панны Леонтины. У нее задрожал подбородок. Ответил дядя Жюль:

— Все отсюда вывезено Красной армией в первые же дни. Вывозили на грузовиках. Говорят, в Минск. Вот один рояль остался, тяжел, да у меня в комнате один, я музыкант, мне без инструмента нельзя, на это армия дала письменное разрешение.

Помолчали... Делать тут больше нечего.

— Созовите людей, заберем рояль и поедем, — сердито заявил комиссар.

Пока созванные мужики спускали рояль в разобранном виде без ножек по лестнице, мы с дядей Жюлем вышли в парк. Никогда раньше я не ощущала к нему такой близости. Держит меня под руку, постукивает своей палочкой. Ходим с ним взад и вперед

по нечищенным дорожкам. Я слушаю его взволнованные слова, и от волнения доходят они до меня, как в тумане.

– Слышали мы тут, все твои, кроме Марьюшки, уехали! Ну и слава Богу! Хотят меня до окончания войны везти в Москву. Я думаю поехать. Рояль заберу с собой, постараюсь издать "Крокодила".

Помолчал, потом, не глядя на меня:

– Мы тут, знаешь, собирали подписи под петицией об освобождении Поли. Собрали много, отправили в НКВД, я сам отвозил и говорил с комиссаром, рассказывал ему о гуманности Поли, о его либерализме, о его помощи крестьянам и о том, как любили его. Меня комиссар только выругал, не знал я, что слово "либерал" у них ругательным стало!

Говорил дядя Жюль быстро, путая слова и часто переходя на французский язык. Помолчали...

– Давно я отдал петицию, все-таки думаю скоро ответ будет! – и замолчал.

Рояль спустили. Звенят потревоженные струны, подняли его на лямках, поставили на доски, стащили в грузовик, тут же положили отвинченные ножки.

– Кое-что удалось нам спрятать в администрации, – шепчет мне дядя Жюль, – при оказии привезу. Оставь мне адрес.

Оглядываюсь. Уже часов пять, скоро будет темно. В парке все занесено снегом – не видно, где пруды, где земля... Как пеленой покрыто все прошлое, пролетело в мыслях, но ни гнева, ни печали уже нет, – все равно нам с Полей здесь не жить! Медленными шагами вернулись в администрацию. Вхожу в комнату дяди Жюля, дверь оставляем открытой. Все прибрано, чисто, только на рояле, на пюпитре и на столе разбросаны бумаги, ноты, рукописи, записки и окурки папирос. Завернула в бумагу принесенные иконы – возьму с собой. Смотрю в окно – двор администрации чист, проделаны дорожки, посыпаны песком. Только здесь еще и теплится жизнь, подумала я.

– А я вот здесь один. Няня у меня убирает, панна Леонтина готовит. Мне все приносят сюда, – тихо рассказывает дядя Жюль. – Обедаю с книгами; обо мне не беспокойся, меня не трогают! Вот ты как? – и берет меня за локоть. Я молчу, он и без слов понимает.

– Пойдем в столовую, выпей чаю! – прерывает он тягостное молчание. Мы вышли, притворив за собой дверь.

В бывшей столовой Малишевского нас угостили горячим чаем с хлебом и маслом. Позвали шофера. Комиссар от чая отказался и ушел во двор поговорить со стоящими там мужиками.

– В Мурованке коровы целы, – говорит осмелевшая панна Леонтина, – служащие там работают по-прежнему, думают – под совхоз пойдет.

Она хлопочет у стола, разливая чай. Разговор не клеится. Я молчу, потрясенная всем. Няни нет. Дядя Жюль греет руки о горячую чашку и тоже молчит. Комиссар вернулся, стоит к нам спиной, смотрит в окно на угасающий день. Заметно темнеет, зажгли электричество, пора ехать... Прощаюсь с тяжелым чувством, что это навсегда. Дядя Жюль сует мне в карман деньги. Выходим все во двор, вышла и няня. Поцеловались. Грузовик уже ждет. Мы разместились по-прежнему. Обернулась на провожающих – вижу, бежит торопливо, спотыкаясь панна Леонтина и что-то нам кричит. Остановились. Подбежав, она протягивает мне подушку и плед на ноги.

Какие разные у людей чувства и реакции, и чем они вызваны? Рядом с жестокостью, грубостью и ненавистью вот эта забота и ласка. А ведь она существует у всех – казалось бы, самых жестоких! Отчего такое тяжелое чувство при виде этого опустелого дома? Тут не только личное, тут и другое, более глубокое и страшное. Ведь это наглядная печать их ненависти к нам, не к нам лично, конечно, но к сословию, вековому строю... Страшно вызывать такую животную злобу, ведущую к жестокости, на которую даже животные не способны. Страшно вызывать эти чувства из недр человеческого сердца, и в этом наша огромная ответственность! А в глубине совести ощущается очевидность нашей в чем-то виновности. Соблазны? Но горе тому человеку, через которого соблазны приходят... Все эти мысли кружатся у меня в голове, и стоят в глазах растерянные лица проводивших меня, таких мне близких по духу людей.

Едем обратно медленно. Рояль, хоть и привязан, опасно покачивается на ухабах, дорога к вечеру пустынна, яркая полоса освещает безоблачное небо, солнце зашло. Приехали мы поздно. Оставили грузовик перед школой до утра, прикрыв инструмент брезентом. На следующий день солдаты внесли его в школу и поставили на эстраду, старый же вынесли в одну из комнат – будет теперь класс с роялем!

– Ноты все исчезли, – сказала я нашей директрисе, – да и вообще все оттуда вывезено.

Она только пытливо на меня посмотрела и тепло поблагодарила за рояль. Вернулась я из Щорс с тяжелым чувством, долго не покидавшим меня. Остро я ощущала, что последняя связь с прежней жизнью порвана навсегда.

Наша музыкальная школа, за неимением учеников, явно прогорала. Я почти перестала бывать там, только разве для аккомпанемента на халтурных выступлениях, но меня, как и других, из числа преподавателей не вычеркивали, и хотя жалованья, конечно, никто не получал, но хлебную карточку не отбирали.

Без вестей из тюрьмы, от близнецов и от детей из Варшавы дни тянулись тоскливо и беспокойно. Стала в Новогрудке выходить местная газетка по-белорусски. Бумага какая-то серая, два листка площадной ругани по адресу поляков, польской администрации и крестьян побогаче – началось разоблачение "кулаков". На видных постах уже почти всюду стали появляться белорусы, многие приехали из Минска на смену польским чиновникам. Однажды под нашу дверь подсунули такую газету. Просмотрела и с отвращением и ужасом прочла передовицу, написанную по-русски. В ней описывалась наша жизнь в Щорсах. Оргии, пьянство по ночам; описывались наши прогулки по парку с Полей, как спереди, пятясь, крестьянская девушка сметает перед нами упавшие листья с дорожки, по которой мы шествуем. Я бы не поверила, что можно написать такую нелепость, если бы сама ее не прочла. И тогда по своей наивности очень возмутилась этой наглостью.

– Пойдите к Малишевским, – посоветовала Ванда.

Он, наш бывший управляющий, недавно вернулся в Новогрудок, и они теперь вдвоем, без детей, жили в постоянном страхе обысков и репрессий, но никуда не собирались уезжать. Я пошла к ним как к друзьям, знавшим близко нашу жизнь и, как мне казалось, любившим нас. Принесла им с собой газету, показала.

– Знаем, – сказали они, опустив глаза.

– Послушайте, я понимаю, что вы сами не можете, но неужели не найдется никого, чтобы опровергнуть эту неслыханную ложь?

Они ничего мне не отвечали, наступило тягостное молчание. Малишевские были хорошие люди, и Поля был рад иметь управляющим несомненно честного и порядочного человека. Кроме того, он был трудолюбив, служащие его любили и уважали. Его жена – типичная полька, самолюбивая, хорошая мать и хозяйка. Теперь мне просто больно вспоминать этот разговор. Они рисковали из-за нас своей жизнью, а я так безрассудно обратилась к ним, ожидая от них совета и помощи. Впоследствии, много позже, я узнала об его ужасной смерти – он был разорван русскими партизанами во время немецкой оккупации в Щорсах.

Тогда же, сдерживая горечь, вызванную их молчанием, я все же осталась у них ненадолго, расспрашивала о детях и их личных планах, и рассказала о своей поездке в Щорсы. Домой шла, чувствуя,

что все кончено и с друзьями, что никакой помощи ни от кого ждать нельзя. Я впервые ясно почувствовала, что само присутствие мое недавно близким мне людям теперь может быть в тягость. Только потом я поняла, насколько, по существу и независимо от личных отношений, они были правы. Конечно, только молчанием можно было ответить на наглость и ложь, всем очевидную и без всякого опровержения. Заступаться, как пытался дядя Жюль или панна Марья, собирать подписи крестьян и служащих, разговаривать с энкаведистами – могло только повредить и арестованному, и им самим. Чем гуманнее и лучше был человек на видном посту, тем он был вреднее и опаснее для большевиков. Популярность таких людей опровергала пропаганду, которую вели большевики против "врагов народа".

Сами энкаведисты, когда я с ними говорила наедине, объясняли мне это со смехом.

– А вы что думали? Дураков нет!

На дворе декабрь, в этом году зима была лютая. Холодно, вьюги, занесло нас снегом до подоконника. Деревянной лопатой прочищаю дорогу от крыльца на улицу. Выше и выше сугробы! Белые, пушистые, мягкие. Закрывают, окутывают, заглушают шум, заметают следы... Укрыты мы от внешнего мира, и стало в доме тише, теплее и спокойнее. Мы почти не выходим, только за хлебом постоять в ежедневной очереди, выдают по 500 грамм на карточку, и этого нам двоим вполне достаточно. Иногда захожу я в библиотеку за книгами – у Скопович все вывезено, вечерами читаю, Ванда шьет, иногда тихо рассказывает свою жизнь.

Однажды под вечер – стук в дверь. Он кажется таким неожиданным и громким, что мы обе испугались. Кто бы это мог быть? Иду открыть дверь, осторожно задерживаю ее на цепочке. Стоит закутанная маленькая фигура. Думаю – ребенок.

– Да это панна Марья! – вскричала я радостно.

Прибежала Ванда. Дверь захлопнули, раскутываем заиндевевшие платки. Она приехала со станции – подвезли на санях свои поляки. Усталая, но радостная после долгих скитаний, удалось ей проделать из Варшавы весь опасный обратный путь, через немецкую и советскую линии. Ванда греет чай, собирает торжественное угощение. О панне Марье она уже давно все знает от меня, и для нее это такая радость – видеть настоящую польку и слушать ее рассказы.

Говорила она без умолку всю ночь и, когда мы устроили ей вторую койку в моей комнате, уже лежа, в темноте все еще рассказывала обо всем и обо всех. Наконец-то я узнала, как они

бежали, переходя границу, как их поймали два стражника, кричавшие "руки вверх!", как близнецы, глядя им в лицо, тоже подняли вверх свои руки, как тут их чудом отпустили, крикнув: "Утекайте!" и как они все бежали, взяв детей за руки, по глубокому снегу и оглядываясь со страхом, чтобы удостовериться, нет ли погони. Свободно вздохнули они только перейдя немецкую линию. Тут их приняли без препятствий, усмехаясь и понимающе. Два же их проводника, как только заметили опасность, исчезли, растаяв в морозной мгле. Рассказала она, что в Варшаве наш только что заново оборудованный маленький особняк разбит прямым попаданием бомбы, и живут они все в подвале, где было хорошее помещение для служащих, с ванной и кухней. Крыша над головой есть, вещи продаются, и на это можно жить и кормиться. Катя и близнецы поедут в Италию, а Сережа в Америку к дяде Леве, родному брату дяди Жюля, профессору консерватории в Цинциннати. Миша же остается под немецкой оккупацией, неустанно хлопочет об освобождении отца, и все надеются, что это ему удастся. В Варшаве все реквизировано, прокормиться становится труднее и труднее, и все боятся, что война затянется надолго.

– Как же это вы решились вернуться? – спрашиваю я.

– Да я боялась, вы с графом не сумеете перейти границу, – спокойно ответила она, как самую обыденную вещь.

Какое счастье, есть люди, которые просто не задумываются над опасностью для себя лично и готовы пожертвовать собою ради людей и неблизких им, не друзей. Нет слов, чтобы выразить им свою благодарность, да и незачем – им это не нужно, их поступок кажется им простым и вполне естественным!

Узнав от меня, что Полю не только еще не выпустили, но что даже свидания и передачи не позволены, панна Марья решила остаться со мной, твердо веря в его несомненное освобождение. Ближайшей же ее задачей было известить обо всем Марьюшку.

С каждым днем теперь мы узнавали все больше и больше о преследованиях советской армией польских солдат и офицеров, пытавшихся прорваться в Венгрию, о поголовных арестах и о начавшейся уже высылке пленных вглубь советской России.

Мы теперь поселились втроем, и жить нам стало спокойнее и лучше. Панна Марья нас как-то приобщила к внутренней жизни страны. Она часто отсутствовала, даже не ночевала дома, но неизменно появлялась. И по вечерам за общим теперь ужином сообщала сведения, полученные от своих соотечественников.

– На днях, – сказала она нам в середине декабря, – позволят приносить в тюрьму передачи арестованным. Советам самим уже

не под силу всех прокормить. Список вещей и продуктов, дозволенных к передаче, уже вывешен у ворот тюрьмы, но точный день и час приема еще неизвестен. Я уже теперь знаю наших уборщиц, они много чего нам передают. Камеры переполнены до отказа. Нары сбиты в три ряда до потолка. Свет у них горит день и ночь. Камеры арестанты убирают сами, а наши только коридоры, уборные и кабинеты, где по ночам допрашивают. По утрам арестанты получают кипяток, хлеб с двумя кусочками сахара, днем суп с пшеном или картошкой, вечером каша, да всего мало, и слышно – голодно стало. Больше они сами ничего не знают – за ними тоже слежка, и в камеры их не пускают, а арестантов они никогда не видят.

Стала панна Марья приносить нам и именные списки, где назначен обыск, кто может быть на днях арестован. И поднимается черный дым из труб, жгут документы, книги, письма, адреса... Слухи о массовых вывозах снова подтверждаются, и теперь все прислушиваются к ним уже без прежнего недоверия.

К этому времени и Марьюшка решила бросить службу и бежать в Варшаву. С ее отъездом оторванность от Европы почувствовалась еще сильнее – теперь уж никого из наших близких здесь нет. А у меня надежда на освобождение Поли все больше и больше таяла, а с ней и возможность выезда отсюда.

Возможность же наладить связь с арестованными – была огромным утешением. Мы все, родственники, друзья и жены, ежедневно ходили к тюрьме справляться – не назначен ли день приема передач. Радовала мысль, что мы сидим здесь не зря.

Тюрьма в Новогрудке старая, с толстыми стенами и маленькими окнами, еще затемненными высокими деревянными щитами. За ними чуть теплится свет, который горит день и ночь. Трудно себе представить кого-нибудь из близких за этими непроницаемыми стенами.

Как живут? Что думают, что чувствуют, на что надеются, и надеются ли? И так иногда месяцами, а иногда и годами. Теперь-то я знаю, что это такое. Лучше не думать! Так рассуждала я тогда, стараясь не задумываться, жить насущным со дня на день, отгоняя навязчивые, мрачные мысли. Теперь же, на старости лет, смотрю иначе. Нет, надо думать, надо знать, надо чувствовать, не закрывать глаза, не забывать! Ну, а если нельзя помочь, то хотя бы сердцем и мыслью быть с ними.

Наконец, в один ясный, морозный день, часов в 10 утра, окошко и двери тюрьмы открылись. Стоим закутанные в платки, замерзшие, молодые и старые, конечно, больше женщин, иногда стоят и дети.

Приносить можно: сало, колбасу, хлеб, теплую одежду, табак, валенки, сахар, чай.

Постепенно мы все между собой перезнакомились, а весть о возможности передач облетела и окрестные поселки. Потянулись оттуда к тюрьме вереницы женщин с узлами и кошелками. Жутка и радостна для нас всех была эта возобновленная связь с близкими. Для арестованных же долгожданная радость, и с ней надежда узнать, что есть кто-то за стенами, кто о них думает и заботится, да и вещи умеют говорить. Все это ведь прежнее, свое, уже когда-то надеванное в какое-то, по воспоминаниям, невероятное время – время прочности, уверенности в завтрашнем дне, сытости, спокойствия и благополучия...

К окну подходим по очереди, выглядывает скуластое лицо, фуражка с красным околышем, вглядываемся внимательно, подаем записку с именем и передачу. Проверяют долго, верно, малограмотные, сверяют со списком арестованных. Берут передачу – значит жив и здесь. Не берут – слышим страшное слово "выбыл"! Куда? Неизвестно. И начинаются бесконечные хождения по учреждениям НКВД. Стоят очереди на улицах, по обледенелым лестницам и коридорам за пропуском к дежурному комиссару. Пропускают в заветную дверь, где он, деловито перебирая бумаги, дает один и тот же ответ:

– Дайте адрес – вас известят.

А дать адрес тоже небезопасно, и все этого избегают – грозит обыск и арест.

Окно для приема передач открывалось в самое разнообразное время, то утром, то днем. Боимся пропустить, и собирается нас с раннего утра все больше и больше ожидающих. Появилась милиция – стала нас разгонять, и пришлось нам пойти на хитрость. Установили дежурства. Работаем поблизости по очереди, в десяти, пятнадцати шагах друг от друга. Кто подметает тротуар, кто счищает лед со ступенек, кто сгребает лопатами снег в кучи. Тут же на улице играют и бегают дети, наши сообщники – рассыльные. Остальные сидят по домам, спокойны, знают – их не забудут и вовремя известят. Как только открывается окно, вперегонки несутся дети, все знают адреса и оповестят кого надо.

Стоим в очереди, слушаем тихие разговоры, смотрим на обеспокоенные лица.

– Передают ли? Никто наверно не знает!

– Говорят, все проверяют, перетряхивают, подпарывают, все ищут, нет ли записки, нет ли денег, когда-то дойдет до камеры!

Передают потихоньку новости, своих не боятся, все уже друг друга знают – чужих сторонятся.

Так незаметно летели дни, подходило Рождество. Панна Марья очень подружилась с Вандой и была трогательно привязана ко мне. Никогда раньше не было между нами и ею настоящей близости, скорее даже критическое отношение с обеих сторон. Мне мешало незнание языка и внешняя ее как бы сухость и сдержанность. Думаю, ее отталкивала наша безусловная русскость во всем. Тем поразительнее была ее горячность по отношению к нам после прихода большевиков. Она яро защищала нас везде и во всем. В ее понятии мы были "невинно угнетенными", как она выражалась, и она всем своим существом боролась со все ломающей на своем пути грубой силой. Несмотря ни на какие угрозы и предупреждения об аресте, она продолжала нам сочувствовать и помогать. Эта безрассудная попытка за нас заступаться при любых обстоятельствах привела, наконец, к тому, что ее вызвали в управление НКВД. По возвращении оттуда она недоуменно рассказала нам комическую сцену своего допроса.

– Как фамилия? – спросил сидевший напротив нее комиссар.

– Барчинска, – ответила панна Марья.

– Это неправда! Мы все знаем! Не отпирайтесь! Вы родственница Бутеневым, потому и защищаете их! Ваша фамилия Лопухина.

Вся эта тирада была приправлена грозной жестикуляцией и ударами кулака по столу. Панна Марья русского языка не понимала, уловила случайно среди этой брани одно, как ей показалось, знакомое слово "ропуха", что по-польски обозначает жаба. Возмущенно вскочила она со стула и, наступая на комиссара, угрожающе жестикулируя, громко и быстро закричала по-польски:

– Я не позволю меня оскорблять! Я не жаба, вы не смеете так со мной говорить! Я буду жаловаться на вас за оскорбление!

Тут уж комиссар остолбенел и, ничего не поняв, вызвал переводчика. Тот, выяснив, в чем дело, объяснил, и оба залились смехом. Допрос на этом закончился, и недоумевающую панну Марью отпустили, поверив в ее несомненную искренность.

Декабрь подходил к концу. Скоро Рождество. Мы старательно обдумывали наши передачи, чтобы хоть чем-нибудь отметить наступающие праздники. Пани Скопович очень помогала своими запасами. Из Щорс мне тоже иногда присылали с оказией то вещи, то провизию. Сама Ванда почти не выходила, часто болела, и мы старались по возможности ее заменять.

Однажды в сумерки вызвали панну Марью условным знаком в окно. Я вышла с ней вместе отворить. Там ее ждал неизвестный нам мужчина, что всегда страшно в ночное время. Наскоро одевшись, панна Марья выбежала на улицу. Отужинав с Вандой, я долго

прислушивалась к каждому шороху, ожидая ее возвращения. Наконец, поздно ночью, тихо постучали в окно. Это была она. Ванда давно спала. Сидя на койке, панна Марья с таинственным видом, шепотом рассказала мне следующую необыкновенную историю.

– Лет пять тому назад я познакомилась с одним евреем из Лодзи. Он тамошний фабрикант и очень богат. Случайно мне удалось спасти его маленького сына, единственного ребенка пяти лет, которого смыло волной на пляже одного курорта. Это старая история, но этот еврей остался мне признателен до сих пор и всегда ищет случая – чем бы меня отблагодарить. Представьте себе, он сейчас здесь, в Новогрудке! Бежал от немцев с женой и сыном, переодетым девочкой. Они сегодня под утро уезжают сперва с проводником в Вильно, а оттуда частным самолетом через Румынию в Палестину. Все паспорта, пропуска и бумаги у него готовы, и есть один лишний паспорт, на имя его сестры, которая ехать отказалась. Он предлагает мне ехать с ним или передать это место тому, кого надо спасти от большевиков. Я сама ехать не хочу и предлагаю вам воспользоваться этой оказией.

Помолчав, она добавила:

– Надо решать сейчас, до рассвета я должна отвести вас к нему. Обещаю вам перевести вашего мужа в Варшаву, как только его выпустят из тюрьмы, – торжественно закончила она. – Подумайте, вас же все равно рано или поздно вывезут в Советский Союз – все об этом теперь говорят.

Я ответила не сразу. Из Палестины во Францию не так уж трудно будет попасть, а из России? – мелькнула у меня мысль. Но тюрьма, но Скопович, которую, наверно, тоже вывезут...

– Нет, нельзя мне, это как-то просто невозможно, – ответила я.

Помолчали...

– Я вас понимаю! – сказала панна Марья и, накинув платок на полушубок, исчезла в темноте.

Я осталась у двери, закутанная в плед. Морозило. Все небо усыпано такими яркими, огромными, как мне казалось, звездами. Панна Марья скрылась за углом. Вокруг мертвая тишина, улица пустынна, синие тени стелятся по снегу. Я вернулась к себе. Долго сидела на своей койке, поджидая панну Марью. Бесконечное чувство близости, благодарности и умиротворения охватило меня.

Она вернулась под утро, когда угасли звезды и чуть светлело небо. Замерзшая и усталая, она молча села за стол и жадно выпила чашку горячего чаю. Она тоже была какая-то умиротворенная и спокойная. Конечно, она и без слов чувствовала мою признательность и привязанность к ней, и мы устало, но радостно пошли спать.

Рождество и Новый Год мы встречали втроем, была в сочельник традиционная вигилия с постным ужином: борщок с грибными ушками, фаршированная щука, которую нам достали евреи. Эти общие праздники, без близких и друзей, в необычной обстановке, сблизили нас еще больше. Ночная служба в неотопленном костеле, освещенном только мерцающими свечами, торжественное пение, орган, народу много. С головой закутанные фигуры. Сидим мы на холодных скамейках. И все же на душе было радостно, несмотря на пронизывающий холод и замерзшие, затекающие ноги. Чувствовалась общность, сила и крепость в этом, таком сейчас убогом, служении Богу...

Взволнованные возвращались мы домой. Молчаливая толпа разливалась по темным переулкам. Идем по скрипучему снегу, подбирая по привычке на своем пути и волоча по снегу все, что может служить топливом: хворост, куски досок от расхищенного за ночь забора, щепки и палки. У Скопович дрова кончаются, осенью запастись не успели.

После праздников зашел Василий Мирский предупредить меня, что приехала немецкая комиссия, он советовал мне немедля повидать немцев и переговорить с ними о Поле и о себе.

На следующий день я пошла по указанному адресу. В управлении НКВД мне указали комнату, где принимал немецкий офицер. Очередь к нему была длинная, занимала всю лестницу и коридор. Впускали по одному человеку. Хоть пришла я рано, все же пришлось ждать часа два.

Немец сидел спиной к окну за большим письменным столом с настольной лампой и телефоном. Тут же энкаведист, заложив руки за спину, ходил из угла в угол. Я села напротив офицера, тихо сказала ему свою фамилию. Он проверил по заранее составленному списку, привезенному с собой. Поля и я были в него внесены.

"Может быть, дети помогли", – мелькнуло в голове.

Отметив что-то около нашей фамилии, немец встал, попросив меня подождать, и вышел вместе с советским комиссаром. Я осталась одна. Вихрем пролетели мысли о возможной свободе, о встрече с детьми, о конце этого прозябания! ... Они отсутствовали долго. Наконец, немец вернулся один.

– Я вас запишу на выезд, – сказал он мне по-русски. За вашего мужа не ручаюсь, помешала мне только что приехавшая комиссия из Минска. Они знают вашего мужа по имению Бешенковичи и пока отказываются его выпустить. Впрочем, зайдите завтра утром, – добавил он, увидев мое расстроенное лицо. – Я еще попытаюсь их уговорить, вы же решайте сразу, завтра вечером мы всех, кого можно, вывезем.

Господи, может быть завтра увижу Полю! Может быть, завтра мы с ним вместе поедем к детям!

Эта новая надежда казалась чудом. На следующее утро я снова стояла в очереди в управлении НКВД. Дождавшись, с трепетом вошла в дверь кабинета. Хмуро посмотрел на меня немецкий офицер.

— Вы — да, ваш муж — нет, — лаконично сказал он при советском комиссаре. — Вот вам пропуск на станцию Новоельня, к вечернему поезду, сегодня к девяти часам.

Взяла, постояла, вышла в дверь. Снова рухнула надежда!

Ну вот, подумала я, значит Полю вообще теперь не выпустят. С ненужным пропуском в руках я медленно спустилась вниз. Тут еще стояла длинная очередь измученных людей, ожидающих решения их участи. Среди них были мужчины с какими-то серыми лицами, побледневшие, с ввалившимися глазами, как бы давно не видавшими дневного света. Скрывающиеся где-нибудь по подвалам, подумала я. Пусто было в голове, и отчужденно проходила я по знакомым улицам.

Дома меня ждали, стол был старательно накрыт, но мы уже давно научились без слов понимать друг друга и не докучали ни расспросами, ни советами. Молчаливая ласка и внимание заменяли обычные расспросы и сочувствие.

К концу января Ванду известили официальной повесткой, что дело ее мужа выяснено, следствие закончено и со дня на день можно ждать над ним суда и вынесения приговора. Ванда переживала это тревожное время очень тяжело, не выносила одиночества и цеплялась за нас как за соломинку. Вокруг же все упорнее ходили зловещие слухи о предстоящих массовых вывозах в Советский Союз. Тревожно все сидели по домам, мы тоже почти не выходили, боясь ветра и сильных февральских морозов, только передачи да покупка хлеба или спешное предупреждение кого-нибудь о грозящей опасности заставляли нас покидать обжитые и, как нам теперь казалось, уютные комнаты.

Наконец, панна Марья по секрету от Ванды и до официального извещения, которое, впрочем, никогда так и не пришло, сообщила нам, что Скоповича, обвиненного в убийстве коммунистов, сидевших в тюрьме, судила ”тройка” и, за неимением прямых доказательств преступления, вынесла милостивый приговор — только 20 лет исправительных лагерей. Помогла ему избежать расстрела его специальность — пригодится в лагерях, и не только для заключенных. Дело же Поли вообще не обсуждалось, за недостатком открытого преступления. Он просто был объявлен ”нежелательным

элементом", а судить его предполагали в Минске, где он был известен как владелец имения Бешенковичи. После следствия свидания все же были запрещены, но передачи принимались, и мы знали, что они оба живы и не вывезены. К концу февраля впервые принесла нам панна Марья поименные списки лиц, назначенных на вывоз вглубь СССР.

В первую очередь входили в него пленные офицеры и солдаты, содержавшиеся где-то по казармам за железной проволокой, затем вся пограничная полоса от Вильно до Львова – железнодорожники, лесники, бывшие административные служащие, врачи, политические заключенные. Уже с первых дней были арестованы воеводы, чиновники, помещики, промышленники, торговцы, полиция, все те, кто не успел вовремя скрыться. Их теперь спешно судили по тюрьмам заглазно "тройкой", и приговаривались они автоматически по 54-ой или 58-ой статьям, как враги народа, к срокам от 8-ми до 20-ти лет исправительных работ в советских лагерях. Эти списки ходили по рукам и оказались впоследствии очень точными.

Действительно, в конце февраля 1940 года они же нас предупредили и о точном дне ночной облавы по домам, для посадки в товарные вагоны на станции Новоельня.

С вечера накануне появились тысячи подвод, саней и повозок, реквизированных по соседним деревням и поселкам. С ошалелыми крестьянами на облучках. Они скоро запрудили весь город, а на станции заготовили длиннейшие составы товарных вагонов, ожидающих погрузки. К ночи загромыхали и военные грузовики с солдатами и охранниками, появились и конные двуколки на высоких колесах.

В притаившихся домах мы все со страхом прислушивались к этому необычному и странному движению, ругани, ржанью испуганных лошадей. Часам к девяти все стихло... Город как бы вымер и замер в ожидании... Страх, животный страх охватил всех. Кто притаился по чужим квартирам, кто бежал в соседние деревни, кто, не доверяя и близким, просто в лес, в овраг, в подвал, в развалины опустошенного, заброшенного дома. Надо переждать облаву. Это действительно часто помогало. Большевики не настаивали, и занесенных в списки, но не найденных по указанному адресу считали выбывшими.

В эту ночь никто не раздевался и не спал, но огни потушили, и в темноте прислушивались, ожидая с минуты на минуту стука в дверь. Движение по городу началось после полуночи: часа в два. К нам в эту ночь никто не ворвался, но и в наш глухой переулок долетал необычный шум встревоженного города. Много позже, уже по

амнистии, мы узнали, что в эту ночь было погружено в вагоны по линии Вильно–Львов более двухсот тысяч человек.

К шести утра все было закончено. Хмуро и уныло выглядел опустошенный город, призраком стоял он в туманном предутреннем рассвете. В морозной мгле, как тени, понурой вереницей двигались к станции Новоельня нагруженные узлами и чемоданами закутанные фигуры родственников и друзей арестованных этой ночью людей.

Мы же все, оставшиеся, были, конечно, ошеломлены происшедшим.

Так вот что нас ожидает! Казавшееся нам немыслимым и неисполнимым – совершилось на наших глазах и было проведено с удивительной планомерностью.

Все как-то невольно обратились к церкви. Верующие и неверующие, угнетенные и сочувствующие почувствовали себя объединенными. Православный собор, костелы, синагога... Службы совершались в темных, нетопленных храмах. Закутанные, не похожие на себя люди стояли, прячась за колоннами и по углам. В пятницу к вечеру, за занавесками или в щели ставен, светились семисвечники евреев, наши католички ходили к ранней обедне натощак. После служб все мгновенно исчезали, избегая встреч и разговоров, остерегаясь сочувствующих Советам белорусов.

Наступил март. Холодно, порывы ветра гнали по улицам и дорогам невывезенный мусор и солому, но все же днем прозрачность воздуха, яркость солнца, несмотря на холод и еще частые морозы, вызывали мысли о скорой весне.

В один из таких ярких и ветреных дней, стоя в очереди перед тюрьмой, слышу, что у многих передач не приняли. Все вокруг насторожились, с волнением ожидая, что будет. Группами, недоуменно и с тревогой, расходились с непринятыми пакетами испуганные родственники арестантов.

Подхожу к окну и я. Даю две записки: одну на Полю, другую на Скоповича. Стражник меня и без проверки знает. Мельком взглянув на висящий перед ним список, не глядя на меня, говорит: "Выбыли". Наконец это страшное слово коснулось и нас! Куда? Ответа нет. Мы все, кому отказано, бросились в управление НКВД. По дороге встречаем панну Марью.

– Не ходите! все расскажу дома.

Гурьбой следуя за ней, забыв осторожность, мы входим в дом Скопович. Ее муж, Поля и многие другие, по списку панны Марьи, который дрожит в ее руках, отправлены на станцию Новоельня. Полю направляют в Минск на суд. Скоповича со многими

другими, уже присужденными тройкой к наказанию, высылают на север России в исправительные лагеря. Когда их отъезд – неизвестно, может быть, состоялся этой ночью.

Непрерывной волной доходят до нас все новые и новые вести:

– Их ночью на грузовиках перевезли в Новоельню!

– Железнодорожник, старик, сторож на станции, узнал Полю, он стоял на перроне, ожидая погрузки!

– Подойти к станции невозможно! Все оцеплено войсками.

Вот он – конец! проносится в голове. Больше бороться незачем. Оставаться здесь тоже не для чего. Пусть теперь вывозят и меня куда хотят, везде люди живут, кто знает, может быть и Полю сошлют на поселение, и мы найдем друг друга где-то в азиатских степях. Скопович безутешно плакала. Панна Марья молчала, оглушенная, как и я, этими событиями.

– Уходите в Варшаву, пока не поздно! – говорила я ей, но она упрямо отказывалась и осталась с нами, ожидая, как и мы, нашего неминуемого вывоза или решения бежать на Запад.

Весна наступила как-то внезапно. Снег тает, на солнце днем просто жарко. Всюду слышится струящаяся вода, пробивается она ручейками, стекает по потемневшим, грязным улицам, смывая солому и мусор. То и дело с шумом обваливаются с крыш целые глыбы подтаявшего снега. Несмотря ни на что, радуешься, глядя на чистое небо, на набухание почек, на чуть зеленеющую траву. Защебетали прилетевшие птицы, закопошились воробьи в конском навозе, а кое-где появились и подснежники.

С наступившим теплом стал у нас появляться и дядя Жюль, старый, озабоченный, но энергичный. Приезжал он с оказией на военных советских грузовиках, иногда и на телеге из Мурованки. Он нам привозил вещи Поли, укрытые в свое время няней, провизию, а иногда и деньги за проданные крестьянам немногие уцелевшие вещи. Путая французскую и русскую речь, он рассказывал о тамошней жизни.

– Дом заселили, хотят во флигеле открыть школу. В Мурованке устроили совхоз. Панна Леонтина и няня живут со мной в администрации, их пока не трогают, но они сами подумывают переселиться в деревню. Кормимся мы продажей вещей, и из Мурованки кое-когда перепадает... Я занимаюсь по-прежнему, кончил писать "Крокодила", по-моему неплохо! Если меня вывезут, хочу издать в Москве. Об вас все знаем, слухи доходят быстро. Ты вот как сама? не думаешь ли уехать в Варшаву?

Пытливо и с беспокойством он смотрел на меня. Я молчала...

— Нет, — с запинкой ответила я, — пока не думаю, кто знает, может быть встретимся с тобой в России.

Избегая продолжать этот разговор, просматриваю вещи, принесенные дядей Жюлем. Тут и мужское белье, и Полин костюм, и теплая меховая шапка. Все такое знакомое и теперь особенно ценное. Все это я постепенно складываю в мешки и в оставленный мне детьми чемодан, связываю, готовлюсь к отъезду. Однажды дядя Жюль, такой трогательный в своей наивной материальной нелепости, привез мне под пальто большой серебряный поднос и в узле кофейный сервиз, купленный Полей в Италии. Трудно было не рассмеяться при виде этого подарка в нашей убогой обстановке, но я при нем же и с его помощью благодарно упаковывала все это в одеяла.

В десятых числах апреля панна Марья, задыхаясь от волнения, предупредила нас, что списки второго вывоза в Советский Союз готовы, и назначен он на 13 апреля. В эти списки входят семьи арестованных, учителя, мелкие собственники, торговцы, чиновники и крестьяне побогаче, так называемые "кулаки".

Как стало известно потом, с 1939 по 1941 год из Польши было вывезено 175 000 человек гражданского населения и около миллиона шестисот тысяч пленных.* Иначе говоря, Польша была обезглавлена в армии, в администрации и в своей интеллигенции... Списки, принесенные панной Марьей, лихорадочно передавались из рук в руки, и снова в панике прятались и бежали куда глаза глядят обреченные на предстоящую ночную облаву. Мы со Скопович были из тех немногих, которые решили больше не сопротивляться и держаться вместе. Уговорили только панну Марью хоть на время скрыться, чтобы ее не приняли за нашу родственницу.

12 апреля, с вечера, как в феврале, Новогрудок был наводнен повозками, телегами, санями и грузовиками. Была полная распутица, но это не помешало. Скользили телеги, волоком тащились сани, заносило грузовики на мокрых шоссейных дорогах, а на проселочных завязали в жидкой грязи и повозки, и люди.

Ночь надвигалась, а с ней — щемящий страх охватывал растерянных обывателей. Скопович перебралась ко мне, на койку панны Марьи.

Но, несмотря ни на что, все же после нашего решения стало мне легче и спокойнее. Действительно, что нам делать в этом осажденном

---

* По подсчетам ген. Андерса, число вывезенных из Польши с 1939 по 1941 год доходило до 1 600 000 человек, не считая белорусов, литовцев и евреев.

городе? Ожидать всяких обысков, репрессий, жить без вестей с запада и без возможности чем-либо помочь уже вывезенным в Россию мужьям?

Мы лежали одетые на своих койках и молча, в темноте, ждали с минуты на минуту стука в дверь.

После полуночи уже издали послышался непривычный шум и движение, крики, ржанье лошадей, гул моторов. Думали, уж лучше бы скорей, чем это ожидание в темноте и страхе.

Наконец, и у нас под окном послышался топот лошади и визг полозьев. На улице шел снег. Подъехали. Остановились. Вот знакомый стук отпираемой калитки. С замиранием сердца смотрим в окно. Темно, но все же различаем две фигуры.

– За нами, – прошептала Ванда.

Громкий стук в дверь в этой ночной тишине показался все-таки неожиданным и страшным. Скопович засветила свечку, я пошла открывать дверь.

Вошли два солдата, молодые, с приветливыми лицами, увидев, что нас только две женщины, улыбаясь, спросили наши документы. Проверив по списку фамилии, отобрали наши паспорта и заявили:

– Ну тетеньки, собирайтесь, поедете с нами.

На сборы нам дали полчаса. Каждая имеет право взять с собой 100 килограмм багажа. У нас уже почти все сложено, провизия Ванды заколочена в ящик, моя складная кровать, постельные принадлежности, ведра, кастрюли...

– Берите побольше, – подбадривают нас добродушно солдаты, – там все пригодится!

Они, видимо, были довольны, что с нашей стороны ни слез, ни протестов нет, им тоже невесело силой вывозить женщин и детей. Они охотно помогали нам связывать последние вещи, подушки, чемоданы. У меня, конечно, вещей гораздо меньше, у Ванды многое осталось припрятанным в подвале. Погрузили нас в широкие, низкие розвальни, я, тепло укутанная, села на вещах, солдаты отвязали лошадь от забора, под уздцы вывели ее на дорогу. Ванда заперла дверь, положила ключ в условленное место и, оглянувшись на свой дом, последняя села около меня. Она явно едва сдерживала слезы – жаль дома, привычных вещей, Новогрудка, места безоблачного, канувшего в вечность счастья...

Едем шагом, выехав на главную улицу, пробираемся среди повозок и саней, тут нас присоединяют к уже нагруженным телегам, сбоку пролетают грузовики с багажом и солдатами, мы же бесконечным обозом медленно двигаемся по знакомой дороге.

Смотрят на нас слепые окна с закрытыми ставнями, с задернутыми занавесками, только кое-где сквозь щели брезжит слабый свет, кое-где у подъездов стоят еще не нагруженные сани, кое-где слышится громкий шепот, плач встревоженных детей, хлопотливые окрики охранников, но все же преобладают тишина и спокойствие... Спокойствие? Что они думают, эти жены с детьми, не зная языка, отправляясь в неясную даль?

Выехав за околицу, мы поехали рысью. Ночь холодная, колеи подмерзли, все заволокло пронизывающей мглою, не видно ничего за несколько шагов.

Было еще темно, когда мы подъехали шагом к станции Новоельня. Наша подвода, одна из первых, попадает для погрузки к самой платформе, напротив вокзала. Другие, в конце обоза, едут дальше, и вещи выгружаются прямо в поле, перетаскиваются на запасные пути и сваливаются кучей у еще запертых товарных вагонов.

Станция освещена, бегают по перрону железнодорожники с фонарями, подлезают под вагоны, что-то смазывают, помогают с вещами, которые высокими кучами свалены у каждого вагона. Медленно начинает светать, но в тумане не различаешь, что делается вокруг. Мы сидим молча у своих вещей... Ждем...

Наконец подошел к нам наш конвой, с ними энкаведист. Он с документами в руке выкрикивает наши фамилии. С лязгом открываются тяжелые двери вагонов. Скопович первая с трудом влезает в высокий, без подножки, товарный вагон, за ней солдат принимает вещи и складывает их у задней стены. Потом вызывают меня, а за мной еще и еще, пока весь вагон не нагружен. Постепенно мы привыкаем к темноте и начинаем различать предметы и копошащихся вокруг людей.

Посередине железная печка с трубой, выведенной прямо на крышу. Вокруг сколоченные нары в три этажа. Мы с Вандой забрасываем необходимые для ночлега вещи на верхнюю нару в углу около маленького окна. Кто-то запасливый зажег свечу в фонаре, и он слабо освещает двигающиеся в полумраке закутанные фигуры. У открытой двери стоит солдат с винтовкой.

— Потом устроимся, — говорит Ванда, — надо поесть!

Мы залезаем вдвоем в угол, и она из чистой салфетки мне протягивает бутерброд и наливает из термоса горячий, душистый кофе. "До чего же она запаслива", — с благодарностью думаю я.

— Это панна Марья позаботилась, — торопливо объясняет Ванда.

Но я-то знаю, что ее насущный хлеб, главное, — позаботиться о ком-нибудь, накормить, согреть, утешить. Вот и сейчас она заботливо

осматривает вагон... Маленьких детей в нашем вагоне нет. Вот четыре девочки, 8-9 лет, вот усталый старик сидит на нижней наре. Есть несколько хорошо, по-городски одетых дам с измученными, напряженными лицами. Вот там дальше одинокая, совсем молоденькая девушка. "Господи, совсем ребенок, – шепчет Ванда, – и одна". Все вокруг тоже закусывают, разговоров мало, стало тихо. После лихорадочных сборов, бессонной ночи, волнения вдруг как-то сразу почувствовалась реакция и страшная усталость. Постелив рядом свои матрасы и подушки, тепло укрывшись, мы, несмотря на постепенно вновь нараставший шум, заснули мертвым сном и проспали долго. Когда же проснулись, то солнце уже ярко било в открытую дверь вагона. Охранник лениво прохаживается мимо нас с ружьем, спокойно озирается вокруг, вряд ли кто решится теперь бежать без документов, рискуя тюрьмой, а впрочем, может быть найдутся смельчаки, думаю я, под вагонами можно пробежать и незаметно, но у меня бы смелости не хватило. Спускаюсь вниз, смотрю на перрон. Хорошо! все тает, пахнет весной, тепло, льются с крыши тонкие струйки воды, отливают на солнце всеми цветами радуги.

Вот пробрались сквозь стражу какие-то посторонние люди с узлами и мешками, ищут своих, заглядывая в каждый вагон, кричат фамилию. Конвой отгоняет их, но добродушно. Все же при чужих зорко следят часовые каждый за своим вагоном. На платформе толкотня, крики, того и гляди кто-нибудь удерет! Ошалелые железнодорожники, озлобленные необычной работой и бессонной ночью, с озабоченными, злыми лицами то и дело шмыгают между путями, чертя мелом какие-то номера на вагонах. Время остановилось. Примелькалась толпа, двигающаяся в разные стороны. Утреннее возбуждение сменилось снова усталостью и тоской. Уже полдень, все кое-как закусывают, запивая из термосов и бутылок. Уборной нет. Заслоняясь от конвоя, устраиваем кабинку, топором и ножами мужчины пробивают отверстие в полу, и мы ставим кем-то пожертвованное ведро. Уборная готова, выливать ведро будем по очереди в пути. К вечеру все разместились, разложили одеяла и подушки, приготовились к первому ночлегу.

Под вечер нас заперли снаружи тяжелым болтом. После захода солнца сразу стало холодно. Топливо обещано выдавать только после перегрузки в Столбцах, на границе СССР. По утрам обещают давать по два ведра горячей воды на вагон. Продовольствия велено было взять с собой на 5–6 дней.

Опять уютно засветил фонарь запасливого соседа, как это мы не сообразили взять такие нужные вещи, просто в голову не пришло!

А сейчас так очевидна необходимость спичек, свечей, бумаги, иголок, ниток, пуговиц, ножниц, может быть Ванда взяла, думаю я, но спросить боюсь, огорчится.

Прошел день, прошла ночь, на третий день мы все еще стоим на месте. Все друг с другом перезнакомились. Присматриваюсь к ним, нет ли кого из знакомых? Нет – все чужие. Чужие? Не совсем, уже сейчас нас объединяет общая участь, сочувствие и солидарность. Смотрю, чем занимаются. Каждый старается убить время, не вспоминать, не помнить, кто читает старые газеты, кто играет в карты, больше разговаривают, не боятся друг друга, еще не знают, что есть стукачи и что надо их, даже здесь, опасаться!

– Удивительно, – говорили люди между собой, – смотрите, все время пропускают посторонних на перрон. Когда вывозили арестантов из тюрьмы, никого не пускали, все было оцеплено полицией.

– Да, то арестанты, они ведь считают, что мы едем в вольную ссылку, увидите, еще захотят с нас подпись взять, что мы добровольно выехали!

(Так оно потом и было).

Около полудня, сидя у открытой двери, я вдруг увидала на перроне растерянную, но энергичную панну Марью, а за ней дядю Жюля с его обычной палочкой. Как-то сделалось горячо у сердца при виде их. Они заглядывали в каждый вагон и что-то кричали. Встав, я замахала им платком.

– Мы тут! мы тут! – кричала я.

Они подбежали, но охрана их близко не подпускала, на наши же возгласы и разговоры не обращала внимания.

Добрались все-таки нас проводить, радостно думаю я. Ванда торопливо спускается сверху, а вокруг сгрудились соседи, смотрят, слушают...

– Вы на юг едете, – кричит панна Марья, – не бойтесь, мы все здесь о вас думаем!

– Скажите детям, что мы живы и здоровы, – перекрикиваю я ее.

– Я еду в Москву, – кричит дядя Жюль по-французски, – пиши на адрес брата Жоржа.

Ванда тоже кричит свои наставления:

– Берегитесь, живите у меня, раздайте что лишнее, потом вселите хороших людей до нашего возвращения! Мы вернемся! Мы вернемся, – все повторяла она по-польски.

Уже почти весь вагон наш принимает участие, сгруппировались за нашими спинами. Все взволнованы и растроганы, и вдруг кто-то

сзади затянул "jeszcze Polska nie zginela". Остальные с воодушевлением подхватили хором. У многих были слезы на глазах, и все мы были объединены одной мыслью, одним убеждением: мы вернемся, мы вернемся!

Стража слушала, не вполне понимая, о чем идет речь и что поют. Чуть отвернулся стражник, панна Марья выскочила вперед, бросила нам последний, прощальный сверток, туго обтянутый веревкой. Как потом оказалось, это был чай, который впоследствии не раз спасал нам жизнь. Конечно, ее тут же с руганью отогнали.

— Спасибо, — кричали мы, — уезжайте! Берегите себя!

Вокруг нашего вагона собралась немалая толпа, привлеченная криками и пением. Подоспела и милиция и стала всех посторонних теснить к выходу.

— Давай! Давай! — кричали они, разгоняя их.

Мы еще видели пятящиеся фигуры наших. Они все еще что-то кричали, но за общим гулом разобрать их слов уже было невозможно. Ушли... Дверь станции захлопнулась, солдаты больше не пропускают никого. Теперь все кончено. Порвана последняя связь с прошлым. Мы отрезаны друг от друга навсегда. Навсегда ли? Судьба решила — да. Дядя Жюль скончался во время войны, бежав из голодной Москвы в провинцию — маленький городок Владимирской губернии, Меленки, где его младшая сестра, Ольга, была начальницей женской гимназии. Варшаву же больше я не видела и панну Марью потеряла из виду.

Смеркалось, было грустно до физической боли. Молча мы улеглись на нары, каждая по-своему переживая происшедшее. Медленно разошлись и остальные. Стало тихо, присмирели дети. Усталые и потрясенные, все разошлись по своим местам.

Только еще через день нас ночью прицепили к пыхтящему паровозу. Мы все проснулись от внезапного толчка и прислушиваясь сели на своих нарах. Ни звонков, ни свистков не было слышно, неожиданно тихо мы двинулись в путь, сопровождаемые толчками, пока наш состав не вытянулся в длинную линию.

В этой необычной при отъезде тишине было что-то зловещее, она как бы подчеркнула неизвестность и таинственность нашего будущего. Скорость постепенно увеличивалась, мерно стучали колеса, мы лежали в темноте с открытыми глазами, кто потрясенно молчал, кто молился, перекрестясь перед длинной и страшной дорогой, и вдруг, уже в поле, пронзительным свистком наш паровоз простился с Новогрудком...

Всякое движение всегда действовало на меня умиротворяюще. Под мерное колыхание и встряски вспоминаются путешествия

прежних лет. В детстве наша усадьба в Новгородской губернии Осничхи, каникулы на Кавказе, потом бегство из Петрограда и Москвы в 1917 году, скитание по станицам, снова Кавказ, Новороссийск и выезд из России в 20 году на пароходе Капуртала, со всеми его приключениями, часто трагичными. Принцевы острова, Рим, Париж, юг Франции и, наконец, Польша, поездки с Полей по Италии, такие счастливые и радостные! Лежа в темноте, вспоминаю, как в раннем детстве меня как-то спросили:

– Оля, кем бы ты хотела быть? – и я, не задумываясь, ответила:

– Странником!

Вот и дождалась, думаю я, улыбаясь в темноту...

В окне мелькают звезды, светит луна. В вагоне все лежат, но знаю по дыханию, что не спят. То шорох, то вздох, то сдержанный плач. Все же постепенно все затихло, и все заснули от усталости, от волнения тяжелым, крепким сном.

Под утро нас разбудил резкий толчок и лязганье железа. Мы стоим. Где? На запасных путях. Говорят, граница. Столбцы. Нас перегружают в другие вагоны, здесь колея шире.

Ну, вот и Россия, откуда мы бежали 20 лет тому назад! За эти годы стала она мне чуждой и далекой. Все же, когда утром открыли вагон, я почувствовала большое волнение. Смотрю на закутанных в платки русских баб, продающих на станции по несколько крутых яиц, а дальше вижу среди полей маленьких, лохматых лошадей, трусящих мелкой рысью по дороге, такую давно забытую сбрую с дугой и бубенцами. Запущенные, вросшие в снег убогие избы с обветшавшей соломенной крышей, и кое-где мужики в тулупах, туго подпоясанных узким ремешком. Было что смотреть, все казалось новым, и медленно вставали картины прошлого.

Стояли мы долго. Долго перегружались с помощью солдат и стражников в приготовленные товарные составы. Все мы старались держаться вместе и устроились по-прежнему.

Печка-буржуйка посередине. Нам выдали ведро угля и немного дров. Все обрадовались – можно будет топить! Нары также в три этажа, и каждый взял себе свое прежнее место. Снова устроили уборную, но пилить пол не пришлось; кто-то до нас позаботился. Мы простояли так еще двое суток, поджидали другие составы, потом долго маневрировали, то нас отцепляли, то присоединяли к нам другие вагоны. Видимо, едем в разные стороны, рассуждали мы, но никто достоверно ничего не знал.

Как обещано, нам выдавали по два ведра горячей воды, на печке мы сами себе готовили, кто что мог, поджаривали уже зачерствевший хлеб, согревались чаем и горячим кофе.

Наконец ночью на третьи сутки проснулись мы от сильной встряски и тихо, без звонков и свистка, двинулись в путь, покидая Польшу навсегда.

Глава 3

КАЗАХСТАН. КОЛХОЗ.

Ночь длинна... Чуть мерцает свеча, мигая в висячем фонаре, а он мерно покачивается, как бы отвечая стуку колес. Первые дни нашего путешествия все мы, оглушенные волнением и усталостью, засыпали на своих нарах мгновенно и без сновидений. Сейчас не то. Острее ощущается разрыв с прошлым, беспокойны думы о будущем. Сон тревожен, прерывается то вскриками, то бормотанием, то шепотом, слышатся и разговоры среди потревоженных, не спящих людей.

Я тоже не сплю, и даже снотворного нет, чтобы забыться, не думать все о том же, так внезапно случившемся!

Смотрю вокруг, опершись на локоть, распознаю по неясным, но уже знакомым силуэтам, где кто лежит. Скопович спит рядом, дальше в углу. Молодая, вечно курящая дама, жена офицера, пани Клара, с двумя девочками, 8-ми и 10-ти лет. Она тоже не спит, вспыхивает ее папироса, освещая прижавшихся к ней детей. Одета она по-городскому, видимо, ее застали врасплох. Не раздеваясь, она целыми днями лежит молча, не общаясь ни с кем, попыхивая своей папиросой. Часто она забывает даже накормить детей, которых теперь подкармливает весь вагон. Внизу, под нами, пан Юзеф, немного чопорный, хорошо воспитанный, культурный старик из австрийского раздела с дочерью Марией, тоже женой офицера, и двумя внучками 9-ти и 11-ти лет. Пани Мария живая, энергичная, обо всех заботится, то укутывает их, то кормит, то подсаживается к нам, ища сочувствия и совета. Там дальше панна Зося, девушка лет 18-ти. Днем она сидит одна, о чем-то своем сосредоточенно думает. Около нее прелестная пани Марыся из Варшавы, приехала в Новогрудок на похороны матери и теперь случайно попала с нами в ссылку – кто-то донес, она жена офицера. Ее муж и дети остались в Варшаве, где она работала массажисткой. Как попала, отчего? Сама она оглушена происшедшим, а для своих

близких пропала без вести. Она тоже не спит, сидит на своем месте, прислушиваясь к ночным шорохам.

Многие из этого вагона прошли для меня как тени, и как тени растаяли, уходя куда-то в вечность. Но тогда со всеми была солидарность и дружба. О себе говорят здесь мало, это уже совсем свое, доступное только близким, но всех объединяет и сближает общая участь, страх, беспомощность перед все ломающей грозной силой. Даже меня, единственную здесь русскую, постепенно принимают в свою среду, конечно, не без помощи Ванды, да здесь никто и по-русски не говорит, и невольно я всем служу переводчицей.

Все это я обдумываю бессонной ночью, ожидая, когда же рассвет. Вот и вокруг все постепенно затихает. Мерно стучат колеса, маячит свет фонаря.

Помню я, в раннем детстве бывали у меня бессонницы, но такие уютные. В углу киот, горит лампада, привычные наши кроватки с сетками, няня Наталья сидит на табуретке, по-деревенски повязана платком, тихо мне поет привычную песню.

Соловей, соловей, ты гнезда себе не вей,
Прилетай ты в наш садок, под высокий теремок...

И дальше что-то про меня, не помню.

Дую на замерзшее стекло, сквозь кружок оттаявшего инея ничего не вижу, кроме мглы... Ужасно длинна ночь, но это не мучительно, спешить некуда и завтра могу лежать хоть целый день. Все же, незаметно для себя, под утро засыпаю. Просыпаюсь от обычного при остановке толчка. Редко мы останавливаемся на станции, чаще на запасных путях. Какое удовольствие, когда открывают дверь. Мы жадно вдыхаем свежий воздух после длинной, душной ночи. Все стараются подойти поближе к двери – вздохнуть, увидеть солнце и часто голубое небо, как на юге! Вот принесли нам воду и топливо. Докрасна разжигаем железную печь, жарим сало, яичницу, с наслаждением пьем чай или настоящий кофе из Польши! "Куда нас везут?" – допытываемся мы у наших охранников и у соседних вагонов. Все надеются, что на юг, но добиться ответа не удается никому.

Наконец, дней через 15, доехали мы до Оренбурга. Здесь мы простояли долго. Вагоны отцепляли, маневрировали, прицепляли другие, и стояли мы несколько дней на запасных путях.

Впервые нам здесь выдали по 500 грамм хлеба на человека – целое богатство. К обеду выдали пшена и по несколько кусков сахара. В чистом ведре в первый раз сварили кашу для всех.

Заправили своим маслом и салом, давно не ели мы так сытно и вкусно. Все оживились и повеселели, у многих провизия подходила к концу. Стоим уже двое суток, но никто не жалеет. Видно далекое поле, деревья, кое-где пробивается трава, тепло, солнце. Наутро снова выдали хлеб и пшено. Неужели будут кормить? Нам это всем казалось невероятным, неожиданным счастьем. Позволялось с конвоем выходить на станцию, самим приносить воду, не утреннюю, а добавочную. Можем ее греть, мыться по очереди в тазу, используя последние капли одеколона. Наконец к ночи вторых суток нам прицепили паровоз. Наш вагон оказался посередине длинного состава. С этой ночи мы ехали почти без остановок на восток.

Сибирь! Это слово звучало угрозой, и все как-то притихли. От конвоя ничего добиться было нельзя, да они сами, верно, не знали.

Как удивительна эта наша общая податливость, думала я. Без злобы примиренность со своей участью. Пока нас оставляли в покое, ничего не требовали, все мы были спокойны и послушны. Сами налаживали свою жизнь, как хотели. Как смиренно они себя держат, думала я, глядя на их деловитую, спокойную озабоченность. Где знаменитый польский гонор и заносчивость? Все происходило тихо и мирно, каждый знал свою очередь умываться, идти в уборную, варить на печке обед. Утром поляки часто громко читали молитвы, и тогда в вагоне наступала полная тишина. Жили мы все беззаботно и бездумно, стараясь не подымать тревожных тем и не задумываться ни о прошлом, ни о будущем. Жили насущным и настоящим. Воспоминания и тяжелые мысли приходили только ночью, в темноте, когда заняться нечем и назойливо стучат колеса, унося нас в неизвестную даль.

Наконец, в начале мая стражник нас предупредил, принеся в вагон обычные два ведра воды:

– Завтра утром приедем на место! Приготовьте вещи!

– Куда, куда же мы приедем? – бросились мы с расспросами к нему.

– В Актюбинск, – был его ответ.

– Актюбинск? что это за город и где он? – спрашивали мы друг друга. Знаем, что за Уралом, но больше этого никто ничего не знал.

Приехали рано утром 5 мая. Поезд встал на запасных путях, далеко от станции, прямо в поле. Ждали мы долго, совсем готовые, на сложенных вещах. Наконец, послышался говор, шаги людей, с шумом открылась наша дверь. Свет так и ворвался в наш темный вагон. Было радужное утро, безоблачное небо, яркое солнце. Кое-где

все же снег еще лежал и было холодно. Весело шутя и переговариваясь между собой, солдаты помогали нам перетаскивать вещи просто среди поля. Мы же, помогая друг другу, соскакивали в талый снег, жмурясь от яркого света. Ванда и я были одеты тепло, но с ужасом мы увидали многих в городских пальто и на высоких каблуках, без калош. Они растерянно стояли на снегу, оглядываясь, куда бы ступить.

Привыкнув за наше путешествие друг к другу, мы старались держаться вместе, боясь, что нас разъединят. Вереницей стали подъезжать грузовики, останавливаясь напротив нас на шоссейной дороге. С помощью солдат мы волочили и несли вещи шагов 50 и нагружали ближайшую машину. Тут же она отъезжала вперед, давая место пустым грузовикам. Подошел комиссар, проверил наши фамилии, передал документы энкаведисту, который сел рядом с шофером, и мы медленно двинулись вперед, снова уступая место следующему за нами грузовику. Должна сказать, что был порядок. Дело это, очевидно, было привычное, и выработалась испытанная рутина. Мы стояли долго, пока проверяли документы у ближайших с нами машин. В нашей же все мы, самые близкие, оказались вместе. Скопович, пани Клара с девочками, пан Юзеф с дочерью и двумя внучками, пани Мария из Варшавы и панна Зося. Энкаведист вышел из кабинки и заговорил с нами – я перевожу.

– Какая же вы полька? – насмешливо спросил он меня и проверил мой паспорт. – А, на иждивении бывшего помещика! – прочел он заметку вслух, заметку, о которой я ничего не знала, вписанную новогрудским НКВД. Энкаведист, сощурив глаза, внимательно меня рассматривал.

– Куда вы нас везете? – спросила я.

– Да вот по колхозам, увидите, в степи хорошо, привольно. Построите себе дома, работать мы вас научим, а вот, кто был первый, у нас здесь последний! – добавил он, по-лисьи сузив глаза.

Иронически настроенный человек, подумала я, но опасливо промолчала.

Подъехало к нашей веренице еще несколько нагруженных машин, и мы наконец двинулись в путь.

– О чем вы с ним говорили? Что он вам сказал? – закидали меня вопросами.

– Мы едем по колхозам работать! – кратко ответила я им.

Все испуганно замолчали, конечно, никто, как и я сама, не представлял себе, что там за работа и что за жизнь.

Ехали мы долго, часа три. Везут нас, как видно, в невероятную глушь. Вокруг безграничная степь, она, несмотря на ясный день, незаметно сливается с горизонтом, ни деревца, ни леса, ни реки. Почти везде лежит еще снег. Уже давно мы съехали с шоссе на проселочную дорогу с ухабами и глубокими прошлогодними колеями. Смотрим, по степи валяются в снегу или почти на дороге в грязи ржавые остатки каких-то сельскохозяйственных машин. Они стали теперь попадаться все чаще и чаще, видимо, скоро жилье.

Действительно, еще через час на равнине появились верхушки строений и хат. Снега почти нет, но дорога на солнце отливает лужами. Жидкая грязь заедает колеса, мы медленно скользим по ней. Следующий за нами грузовик свернул на перекрестке и поехал дальше, мы же медленно подъезжаем к какому-то убогому строению. Остановились, высадились на краю деревушки, перед нами единственный дом с железной крышей.

Стараясь найти место посуше, сбрасываем вещи на землю. Нас никто не встречал, вблизи никого не было видно.

– Убогая деревня, – говорим мы между собой, со страхом оглядываясь. Никто нам здесь не помогал с вещами, и мы неуверенно топтались вокруг них.

– Что же нам теперь делать? – спрашиваю я у вылезавшего из кабинки комиссара.

– Да вот устраивайтесь пока хоть в школе! – кивнул он головой на одноэтажный дом.

Мы переглянулись и с некоторым ужасом стали перетаскивать вещи в пустое здание. Школа не работала. Учительница уже давно заболела и уехала. Заместительницы тоже не было. Дверь не заперта. Вошли. Одна большая длинная комната в три окна. Грубо сколоченные деревянные скамейки, самодельные парты, стол для учителя, стул, убогий шкап с оторванными дверцами, черная доска, две керосиновые висячие лампы, земляной пол. Все же над головой крыша и есть где сесть.

С трудом мы перетащили, пока комиссар покуривал с шофером, свои вещи и, запыхавшись, сели, усталые и растерянные от такой непредвиденной встречи. Осмотрелись. Большая железная печь не топится. В "красном углу" висят портреты Ленина и Сталина, украшенные пыльными красными тряпками. Сквозь грязные, тусклые стекла маленьких окон ничего разобрать нельзя. Я вышла на крыльцо.

– Эй, товарищ председатель! – громко крикнул комиссар. – Выходи, принимай гостей!

Из неподалеку стоящей избы, над окнами которой криво висела доска с надписью "Контора", выглянула закутанная фигура крестьянина. Он вышел на улицу, не спеша подошел к комиссару. Его лицо, еще не старое, ничего не выражало, кроме смертельной усталости и скуки. Они пожали друг другу руки, энкаведист, усмехаясь, кивнул на школу. Хмуро взглянул председатель на окна, на копошившихся за ними людей, на меня, стоявшую на крыльце, и, ничего не сказав, повел комиссара и шофера в контору.

Что же это! нас не ждали! что же нам делать здесь? Ждать?!

Не зная языка, ничего не понимая в этой неприветливой, чуждой обстановке, все были на краю паники. Долго мы так сидели, переговариваясь и совещаясь, голодные и усталые, все еще ожидая, что нами займутся, но ничего не происходило.

Наконец, видим в очищенный уголок окна – энкаведист и шофер вышли из избы, застегивая на ходу куртки. Подойдя к грузовику, они оба, открыв кабинку, собрались уезжать. Наши польки меня просто вытолкнули наружу.

– Он уезжает, скорее, скорее спросите, к кому нам теперь обратиться.

Я поспешила к машине.

– Послушайте! Скажите все-таки, что же нам делать?

– Как что? работать! – ответил он нехотя. – Слушаться председателя, вот я ему передал ваши документы, он с ними познакомится, – значительно подчеркнул он, – а вы стройте себе помещение, скоро тепло, к зиме устроиться успеете!

– А сейчас? – настаивала я.

Он пожал плечами и, не попрощавшись, захлопнул дверцу кабинки. Мотор затрещал и грузовик отъехал.

Я постояла, провожая его глазами. Меня все ждали, я растерянно вернулась в школу. Все бросились ко мне с расспросами. Я объяснила им с помощью Скопович, что надо устраиваться самим, но по их испуганному виду мне стало ясно, что мои слова привели их в еще большее смятение.

"Что делать?" – думала я. Но когда увидала, что все на краю слез и отчаяния, а у меня на душе поднимается злоба и ненависть к этим нечеловеческим условиям, я решила пойти в контору и в первый раз просить у них помощи и защиты!

Вышла одна, с тяжелым чувством безвыходности положения. Подхожу. Стучу в дверь, никто не отзывается, толкаю ее и вхожу. Обыкновенная убогая хата в две комнаты. В одной из них – контора. По стенам лавки, два окна на улицу, посередине комнаты стол, в углу портреты Ленина и Сталина. Председатель колхоза

в полушубке и шапке сидит у стола и просматривает наши паспорта и документы.

– Здравствуйте, – говорю я.

Посмотрев на меня исподлобья, он мрачно сказал:

– Тут не по-нашему! Перевести можете?

– Могу, – отвечаю я. – Но, послушайте, сперва нам надо где-то устроиться! Можно ли остановиться в школе?

– Нет, школа нужна.

– Где же нам жить?!

Молчание.

– Мы же не можем просто на улице! – уже со злобой говорю я.

Долгое молчание. Потом:

– Да, еще холодно!

Снова молчание.

Как будто летом это возможно! проносится в моей голове. Смотрю на него – еще не старый, обыкновенное скуластое, простонародное лицо. Но казалось, что сила и энергия выкачаны из него непосильной ответственностью и безнадежностью... Почесал затылок, взглянул на меня.

– Да я не препятствую, чтобы вы устраивались у колхозников, если они вас к себе пустят! – добавил он, снова опустив голову над замысловатыми бумагами.

Я постояла еще минуту, но он упорно молчал.

– Хорошо! Я пойду опрошу по домам. Но где все крестьяне? никого не видно!

– На работе, пройдите дальше, в молочную.

Уже часа четыре. Улица пуста, по бокам лежит снег, посередине грязная тропинка. Не видно ни детей, ни собаки, ни кошки! Кое-где развалины изб, кое-где разобранная крыша, редко где виднеется дымок из трубы.

Зашла обратно в школу. Все вскочили, все глаза вопросительно уставились на меня.

– Ну что? Куда же нас устроят?

Я позвала с собой Зосю, наименее из всех испуганную. Пан Юзеф не говорит по-русски и его внешность уж очень не пролетарская...

– Мы попытаемся поговорить с крестьянами, может быть и найдем комнаты, – старалась я всех успокоить, – председатель не противится, чтобы мы жили у них.

Мы с Зосей вышли на широкую улицу. Неприветливо выглядели дряхлые избы. Смотрим, куда бы зайти. Вот дымок, значит, живут! Стучим в дверь, открывает девочка лет шести. Босая, в ситцевом платье, закутанная в дырявый платок.

— Где папа и мама? — спрашиваю я.

— Мамка в молочной... — шепчет она.

Идем дальше — все то же. Только маленькие дети, а то и совсем пусто. Кое-где висит замок на дверях, часто окна забиты досками.

— Надо пойти в молочную, — говорю я Зосе.

Так прошли мы всю деревню. Видим впереди низкие, длинные здания с железной, когда-то красной крышей. Здесь, наконец, почувствовалась жизнь. По грязному, талому снегу пробегают дети, проходят женщины с ведрами, старики вилами складывают в кучу навоз, слышно блеяние овец и мычанье коров, копошатся в навозе тощие куры.

Постучались в дверь, ответа нет, входим в большую, светлую комнату. У окон стоят бидоны, в углу большой стол, на нем сепаратор, ведра на полу. Вокруг суетятся доярки, кто вручную крутит сепаратор, кто сливает сливки в бидоны, сыворотку выносят в ведрах на двор. Тепло, пахнет коровами, от парного молока идет пар. Доярок пять-шесть. Тут же старик в тулупе. При нашем появлении все мгновенно прекратили работу и уставились на нас, как на пришельцев с того света.

— Здравствуйте, — нерешительно говорю я. — Вы, наверно, уже слышали, нас прислали сюда на работу, да вот нам негде жить. Председатель в конторе сказал мне, что не препятствует, чтобы мы устроились по хатам, если вы согласитесь нас принять к себе!

Я вопросительно смотрела на них, они молча продолжали нас оглядывать.

— Сейчас мы все в школе — нас всего 11 человек. Заплатить мы можем вам вещами — денег у нас нет.

Женщины переглядывались между собой, потом стали подходить, вытирая мокрые руки о подол. Спереди идет бойкая баба, повязанная чистым платком.

— Что же, это можно, — певуче проговорила она, — вот наш бригадир, — указала она на старика. Он тоже не отрываясь оглядывал нас. Я подошла к нему.

— Пойдемте с нами в школу, — попросила я его, — вы всех здесь знаете, поговорим, кого куда можно устроить.

В это время остальные, подойдя к улыбающейся Зосе, тихонько щупали ее добротное пальто и шерстяной платок на голове.

"Господи, как дети", — подумала я. После дневного удоя работа, видимо, кончалась. Они спешно убрали ведра и вышли вместе с нами. Старик закрыл дверь на ключ.

Тут уже стояла целая ватага оборванных ребятишек. У многих ноги окутаны тряпками, кто в платке, кто в рваной куртке с чужого плеча, все с посиневшими от холода губами.

– Откуда вас привезли? – тихо спросил, идя рядом со мной, бригадир.

– Мы из Польши, – так же тихо ответила я.

Ошеломленные дети бегом следовали за нами до самой школы, остановившись, обступили окна и повисли на них, с любопытством заглядывая в комнату.

Мы вошли гурьбой. Сперва мы, затем бригадир, за ним женщины. Все наши испуганно повскакали с мест. У одних слезы на глазах, другие с окаменелыми лицами. Девочки, притихшие и испуганные, держались вместе.

– Они по-русски не говорят, – предупредила я бригадира.

Бабы молча столпились у двери, взглядывая то на нас, то на наши вещи. Казалось, они были потрясены видом наших чемоданов и узлов – этого давно невиданного богатства! Вдруг они все, как бы сговорившись, стали наперебой предлагать нам комнаты в своих хатах.

– Вы переезжайте ко мне, – предложил мне бригадир, – вы говорите по-русски, поможете нам. У меня дочь трактористка, но она не живет со мной дома, а я сам перейду рядом в кухню.

– Я не одна, вот моя подруга, мы всегда вместе живем, – познакомила я его с Вандой.

– Вот и хорошо, комната большая и тепло, – уговаривал меня старик. – Сейчас и вещи перенесем ко мне, тут недалеко.

Женщины в это время уже смело обступили наших, предлагая свои услуги. Ребятишек послали за салазками и как-то мгновенно с их помощью перетащили вещи и распределили, кого куда. Бабы просто с энтузиазмом помогали нам, провожали до хат, объяснялись знаками, с гостеприимной, ласковой улыбкой зазывали к себе. Мне и переводить не приходилось! Мы все ободрились, видя такое радушие и желание нас заполучить к себе.

– Мы рады вас принять в свои хаты, – говорили они нараспев, наивно добавляя: – вещи у вас уж больно богатые! Вам хорошо будет, не бойтесь, топить будем! Вот только кормить вас не можем – самим есть нечего! Давно одним молоком пробавляемся! Хлеб-то доели еще зимой; теперь по другим колхозам вещи меняем на муку и на картошку!

– Ну, ты, разговорилась, – оглядываясь, останавливают бойкую бабу другие.

– Пришлые они, неизвестно, что за люди!

Взволнованно и торопясь рассуждали они между собой, осматривая нас, боясь упустить богатого жильца и опасаясь неизвестных людей... Выходя из школы, я переводила повеселевшим нашим полякам, которые со своими провожатыми тут же разошлись в разные стороны.

Расстались мы совсем бодрыми после пережитого волнения и страха, особенно ярко чувствовалась радость человеческого отношения, надежды осесть где-то под приветливой крышей, где обещано тепло и где можно за вещи, которых у нас еще много, получить провизию.

Главное же утешение, что мы все недалеко друг от друга, что все чувствовали после всего пережитого еще большую сплоченность и солидарность нашей вновь обретенной семьи. Хаты, в которых нам предстояло поселиться, были мазанки из глины. Крыши у них соломенные, окна хоть и с двойными рамами, но маленькие, без ставен.

Бригадир провел Ванду и меня через низкую калитку в небольшой двор. Здесь кучами сложены кизяки, хворост, стоит низкая будка с какими-то инструментами. Мы вошли на крыльцо. Дверь, обитая рогожей, вела в узкие сени. Огромная русская печь отапливает две комнаты. В нашей – два окна на улицу, стены чисто выбелены, плотно убитый земляной пол. Светло, тепло, солнце бьет в наши окна, заливая все своим ярким светом. Старик Иван устроился на печи в кухне. Двери нашей комнаты выходили в сени, как и двери кухни. В сенях стояла кадка с водой, тут же на ней висит ковшик. Вода прикрыта деревянной крышкой. Около на полочке опрокинуты два побитых, но чистых ведра и прислонено к стене когда-то ярко выкрашенное коромысло. Топка из сеней, и одна наша стена совсем теплая, к ней мы и приспособили палати для Скопович. Моя раскладная кровать у противоположной стены. Под окнами – узкая лавка, перед ней – тяжелый самодельный стол. На полку, над окнами, сложили привезенную посуду. Готовить мы могли в русской печи, которую с утра растапливал Иван. Он же наполнял нам кадку водой из колодца.

Мы сразу же расположились, и все нам здесь после вагона казалось необыкновенно красивым и удобным. Иван постучал, встал у двери и, поглаживая корявой рукой бороду, одобрительно смотрел на наше устройство. Мы тут же ему предложили выбрать, что он хочет за комнату, но он с каким-то даже страхом сказал:

– Что дадите!

Посоветовавшись, показали ему толстое, купленное в Вильно одеяло.

– Господи! – сказал он. – Да за это добро можете весь ваш век тут проживать! Давно я такого не видывал!

Он все стоял и смотрел на нас, не смея взять одеяло в руки.

– Да вы войдите, дедушка, сядьте, что вы и в хате все в тулупе, все вам холодно!

Его глаза вдруг заслезились, и он распахнул свою шубу. Тулуп был надет на голое тело, холщевые летние штаны, засунутые в рваные, мокрые валенки – была вся его одежда!

– Вот до чего дожили! – воскликнул он и, не взяв одеяла, вышел из комнаты...

Мы обомлели, как видно, наше богатство его ошеломило, и нам стало совестно так выставлять его напоказ в этой убогой хате. У нас с Вандой были с собой чемоданы с мужскими вещами. Выбрав немного белья, штаны и захватив одеяло, мы все снесли в кухню, но Ивана уже не было. Из окна видим, как он ковыляет в контору.

"Какой ужас! – говорили мы между собой. – Что же это! Как они живут? Или он исключение?"

Не сразу решился Иван говорить со мной откровенно. Только постепенно я стала понимать, что происходит вокруг и как все пришли к такой безвыходной нищете. В первое же время мы с Вандой, чувствуя себя в безопасности под крышей и в тепле, с энтузиазмом принялись за дело. Казалось счастьем устраивать свое жилье. Приспособить доску для сидения напротив стола, смастерить подобие комода или шкафа из освободившихся ящиков, завесить пестрой тряпкой окно. Но главная роскошь – это моя раскладная кровать с чистыми простынями, подушками, одеялами...

Заходит солнце, вокруг ни души... тишина... Вскипятили чай, только сейчас вспомнили, что с утра ничего не ели. На чистой салфетке разложен хлеб, ветчина, и этот первый ужин у себя за столом остался радужным воспоминанием на всю жизнь.

Наладили мы свою жизнь скоро. Ванда по хозяйству, я по делам, то в конторе перевожу на русский язык наши польские документы, избегая давать слишком точные и компрометирующие сведения, ссылаясь на плохое знание польского языка, то меня вызывали наши, прося переводить или советуясь о текущих делах, то в молочную, где уже ко всему присматривалась Зося, то к председателю, объясняя ему, кто что может делать.

Все уже устроились более или менее удобно, всем было тепло, и ели все досыта. Мы это первое время как-то внутренне стали приходить в себя и наслаждались отдыхом и кажущейся свободой. Я просто полюбила нашу комнату, с утра она была залита солнцем, под окном

деревянная скамейка, в углу двора уцелевшая береза, кем-то давно посаженная, наливалась почками, всюду пробивалась трава и с каждым днем все громче щебетали птицы. Несмотря ни на что, весна, тепло наводили на радужные мысли, а главное, все время чувствовалась безусловная временность пребывания в колхозе и ни на минуту не покидала твердая уверенность, что все образуется и рано или поздно, но мы вернемся домой!

Около пяти часов утра Иван стучал к нам в дверь, было слышно, как он топил печь, как выходил за водой, как она лилась в кадку. Вставать приходилось рано, мы все были обязаны ежедневно являться в контору. Уборной в хатах, конечно, не было, но вокруг много развалин, и, по неписанному уставу, были развалины мужские и женские. Во всякую погоду, в ветер и дождь, бегали туда, подгоняемые утренним холодом. Эта обязательная прогулка до рассвета являлась даже стимулом хорошего настроения. Ванда вставала позже, она была освобождена от конторы и работы, имея справку (по-нашему – свидетельство) о недавно перенесенной операции. Встав, она с утра принималась за хозяйственные дела – готовила, убирала, стирала, штопала и вносила уют в нашу суровую жизнь.

Вся эта первая неделя по нашем приезде была холодная. Снег в степи таял медленно, а в лощинах лежал еще толстым слоем. Ночами случались и заморозки. Нас пока никуда не посылали. Являться в контору к пяти утра мне было нетрудно. Мы жили без свечей и керосина и ложились с заходом солнца.

В конторе председатель распределяет работы. Доярки с бригадиром Иваном уже давно в молочной, их трудовой день начинался в 4 утра. Остальных же из конторы посылали кого за сеном или соломой в степь, кого в Актюбинск за покупками и почтой, кое-кого вызывали и в управление НКВД. В самом колхозе тоже была работа, починка инструментов, сечка соломы, иногда разборка брошенных на произвол судьбы изб, лепка из навоза и соломы кизяков для топлива. Мы же, поляки, прослушав обычный утренний распорядок, возвращались к себе, обсуждая по дороге все слышанное, такое чуждое и непонятное.

У Ванды уже готов кофе и есть еще сухари, сало, колбаса, а она уже озабоченно размышляет вслух, как ей печь хлеб без закваски и дрожжей, а главное без соли, которую нам не пришло в голову взять с собой, а уже много месяцев колхоз живет без нее. В магазине же ничего не купишь, тут выставлены только давно выцветшие картонные коробки с цикорием.

Наши ящики с провизией Иван вынес в холодную клеть, сделавшуюся нашей кладовой. Он намеренно исчезал, как только мы

садились за стол, решительно отказываясь принять что-нибудь из съестного.

– Я привык, мне ничего не надо! Приберегите на лето! Я кормлюсь при молочной. И так вам за все премного благодарен! – говорил он, и веяло от него удивительной внутренней стойкостью и благородством.

Прожив так неделю, мы воочию убедились, что привезенные нами из Польши вещи буквально спасают колхозников от надвигающегося голода. За зиму все их запасы давно иссякли, променяли уже все, что было возможно, а тут за простыню, за рубашку можно было в совхозе или Актюбинске получить муку, соль, картофель или крупу.

Казахстан, со столицею Верный, теперь переименованный в Алма-Ата, уже давно стал знаменит своими ссылками и лагерями. Мало заселенный, с резко континентальным климатом, жарой летом и морозами до 60^0 зимой, с необъятными степями – край безлесный и безводный был заселен с 1925-го, 1929-го, 1930-го годов ссыльными украинцами и жертвами чисток. Наиболее тяжелой лагерной работой была добыча угля и руды в Караганде. Для каждого ссыльного это слово звучало угрозой – живыми оттуда не возвращались. Наш колхоз имени Максима Горького имел свою грустную историю. До революции это было небогатое, но сытое село, у каждого был свой надел, огород, лошадь или пара быков, коровы, куры, свиньи и овцы. Хаты и тогда были мазанки, крыши соломенные, пол земляной, и топились издавна кизяками, но стены были выбелены снаружи и внутри, и ясно глядели на улицу небольшие окна с двойными рамами и белыми занавесками. Крестьяне пахали и сеяли по старинке, бабы возделывали огороды, ухаживали за скотиной, а сена в степи было сколько угодно, и прокормить скот ничего, кроме работы, не стоило. Село было большое, около сотни дворов. Крестьяне – местные и переселенцы из западной России, привлеченные большими наделами и привольной степью. Актюбинск не за горами, и, выехав до света, можно поспеть на базар, чтобы продать свои товары, кур, яйца, овощи, а то и выкормленную за лето и осень свинью или телку и купить в городе табак, соль, ситцы и сукно.

С коллективизацией все круто изменилось. Личные наделы были уничтожены, огороды тоже, скот и живность сдана под учет и размещена по фермам, выстроенным на государственные ссуды. По количеству дворов и людей прирезали колхозам из целины в степи огромные наделы. По количеству земли назначили посевные

нормы и план заготовок. Раз попав в этот заколдованный круг, выбраться из него было невозможно. Не помогли крестьянам ни сельскохозяйственные машины, которыми они не умели пользоваться, ни постоянные выступления инструкторов и политруков, призывающих к выполнению и перевыполнению повышенных хлебозаготовок.

Уже с первого года коллективизации большинство колхозов не смогло сдать государству столько, сколько было назначено. Приемные комиссии по сбору зерна, не получив того, что им причиталось по плану, организовывали обыски по хатам, в амбарах, под полом, под стогами сена, сопровождалось все это арестами, ссылками, а при сопротивлении и убийствами. Найденное безжалостно вывозилось в города, колхозников оставляли зимовать буквально без ничего. Недоимка колхоза переносилась, невзирая ни на что, на следующий год. Прикрепления к месту работы тогда еще не было, началось постепенное бегство крестьян в города, на заработки. Там в артелях работали за деньги и получали хлеб. Брошенные же на произвол судьбы хаты заколачивались, крыши у них проваливались, обваливались стены... Работников и их семейств в колхозах становилось все меньше и меньше, но план оставался прежний. Задолженность нашего колхоза была чудовищной. Тракторы, комбайны и сеялки лежали заброшенными в снегу, в степи. Они ржавели и растаскивались отдельными частями по хатам и проезжими из городов, т.к. каждый гвоздь и винтик имели большую ценность. С голодом началась и фантастическая растрата имущества. Похищалось все, что только не являлось личной собственностью соседа. Председатели колхозов подкупали подарками приемную комиссию. Комиссии, боясь репрессий, приписывали в отчетах липовые проценты. Колхозники обрекались на голодную зиму или бегство.

В такие-то вымирающие колхозы и выслали польских женщин и стариков для пополнения рабочей силы. К нашему ужасу, это был далеко не единственный вымирающий колхоз. Уже с первых дней нашего пребывания мы с недоумением заметили, что работоспособных мужчин просто нет. Они все куда-то исчезли, оставив жен и детей. Говорили, что к лету мужья вернутся "подсобить". Сейчас же десятка два жилых хат, школа для детей от 6-ти лет без учителя, ясли пока до лета не работают, т.к. родители зимой держат детей при себе. Магазин без продуктов, кузня без инструментов. В яслях, когда они откроются, детей до пяти лет прикармливают, детей же школьного возраста, от 6-ти до 13-ти лет, должна кормить семья. К общему котлу в степи они не

допускались, малолетние не работают, а чем и кто их может прокормить!

Мы очень скоро увидали, что молодые и здоровые мужчины все были нашими начальниками. Энкаведисты, политруки, служащие сельсовета, регулярно приезжавшие воспитывать и перевоспитывать ссыльных и колхозников. Спецотдел – приставленный наблюдать по месту жительства или работы за политической благонадежностью колхозников. И, наконец, наше ближайшее начальство – председатель колхоза и счетовод.

Зимой все хозяйство у нас сосредотачивалось у хлева. 80 коров, несколько пар быков и лошадей, овцы и куриное хозяйство. Прирост их тщательно скрывался, хоть это и грозило судом, ссылкой, а иногда и расстрелом за вредительство. Помогал тут опять-таки подкуп комиссаров, политруков, счетоводов, которым тоже надо было изощряться перед высшими властями – всемогущим центром. Индивидуальных кур по хатам давно уже перестали держать, они тоже были на учете и надо было известный процент яиц сдавать приемной комиссии, да и прокормить кур стало постепенно не под силу. В молочной работа женская и стариковская. Доярки вручную доят весной три раза в день, старики чистят хлев, задают корм, складывают в кучи драгоценный навоз, из которого делают кизяки. Здесь в хлеву и молочной тепло, светло, вкусно пахнет парным молоком. Ежедневно здесь же варят суп, хотя и без соли, но приправленный утаенной сметаной или маслом. Тут же тайком прикармливают и детей. Работа при молочной и в хлеву тяжелая, особенно зимой. В любую погоду, когда так страшны бураны, едут в степь за сеном и соломой, жизнь скота в колхозах стала намного драгоценней жизни человеческой – за падеж живности все отвечали головой, начиная с председателя и кончая последней дояркой. Вымирание же людей в эти тяжелые годы стало делом обычным и нормальным и никого не удивляло.

Поразительно, что ни жалоб, ни возмущения среди колхозников мы не замечали. Вся их энергия была направлена на старание прокормить себя и детей. Сжившись за эти годы с нищетой, они говорили о ней, как о чем-то совершенно естественном. Может быть это состояние постоянного недоедания поддерживалось властями нарочно – легче покорить людей при их постоянной устремленности к чисто животной цели. Это вызывало у них апатию ко всему, что не было насущной необходимостью, – властям это было и спокойнее и выгоднее.

По слухам, в округе были и богатые совхозы и даже колхозы, "показательные", которым, возможно, помогало правительство, но

туда ссыльные не попадали. Ездили туда, только чтобы менять вещи на продукты, т.к. богатый колхоз нуждался в одежде и белье. Польские вещи расценивались очень высоко, как невиданные в СССР по добротности.

Не работая, мы эту первую неделю нашего пребывания в колхозе часто видались друг с другом, советовались, помогали устраиваться и делились своими сомнениями. Хозяева наши были гостеприимны и внимательны, большинство из них были ссыльные с Украины, как мы узнали потом.

В 30-е годы их высылали в Казахстан целыми партиями, они сами об этом ничего не рассказывали, и даже друг с другом были очень осторожны. Старик Иван с первых же дней нас предупредил – зря не болтать, среди колхозников тоже есть свои доносчики, которым, конечно, поручено следить за нами.

Пан Юзеф с дочерью Марией и двумя внучками поместились в просторной и светлой избе у веселой и бойкой бабы. На печи – пан Юзеф, на лавках – пани Мария и девочки. Пан Юзеф был старший, своей выдержанностью, культурой и отзывчивостью он сумел нас объединить, и мы невольно его слушались. Неплохо устроилась и пани Марыся. Открылись ясли, она при них жила и работала, тут же принимала и больных и лечила их без лекарств, домашними средствами. Вещей у нее почти не было, но кормилась она детской кашей на снятом молоке. Лучше всех устроилась Зося. Держала она себя очень независимо и смело, но ей все сходило с рук, благодаря ее молодости и миловидности. Она была окружена всеобщим вниманием, но от нас не скрывала, что и ей самой все нравилось, несмотря на убогую жизнь. Безбрежная степь, независимость от семьи. Нравилась ей и "свобода" после строгого воспитания у родителей в католической Польше. После ареста ее отца и матери, раскулаченных фермеров, она некоторое время оставалась на занятой большевиками ферме своих родителей, пока не попала в список родственников арестованных и не была вывезена вместе с нами. О своих близких она ничего не знала, но об этом и не задумывалась. Почти с первых дней ее устроили в молочной, работа ей была знакома с детства. Поселилась она у замужней доярки, муж которой должен был вернуться к лету с зимних заработков. Вещей у нее было много и она пока не нуждалась ни в чем. Ей было весело, что за ней уже ухаживали и председатель, и счетовод, и приезжие комиссары. Не зная языка, она со смехом объяснялась с ними, нисколько не стесняясь, жестами и по-белорусски. Зимой ей уже была обещана работа при конторе, если она хоть немного подучится русскому. Хуже всех устроилась пани Клара. Она заранее объявила нам всем, что на большевиков работать

не намерена, что положение в Польше должно со дня на день измениться, что у нее еще есть вещи на обмен.

"Нас вывезли силой – пусть сами теперь и кормят", – говорила она упрямо, надеясь неизвестно на что. Девочки ее с утра убегали или к пани Марии, к своим сверстницам, или в молочную, где их прикармливали с крестьянскими детьми.

С теплыми днями будущее стало нам казаться менее безнадежным. Предстояла работа в полях, в огородах, с общим котлом, а зима еще далеко! После ареста, жизни в Новогрудке наша теперешняя вынужденная беспечность все же была успокоительна. Терять нам было нечего, а сами мы были бессильны что-либо изменить. О внешнем мире мы уже давно ничего не знали, ни об арестованных, ни о ходе войны, ни о друзьях. Не раз я уже допытывалась у старожилов и бригадира Ивана, как тут поступают, чтобы получить сведения об арестованных близких. Мало кто на это отвечал. Наконец, Иван, махнув рукой, как на безнадежное дело, все же, подумав, посоветовал:

– Попробуйте написать заявление в центр.

Куда, кому? думала я. Впрочем, чем я рискую? И написала сразу два: одно Сталину в Кремль, другое начальнику НКВД, Берии. В заявлении кратко описала арест в Щорсах, пребывание в Новогрудке, что Полю вывезли, вероятно, в Минск, запросила, где он сейчас находится и к чему приговорен.

Наши поляки еще меньше знали о своих близких – все, кроме Ванды, которая через панну Марью знала, что ее муж в северных лагерях. О польских же офицерах ходили никем не проверенные слухи, что они вывезены в Козельск, но там следы их терялись, и на заявления и запросы, которые я писала, никакого ответа так и не было получено. Я же, к моему изумлению, в июле 40 года, то есть через полтора месяца после моих запросов, получила ответы из канцелярии Сталина и из управления НКВД из Москвы. На официальном бланке кратко сообщалось: "Обратитесь с заявлением к начальнику тюрьмы в Минск".

Это было первое указание о Поле за эти последние месяцы, и я поверила, что он жив. Неожиданное известие, на которое мы все так мало надеялись, нас бесконечно обрадовало. Каждый стал надеяться тоже получить сведения и возможность помогать своим близким. Ссылаясь на эти официальные бланки, я тотчас послала запрос в Минск. Ответ пришел очень скоро: "Обратитесь к начальнику тюрьмы в Барановичи".

Теперь мне стало ясно, что Полю в лагеря не вышлют, а приговорили к тюремному заключению. На мой запрос в Барановичи, где

я спрашивала, сколько я могу высылать денег моему мужу, был ответ: можете высылать 75 рублей в месяц.

Так как мы хорошо знали тамошний произвол и административный хаос, все эти неожиданные и точные ответы нас невероятно изумили. Конечно, не могли не помочь официальные бланки из центра, но все же это нам всем казалось просто чудом. Поля снова в Польше, думала я, пусть оккупированной, но среди людей, которые его знают и смогут, может быть, помочь. Дети в Варшаве, вероятно, продолжают о нем хлопотать и добиваются его освобождения, а я отсюда смогу ему высылать хоть немного денег. Эта ежемесячная посылка морально поддержит Полю в тяжелом одиночестве. Знала я также, что в случае его перевода эти деньги мне вернут обратно. Наконец-то настоящая связь, и это мне было огромным утешением и укрепило сознание необходимости преодолеть все трудности, чтобы во что бы то ни стало вернуться в Польшу.

Много позже, уже во Франции, я узнала от Поли, что деньги он ежемесячно получал не на руки, а на текущий счет, что давало возможность пользоваться тюремным ларьком. Там он мог покупать хлеб, сахар, табак для обмена и то, что находил в магазине. Откуда приходили деньги, он не знал, мою приписку при переводе ему не передавали. Он надеялся, что я в Новогрудке, и когда через год, при наступлении немцев, он вышел из тюрьмы, то для него было большим разочарованием, что в Новогрудке никого из семьи нет.

Наша жизнь продолжала течь по намеченному руслу. Являясь каждое утро в контору, мы познакомились с рутиной дня, с работой, которая нас здесь ожидает, и с людьми, с которыми нам приходилось жить. По утрам еще холодно. В 5 утра темно. Все поеживаются натощак и спросонья. Контора при нашем появлении уже полна народу. Она пустеет по мере того, как председатель распределяет текущие работы. Нас он задерживает до конца, поучает, позевывая, со скучающим видом напутствует.

– Вот познакомитесь с работой, увидите, как надо выполнять план. На всякое задание есть своя норма. Выполните, припишут вам палочку, не выполните – пол-палочки, а то еще и меньше. А палочка здесь трудодень. Перевыполните задание – заработаете сразу две палочки, а то и больше, попадете в стахановцы, а это большая честь! Осенью получите расчет, – продолжал он, – по количеству трудодней, а на каждый трудодень выдается тоже по норме, смотря по выполнению общего плана!

Тут же сидящий счетовод хитро улыбается, поглядывая на нас, – знает он, какой бывает расчет!

Мы сидим на лавке, молча слушаем. О задолженности колхоза узнаем после от Ивана.

– У нас есть здесь правило: кто не работает, тот не ест! – заключает председатель и отпускает нас домой.

Вернувшись домой и уютно выпив кофе с Вандой, мы с ужасом ждали ежедневных воплей колхозного радио. С 6 утра начинал кричать и петь громкоговоритель – большая труба, приделанная к крыше конторы, почти напротив нашей хаты. Она вопила на весь колхоз, и укрыться от нее не было никакой возможности. Начиналось всегда с одного и того же бодрого марша, затем популярная песня.

Широка страна моя родная!
Много в ней полей, лесов и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Иногда давались и краткие известия о молниеносном продвижении немцев. О счастливой, освобожденной от польского гнета Белоруссии, о стремлении ее населения войти в состав советских республик. Неизменно часами длилась нудная пропаганда, избитые лозунги: загибы и перегибы врагов народа, подкапывающихся под партию, необходимость бдительно следить за ними, преступность укрывательства и доблесть разоблачения вредителей... Мы закрывали окна и с нетерпением ждали любой работы подальше от колхоза, подальше от этих поучений и нарочито бодрой музыки. Всех нас тянуло на воздух, в степь, подальше от того, что мы видели и слышали.

После 15 мая снег наконец сошел, и ветер осушил чуть позеленевшую степь. Уже издали слышалось, как вода ручейками стекала в глубокие овраги и рытвины. Дороги с глубокими, прошлогодними колеями засыпались щебнем, и каждая хозяйка у своей хаты старалась навести порядок и чистоту.

В один из таких солнечных и ветреных дней председатель утром нам объявил:

– Пошлю вас сегодня на ваше первое задание – будете в степи травить наших вредителей – сусликов. Бригадиром на первое время будет вам Иван, он бывалый, все вам покажет!

Вместе с ним мы вышли из конторы.

– Идите завтракать, – сказал он нам тихо, – покуда я все приготовлю для травли. Потом зайдите ко мне в хату, оттуда и пойдем в степь.

Иван стал инвалидом после войны 14-го года. Бывший солдат Преображенского полка, взятый в гвардию за высокий рост и благообразную наружность, он в 16-ом году был тяжело ранен. Революция его застала в госпитале, что его и спасло. Сам он ей не сочувствовал, но как инвалид был отправлен на поправку на родину, в Актюбинскую область, в свое родное село. Был он вдовец, имел подростка-дочь, воспитанную во время гражданской войны в детдоме. Пройдя обычный курс, она кончила комсомолкой, а потом стала активисткой и получила партийный билет. Сейчас она работала трактористкой, объезжала со своей бригадой местные колхозы. Отец же, будучи болен, пассивно пережил революцию и коллективизацию. Своей дочери-коммунистки опасался, но остался доживать свой век в родной деревне. Как и все, он постепенно дошел до крайней нищеты. Дочь относилась к нему критически и ничем не помогала, чувствуя его молчаливое, но упорное несочувствие новому порядку.

Все это мы узнали не сразу, долго он к нам приглядывался и, перестав бояться, рассказывал тихо и без свидетелей.

Раннее утро в степи всем нам показалось удивительно красивым. На безоблачном небе встает необычайной величины красное солнце. Огнем горит восток, блестит роса, воздух напоен запахами каких-то неизвестных нам трав. Зеленеют озимые, степь тоже, хотя в лощинах еще белеет снег. Мы вышли все, кроме Зоси и Ванды. Даже пани Клара сопровождала нас с девочками. Идем без дороги по бугристой степи. У Ивана связка мешков, которые он передает нам, яд и спички. У нас у всех по палке. Вокруг вся земля усеяна небольшими бугорками суглинистой почвы. Это и есть норки сусликов. Мы все группируемся за спиной бригадира, выжидающе следим за каждым его движением. Не торопясь, он слегка разрывает ямку и, взяв из жестяной банки на лучину немного яда, засовывает его в нору, иногда же выкуривает зверька удушливым дымом. Мы ждем, что будет дальше. Очень скоро высовывается головка суслика. Иван ловко выгоняет его из норки палкой.

– Бейте, – кричит он нам.

От неожиданности никто не двигается с места. Суслик необыкновенно проворно проскальзывает мимо нас.

– Эх вы! – укоризненно машет на нас рукой Иван.

Идем дальше, и так весь день, пока солнце не начинает склоняться к западу. Один пан Юзеф несколько раз подбил убегающего зверька, к большой радости нашего бригадира. Сам он, уже не надеясь на нас, наловил их целый мешок, который должен был сдать в контору. Мы же разбрелись по степи, клали яд, отдыхали, завтракая

принесенными бутербродами, сидели на согретой солнцем пахучей земле и ждали сигнала возвращения. Засунув два пальца в рот, Иван пронзительно свистнул, собирая всех для возвращения домой. По дороге подбирали мы еще отравленных сусликов, выбежавших из своих нор и лежащих на нашей дороге. Подошли мы к колхозу часам к шести.

– Смотрите, – укорял нас Иван, – припишут вам вредительство. Назавтра соберу ребятишек, они вам несколько мешков наберут, а вы их угостите чем-нибудь из ваших запасов.

Наутро мы снова в степи. Ходим с ядом, засовываем в бугорки. Бредем не спеша кто куда. Иван с ребятишками работает до вечера. С укором, но молча посматривает на нас. Мальчики тоже молчат. По закону они не имеют права работать – должны учиться. Им всего 7–10 лет, но они знают – будет угощение, и для них необычное. А мы уж постарались – свежие лепешки, ветчина, сало. Часов в шесть, усталые и голодные, мы возвращаемся домой. Пробыв целый день в тишине, в этой чудесной оживающей степи, пропитанные воздухом и солнцем, обвеянные степным ветром и уже загорелые, мы все почувствовали возрождение и радость жизни.

Ванда дома уже состряпала обед, суп с крупой без соли, но заправленный салом, пресные лепешки, все это кажется мне верхом кулинарного искусства. Ложимся рано с радостной мыслью – утром выйти в степь.

Так продолжалось с неделю. Ежедневно бригадир сдавал мешки с сусликами в контору. Счетовод хмуро вписывал их в книгу, неодобрительно поглядывая на недостаточное, по его мнению, количество мешков.

– Сколько вас в бригаде?

– Шесть, – повесив голову ответил Иван. Клара и девочки не считались.

– Нет дураков, – выпалил тут же сидевший председатель.

– Да ведь травим много! – оправдывается бригадир. – Всех не соберешь!

– Ты мне зубы не заговаривай, – продолжает председатель. – Завтра разделим всех, пошлем на другую работу.

Кончилось наше упоительное гулянье. Каждое утро посылали нас теперь в другие бригады. Было еще холодно, для сенокоса рано, общего котла в степи еще не завели, каждый брал с собой, что имел. Мы же работали все больше в самом колхозе, секли солому, мешали ее с навозом, из этой смеси делали в формах кирпичи, кизяки для топлива, выставляли их шпалерами для просушки. Иногда приходилось разбирать разрушенные за зиму

землянки, починять дороги, засыпая мусором колеи, чинить обветшалые крыши, носить в дырявых ведрах глину и песок...

После степи эта работа казалась тяжелой, грязной и трудной. Чтобы отдохнуть, мы прятались от счетовода и председателя по развалинам хат, избегали встреч с нашими новыми бригадирами. Больше же всего мы страдали от громкоговорителя, который не умолкая играл марши, пел песни и поучал. Все же, невольно прислушиваясь, я отмечала иногда и интересные известия, которые тут же переводила нашим. Советы начали покровительствовать Латвии и Эстонии. Красная армия занимает их территории, спасая от немецкой оккупации. Балтийские провинции встречают ее с энтузиазмом. Советы предполагают им устроить выборы, чтобы они вошли в состав советских республик. После выборов Сталин просит Гитлера отозвать оттуда свои войска... В июне Советы предлагают Румынии уступить им Бессарабию и северную Буковину, затем предъявляют ультиматум, и снова Красная армия занимает эти провинции, чтобы спасти их от угнетения Румынии.

Мы все эти известия очень переживаем, зная по себе, что значит "освобождение от гнета". Но известия передавались отрывочно, сообщения были часто неясными, и мы плохо понимали, к чему все это клонится. Утомленные работой, окружением, мы все продолжали мечтать о степи.

Хоть бы уж скорее образовались бригады! Сенокосы, огороды, где земля уже подготовлена к посевам, а часть – давно засеяна. С каждым днем становилось заметно теплее, на солнце просто жарко. Наконец, в середине июня образовались и бригады. Огородная работала уже недели две, туда просились все, но она считалась привилегированной – близко, будут варить суп из свежих овощей, а кое-что и унести можно за пазухой! Туда просилась и я.

– Держи карман шире! – усмехнулся председатель. – Пойдешь в степь, когда время придет!

К счастью, из наших попали туда пан Юзеф и дочь его Мария, как слабосильные и с детьми. Дней через 10 и я попала в сенокосную бригаду.

Выезжаем с зарей на грузовиках или на быках. Прислали нам из района косилки, наточили в кузне старые косы, починили вилы и деревянные грабли. Все старались, понимали, что без сена не проживешь. Бригадир Иван ушел на огороды, мы с новым молодым бригадиром ехали верст за 10 к летней землянке, устроенной для ночлега бригады. Здесь распределялась работа, кому возить сено, кому складывать в копны, кому косить вручную по оврагам и косогорам, кому ворошить. Одну из женщин ставили за стряпуху. Это была хоть

и завидная, но нелегкая и ответственная работа. Доверялась она только избранным, как наиболее сытная.

– При кухне не помрешь, – завистливо говорили колхозницы. – Да и с собой можно хоть немного, а утаить для детей.

Стряпуха знала, что бригада с нетерпением ждет баланды, что она должна быть готова к 11 часам. Разжечь костер на ветру было нелегко. Затем наполнить водой огромный котел, почерневший снаружи от копоти, но не всегда и вода есть под рукой. Приходилось в засуху привозить ее в бочке из колхоза. Влив несколько ведер, довести ее до кипения, подбрасывая кизяки и все, что можно найти по безлесной степи, чтобы поддерживать огонь. Вскипятив воду, кухарка бросала туда замешанную с водой муку. Получалось нечто вроде клецок, по-украински – галушек. А по-нашему баланда – слово, докатившееся до нас из тюрем и лагерей. Ни соли, ни жиров, ни хлеба не было. Все же она горячая, вареная, и после шестичасовой работы, зачастую натощак, съедалась без остатка. Вечером уходившим ночевать в колхоз позволялось уносить с собой свою порцию этого супа. Я на ночь никогда не оставалась в бригаде, боясь грязи, вшей. Торопилась домой и, умывшись в развалинах, поужинав с Вандой уже по-домашнему приправленной баландой, ложилась спать с заходом солнца и засыпала как убитая. О бессонных ночах и о болезнях печени не было и речи, несмотря на недоедание и, как мне казалось, непосильную работу я себя чувствовала здоровой. В субботу вечером мы все с особенной радостью предвкушали воскресный отдых.

Шесть дней делай, а седьмой – Господу Богу твоему. Только тогда я наглядно поняла мудрость этой ветхозаветной заповеди. До этого мы не знали, что такое работа, ни что такое отдых. Теперь же в субботу вечером отдых нам всем казался благословением Божиим, необходимым и заслуженным – не единым хлебом будет жив человек!

Все колхозники работали летом и по воскресеньям. Одни мы, поляки, решительно отказывались с утра пойти в контору. Никакие требования, никакие угрозы, как, например, угроза забрать детей в детдом, не заставили нас работать по праздникам. Председатель в конце концов устало махнул на нас рукой и только неодобрительно поглядывал из окна конторы, как мы, выспавшись, часам к десяти собирались в хату пана Юзефа. Счетовод же ядовито провожал нас словами:

– Посмотрим, как проживете зимой с нажитыми трудоднями.

Но и это нас не останавливало. Вошли в обычай эти наши воскресные собрания, здесь прочитывали общие молитвы, слушали Евангелие

и, поговорив о том, что произошло за неделю, расходились, примиренные и спокойные, по домам. Одна только Зося все реже и реже общалась с нами. Она все ближе сходилась со своими подругами по молочной и уже свободно объяснялась с ними. "Уходит!" – говорили мы о ней. И невольно сами сторонились ее, и редко и осторожно заговаривали с ней при случайных встречах. Беспокоила нас и пани Клара. Молодая, здоровая, несмотря на наши уговоры, она продолжала отказываться работать. Председатель, незлой и замученный человек, давно с этим примирился. Ее девочки питались по очереди у всех нас и даже у колхозниц. Она же выменивала последние вещи и сама ничего не готовила, ни на что не жаловалась и, вероятно, голодала. Папиросы у нее кончились. Табак же на вещи выменять было невозможно, за деньги купить тоже. Он редко появлялся у нас в магазине, да нас и в очередь не пускали. Все мысли Клары, как у одержимой, были сосредоточены на том, чтобы найти хотя бы окурки, брошенные проезжими комиссарами. Днем она бродила по колхозу и пустырям, ища обрывки старых газет или книг, чтобы скрутить папиросу из какой-то пахучей травы, как ее научили курящие. И жалко, и тяжело было видеть, как она просила колхозника с папиросой в зубах дать ей затянуться... Чаще всего ей давали, но иногда и грубо поддразнивали ее.

К лету жизнь в колхозе заметно оживилась. Вернулись из артелей мужья и братья – их охотно отпускали на сельскохозяйственные работы в колхозы к семьям. Все они обычно оставались ночевать в бригаде, работая тут со своими женами. Наша жизнь с Вандой текла по-прежнему. В воскресные дни я могла целыми днями читать. Книг, конечно, никаких не было, но в конторе нашлись разрозненные статьи Ленина, которые я с интересом прочла, не подозревая, что они мне не раз помогут при разговорах с большевиками.

В самый разгар полевых работ стали все чаще и чаще появляться приехавшие из центра комиссары. Чистые, сытые, уверенные в себе, они поражали контрастом с усталыми, голодными колхозниками. Не стесняясь временем, они собирали всех нас, работающих, устраивали собеседования, поучали и наставляли трафаретными речами. Однажды даже собирали подписи на какой-то государственный заем. Хотя он считался добровольным, от него отказаться никто не смел. Обратились и ко мне.

– Меня вывезли, у меня денег нет! – ответила я. – Но могу вам предложить 10% с моих трудодней.

Кто-то сзади усмехнулся, но комиссар невозмутимо внес мою фамилию в список.

Присмотревшись к окружающим людям, я увидела, что колхозники перед властями не заискивали и держали себя с достоинством. Ни о чем их не просили и ни на что не жаловались, вероятно, по опыту знали, что это безнадежно. Они просто старательно избегали попадаться им на глаза. Нас всех поражала их внутренняя стойкость и терпение, вероятно, достигнутые многолетним страданием и безвыходностью положения. Многие, конечно, были сломлены и погибали, выживали только идущие на компромиссы – этим власть помогала и часто выдвигала на видные посты. Конечно, и среди наших соседей были доносчики, стукачи, как их называли, но и они на людях ничем себя не выказывали, работая с нами на тех же, как будто, началах. Все их молча избегали, а как и когда они доносили, никто не знал, может быть письменно или через председателя и счетовода. Ведь, наверно, они получали за переданные сведения какую-нибудь мзду. А председатель, хоть и партийный, казалось, сам теперь не знал, как бы ему выбраться из отчаянного положения, в которое он попал. Он и сочувствовал, и отчасти завидовал нам, не имевшим никакой ответственности.

– Эх, – говаривал он, сидя за замысловатой отчетностью, – пошел бы и я с вами в степь.

Счетовод же был для нас значительно опаснее. "Вредный", говорили о нем поляки. Каждый вечер он объезжал на бричке или верхом огороды и сенокосы и все текущие работы. Обмеривал, высчитывал, заявляя обычно, что норма не выполнена, и выводил соответствующие "палочки-трудодни". Тут уже был явный и неприкрытый произвол. Записывал он по своему усмотрению, считаясь только, может быть, с личной дружбой или выгодой. Думаю, что и от нас он ожидал подарков, но мы только молча выслушивали его понукание и выговоры. В этом самодовольном и произвольном обмеривании, скрытых угрозах и подсматривании за нищими и беспомощными людьми было что-то глубоко омерзительное, но, несмотря на это, – редко кто, потеряв терпение, запротестует и громко выругается по адресу ненавистного счетовода!

Однажды, присмотревшись ко мне, он, сговорившись с председателем, назначил меня на другую работу.

– Будете с завтрашнего дня возить сено, – объявил он мне, злорадно улыбаясь.

– На чем? – спросила я.

– На быках, конечно, или машину вам подать прикажете?

Работа эта заключалась в том, что надо было за день свезти три воза сена в колхоз. Возы огромные, длинные телеги на четырех

колесах со специальными высокими грядками. Самой надо их запрягать, отпрягать, принимать сено на воз, сбрасывать его по приезде в колхоз у сеновала. Ясно, что это мне было совершенно не под силу, что это просто издевательство и что только подарками я смогу избежать этой работы. Я была уверена, что председатель согласился на это вынужденно, опасаясь показаться защитником бывшей помещицы.

– Да дайте ему рубашку в зубы! – уговаривали меня наши и даже бригадир Иван, который не любил вмешиваться в распоряжения, исходившие из конторы.

"Нет! ни за что, – думала я, – чтобы он еще Полину рубашку носил!" И, стиснув зубы, отмалчивалась.

Помню, как, сидя в обеденный перерыв одна под стогом сена, я представила себе завтрашний день. Я вообще не из храбрых, но тут мысль о быках, без привычной упряжи, которыми надо управлять, сидя в трех-четырех метрах от земли, меня привела в ужас. "Попробую еще раз уговорить счетовода, – подумала я. – Вот и здешний бригадир против этого плана, боится, что я не выполню задания, оставлю скот без сена и подведу его. Кроме того, теперь жарко, конец июня, уже появились оводы и мухи, которые докучают быкам, и они со дня на день делаются все беспокойнее".

Вечером в конторе я все это старалась объяснить председателю и счетоводу, но последний настаивал на своем, несмотря на хмурое молчание председателя.

– Послушайте, – закончила я, – всякий понимает, что эта работа мне незнакома и не под силу. Конечно, терять мне нечего, но, если с волами что-нибудь случится, отвечать перед НКВД будете вы, а не я.

– Ошибаетесь, – ответил счетовод со злобой. – Это вас будут судить за вредительство.

Все же, посмотрев на меня прищуренными от злости глазами, он, подумав, прибавил:

– Хорошо, я дам вам на первый день мальчика-погонщика, но тогда на полный трудодень не рассчитывайте.

Больше разговаривать было не о чем. "И на том спасибо", – подумала я.

На следующее утро мальчик лет 14-ти еще до 5-ти утра при мне впряг в телегу двух волов. Надел им на шею деревянное ярмо и воткнул затычку в дышло. Взяв в руки длинную палку, он вывел волов со двора и подвел телегу к конторе. Тут уже ждали нас несколько колхозниц сенокосной бригады. Не спеша, шагом выехали мы в степь. День, видно, будет жарким, ветра нет, небо

ясное, безбрежная, зеленая степь с бесчисленными цветами отливает серебром. Благодать! Я уже научилась жить настоящим и уметь наслаждаться и дорожить каждой минутой красоты и спокойствия, дарованной мне Богом.

Колхозницы молчат, а то и подремывают. Мальчик с длинной хворостиной спокойно трогает то одного вола, то другого. Они послушны, они знают: "соб" – направо левый вол, "собе" – налево правый. Как они спокойны, как терпеливо и деловито исполняют то, что им приказывают. И чего я так боялась? Совсем не страшно, и как будто легко. Подъехали к бараку, работа уже кипит. Вчерашнее душистое сено сложено в копны, счетовода не видно, мужики ловко подымают на вилы большую охапку и взваливают на телегу. Я им не помогаю, у меня и вил нет, подгребаю граблями упавшее вокруг телеги. Молодой бригадир, стараясь, видимо, мне помочь, сам равняет сено, приглаживает вилами, уминает ногами. Мальчик подводит телегу дальше к сложенным копнам. Воз быстро наполняется, вот уже дошли до верха грядок. Готово! Бригадир слезает, мужики утирают рукавом потные, лоснящиеся лица. Мы с мальчиком влезаем на самый верх, грядки высокие, можно за них держаться.

Мальчик сидит спереди, смеется, поглядывая на меня.

– Да вы, тетенька, не бойтесь, держитесь покрепче. Поедем тихонько.

Покачиваясь в разные стороны, воз наш медленно сдвинулся с места. Выехали на дорогу, мужики и бабы разошлись и вскоре пропали из вида.

– Как тебя зовут? – спрашиваю я мальчика.

– Меня-то? Федей зовут, я зимой хожу в школу, а летом мне теперь работать дозволено.

– А родители твои где?

– Тут они оба, отец вернулся с лесного промысла, а мать доярка.

– Ты что же, один в семье?

– Да, теперь один, мать троих младших в детдом отдала, не хочет их колхозниками оставлять!

Воз движется медленно, слегка покачиваясь. Если что случится, думаю я, соскользну просто, как с горы. Уже солнце высоко. Приедем, позавтракаю с Вандой, а там еще надо будет два воза привезти. Мой погонщик насвистывает какую-то песню, степь колышется и переливается мягкими серебряными волнами. Красиво! Солнце припекает все сильнее. "Соб-собе", покрикивает Федя, снова потом переходя на посвистывание. Сено колется, сидеть неудобно, не взяла платка, а делается все жарче и жарче. Временами налетают

стаи назойливых мух, кружатся над волами и над нашими потными, загорелыми лицами. Появились и оводы, они больно жалят и впиваются в лоснящиеся спины волов. Федя отгоняет их хворостиной, но это не помогает. Все беспокойнее движутся хвосты волов, а оводы все назойливее, они теперь налетают тучами и кружатся над их головами. Волы стараются выпростать головы из ярма, воз идет рывками, Федя примолк, слышу теперь только беспокойное его покрикивание "соб-собе"! Обернулся ко мне:

– Беда с этими оводами, заедают волов.

Он ловко соскакивает с воза и идет с ними рядом, то и дело поглаживая спины, отгоняя мух. Мне тоже передается его волнение. До колхоза уже недалеко, дай Бог доедем. Вот и последний поворот, здесь дорога круто сворачивает от глубокого оврага, где внизу еще журчит не высохший весенний ручеек. Наши волы, видимо, почуяв воду, неожиданно свернули к нему. Федя, испугавшись, что волы опрокинут воз, закричал, больно стегнул их, но тут волы, взмахнув хвостами, свернули с дороги и понесли в открытую степь. Федя бросился им наперерез. Сойдя с дороги, телега грузно подпрыгивала на буграх.

– Тетенька, слезай, убьешься! – кричит мне Федя.

Держась за грядки, я все ближе и ближе продвигаюсь к задку телеги, еще минута – и я кубарем скатываюсь вниз на высокую зеленую траву. Все это произошло так быстро, что я, оглушенная в первую минуту падением, ничего не понимаю. Тихо, за высокой травой не видно горизонта, не слышно и телеги... Стараюсь привстать. Конечно, сильно разбила бок, но, кажется, ничего не сломала. Встаю, смотрю вокруг, волы стоят, Федя подбегает к ним, отпрягает, оставив воз в степи, гонит их по дороге к колхозу, я тоже хромая иду вслед за ним. Федя оборачивается ко мне смеясь, как ни в чем не бывало. Явно, ему это кажется обыденным и нормальным.

– Ничего, волы не покалечились, – кричит он мне радостно.

– Скажи им там в конторе, что я немного покалечилась и на работу не выйду, – кричу я ему вслед.

С трудом, хромая, но и с некоторым торжеством в душе, я добралась до дому. Ванда испуганно готовит мне чай. Пришла и Марыся из яслей посмотреть и полечить мои синяки. Опухоль большая, но зато полежу, посижу дома, отдохну, почитаю никуда не спеша, это ведь просто счастье, что все так кончилось. За возом к ночи пошлют других волов. Теперь-то я уверена, что меня больше не заставят возить сено. Им самим столько хлопот! А у меня есть свидетель – мальчик. Вредительство не припишут! Счетовод тоже теперь выговор от председателя получит за неуместное назначение.

Все эти мысли действуют самым радужным образом. Главное, можно наконец пожить тихо и спокойно, даже радио перестало вопить, все равно в колхозе кроме доярок никого нет. Одно плохо, провизии у нас уже немного, но ничего, что-нибудь променяем при оказии. А там снова надежда на баланду, это все же большая поддержка. Мы вдвоем тихо сидим в прибранной хате. Ванда штопает какую-то нашу одежду, рассказывает мне колхозные новости, ведь обычно я слишком устаю и поговорить некогда: незамысловатый ужин – и уже тянет ко сну.

– У многих кончается провизия, – говорит она тихим голосом, – давно уже ждем оказии, да все заняты.

Хуже всего, конечно, у кого дети. Клара продолжает не работать, и баланды у нее нет. Ее даже на огороды бы взяли ради детей, но она не хочет. Днем сидит дома одна. Дети потихоньку помогают при молочной, то вертят сепаратор, то на побегушках у доярок, а то их детей нянчат. Колхозницы их подкармливают тайком от счетовода.

На огородах хорошо! Суп варят из свежих овощей, правда, больше из крапивы, но есть зеленый лук и крупу дают из бригады. Пан Юзеф и Мария по вечерам приносят оттуда детям свою порцию супа.

– Вчера привезли в магазин водку, – продолжает Ванда, – я, было, встала в очередь, но меня не допустили, ни табаку, ни водки не полагается полякам, а соль все обещают, да до сих пор не привезли.

День склоняется к вечеру. Лежа лицом к окну, смотрю на красный закат. Красиво! Скоро вернутся с дороги, слышно, как подъезжают телеги и грузовики к конторе. Меня никто не тревожит, все уже оповещены о застрявшем в степи возу и выжидают, обсуждая, что будет дальше. Забегают наспех и наши посочувствовать, давно я их не видала. Они все загорелые, усталые, торопятся домой. Лежу, думаю на свободе. Ванда молча готовит ужин. Невеселые мысли навеяны мне свиданием с нашими. Удивительно, как постепенно от этой жизни на все смотришь иначе. Все ценности прежней жизни переоценены... Тут люди поглощены, буквально поглощены неотвязной мыслью о хлебе насущном, конечно, материальном, а его нет! Ни материального, ни духовного, а где его взять? Вот теплится еще какое-то сочувствие и ласка, но каждая семья все больше и больше замыкается в себе! Конечно, это теплое отношение друг к другу куда более ценно здесь, чем в том, прошлом мире, где все нам давалось так просто и легко! ...

Темнеет, луна освещает нашу обжитую комнату, и снова и снова мелькают мысли и образы... Вот, думаю, пан Юзеф еле ходит, почернел, ест на огороде раз в день баланду, без соли и хлеба, а вечером его дочь с детьми ужинают, а он залезает на печь, закрывается с головой, чтобы не видеть и не слышать, как стучат их ложки. Что он думает и что он чувствует? Его пример – нам тоже хлеб насущный, горький хлеб. Мы ведь все это знаем и молчим, иногда и протянем руку помощи, но помощь-то эта даже не капля в море!

Обреченность для одних, чтобы другим дать выжить? Хорошо еще – для того, чтобы дать кому-то выжить, а бывало, раньше, в том утерянном сказочном мире, обрекали ради того, чтобы всячески ублажить свою жизнь! Тогда все казалось еще мало и хотелось больше и больше. А много ли человеку нужно?

Неотвязны и мысли о зиме. Как прожить? Вещей все меньше, только при непосильной работе и можно кое-как прокормиться. А что за работа зимой – просто страшно подумать!

Отгоняю от себя все эти неразрешимые вопросы. Здесь можно жить только настоящим, не думая ни о прошлом, ни о будущем. Проходят дни, брожу, прихрамывая, по хате. Молча меня от волов отставили, усмехается Иван, боятся за них и за сено. Проходит еще несколько дней. Оказии для выменивания вещей нет, все заняты, ехать некому. Да и скучно так сидеть без дела... надо идти на работу, все же баланда, наша основная пища.

При моем появлении в конторе никто о волах не упомянул. Сено днем возят на грузовиках, я же снова работаю с граблями. Жарко, сухо, чудесно пахнет сеном и прелой травой. Вспоминаются Оснички, наша усадьба на Волхове, заливные луга, Щорсы, поездки с Полей в маленьком шарабане. Поля правит сам, он так это любил! Ранним утром мы почти каждый день объезжали работы в полях и в лесу. Любил он рассказывать о своих проектах, о построенной лесопилке, о посадке деревьев, о предстоящей продаже леса в Новогрудке, о Мурованке, а главное – о детях, об их успехах, о талантливости Сережи, серьезности Миши и об их занятиях в Варшаве... Тихо, ничто не мешает мне думать о всех и о каждом в отдельности. Успокоительна мысль, что этого у меня никто отнять не может.

Не спеша ворошу душистую, еще зеленую траву или собираю ее в копны. Каждый здесь работает на своем участке, чтобы вечером получить соответствующую палочку. Я заранее знаю, что мою копну счетовод найдет слишком маленькой и будет считать две за одну, но я и не рассчитываю прослыть стахановкой. Сама по

себе работа мне нравится – спокойно и далеко от шумных машин и чуждых мне людей. А вот и гонг, привязанный рельс призывает нас в 11 часов к обеду. У всех просто волчий голод, и это тоже приятно, никогда я раньше не чувствовала голода, садясь за стол. Вот если бы к баланде да кусочек хлеба, да еще посыпанный крупной солью, вот был бы пир! Правда, наученная горьким опытом, давно этого не жду, знаю – несбыточная мечта. "Держи карман шире", – вспоминаются слова председателя. Делается просто смешно. Подходим к стряпухе со своими жестяными ведерками, кружками, кастрюлями, что у кого есть. Большой ложкой, набирая погуще, она наливает нам кипящую баланду. Садятся кто где хочет, стараясь найти тенистое место. Съедают все без остатка, сосредоточенно и молча. Кое-кто принес с собой из дома пресную лепешку, дочиста вытирает ею принесенную посуду. После обеда – отдых, ложатся на час, кто под грузовик, кто под телегу или копну сена с теневой стороны, спасаясь от полуденного солнца. Почти все мгновенно засыпают мертвым сном...

– Давай, давай! – будит нас звонкий голос бригадира обычным в Советском Союзе возгласом. Дневной сон, да еще в жару, отягощает. Нехотя, все медленно поднимаются и плетутся к своим участкам. До вечера еще далеко. Снова под ногами свежескошенная трава. Ее густой слой кажется теперь тяжелее, и грабли к заходу солнца двигаются медленнее и медленнее. Все чаще с надеждой посматриваем на запад, пока наконец по рядам не раздается и передается все дальше и дальше давно желанный крик бригадира: "Шабаш". Мгновенно все бросают работу, не заботясь кончить ряд или копну. Уже подъехал счетовод, проверяет, записывает палочки. Захватив баланду, я тороплюсь домой, не пропустить бы отъезжающий грузовик. А то случалось – задержит счетовод, и приходится возвращаться пешком 10 верст.

А дома утешение – ведро холодной воды в развалинах, ужин с заботливой Вандой и целая ночь своя, которую никто у меня не отнимет. От усталости я засыпаю бездумно, без снов, и просыпаюсь только при стуке в дверь нашего милого Ивана.

Дни проходят, летят недели, похожие одна на другую. На наше счастье, как бы для того, чтобы помочь прожить это время, нет свободного часа, ни минуты, чтобы задуматься, поговорить или отдать себе отчет в том, что делать дальше? В самую страдную пору, когда сенокосы уже давно закончились и мы, ожидая времени жатвы, снова работали в самом колхозе, мне утром объявили в конторе, что меня вызывают в НКВД. Одно название этого учреждения приводило в волнение и страх, не только нас,

поляков, но и партийных. "Зачем я им нужна?" – беспокойно думала я. К счастью, вызывают без вещей. Значит, пока никуда не переведут! Удивительно, как при одном названии НКВД появляется неприятное чувство какой-то виновности, – но в чем? Как будто я ничего лишнего никому не говорила! разве что месть нашего "вредного" счетовода...

С этими невеселыми мыслями я сажусь в телегу, уже ожидавшую меня. Все наши молча провожают меня беспокойным взглядом. Ванда испугана, она растерянно побежала собрать вещи на обмен. Она так боится, что меня арестуют. "Да за что?" – говорю я ей смеясь, чтобы ее успокоить. "Кто их знает!" – шепчет она мне на прощание. С оказией почти весь колхоз посылает вещи на обмен – теперь оказии редки. Еще очень рано, утро прохладное. Едем крупной рысью, роса смочила придорожную пыль, степь уже изменилась, из зеленой превратилась в бурую, от ветра чуть колышутся посередине метелки ковыля. А на просохшей дороге пыль стоит желтым облаком. Едем уже часа два, солнце начинает сильно припекать, наконец подъезжаем к большому поселку. Мой возница всю дорогу пел унылую песню, сейчас замолк.

– Вы бывали в НКВД? – спрашиваю его.

– Нет, Бог миловал, – серьезно отвечает он. – Я ведь только летом к жене приезжаю, зимой на лесозаготовках работаю.

Помолчали.

– Ребятишек в детдом отдал, не хочу из них колхозников делать! Да вот мы и приехали.

Он лихо подкатил к одноэтажному зданию. Над дверью висит флаг с серпом и молотом. Под ним надпись – "Районное управление НКВД". Оставив меня, возница сам поехал в поселок менять привезенные нами вещи.

Посмотрев мою повестку, милиционер впустил меня в небольшую приемную и вписал мою фамилию в книгу. Я ждала часа два, комната с утра уже наполнилась народом. Любопытно было бы знать, что это за люди и зачем они вызваны. Здесь были и колхозники, мужики и бабы, и милиционеры, и какие-то служащие в форменных фуражках. Все ждали молча, напряженно поглядывая на дверь. Их постепенно вызывали, все прошли раньше меня. Наконец выкрикнули и мою фамилию. Вхожу в небольшую, чистую комнату. Неприятное чувство беспомощности перед их произволом не покидало меня. Большой письменный стол с лампой и телефоном. За ним сидит спиной к окну совсем молодой, чисто выбритый и опрятно одетый офицер или чиновник с фуражкой на голове. Он мне молча указывает на стул против себя. Здороваться здесь, как

видно, не полагается. Солнце светит мне прямо в глаза, сажусь и молча жду.

– Хотел я с вами познакомиться, – небрежно заговорил он, перебирая какие-то бумаги на столе. – Вы работаете в колхозе, вывезены из Белоруссии в апреле.

Я молчу.

– Знаю, вы жена бывшего помещика, побывали и за границей, это мне интересно! Да, кстати, слышал я, что и вы, как поляки, по воскресеньям не работаете, почему? Да и вообще, какая же вы полька? по-русски говорите чисто, слышал я – и за переводчицу в колхозе работаете. Почему же вы, правда, по воскресеньям не работаете? в контору не приходите? Да вы ведь и не католичка, православная? в Бога веруете?!

Я все продолжаю молчать, жду, что будет дальше...

– Ну, я понимаю необразованных людей, им-то легко было заморочить голову, но вы, как будто, хорошо грамотны, человек с культурой, слышал даже, что статьями Ленина интересуетесь. Как это совместить и понять?

– Да тут и понимать нечего, – ответила я, – одни чувствуют Бога в своей совести или сердце, другие – нет, образование, по-моему, ни при чем.

– Ну, уж извините, – перебил меня мой собеседник, откинувшись на своем стуле. – Теперь явные разоблачения и научные доказательства есть. Выгодно было одурачивать народ разными бреднями и запугивать адом и будущими мучениями.

– Ну, знаете! – заметила я. – Запугивать людей и без религии не так уж трудно! – и остановилась, подумав, что сказала лишнее.

Он сдвинул брови и помолчал, потом вдруг взглянул на меня и улыбнулся.

– Так, вижу, – усмехнулся он, – вы за словом в карман не полезете! А знаете, мы вот таких, как вы, не боимся, вы вот говорите, что думаете, да мы иначе бы все равно вам не поверили бы. Мы таких не боимся, – повторил он, – опасаемся мы тех, которые перед нами молчат, а за глаза и за спиной работают и агитируют против нас, в подполье. А такие, как вы, нам не страшны.

Помолчали.

– А работать с нами не хотите? Это ведь, знаете, бывает очень полезно для обеих сторон! – и снова он совсем по-детски улыбнулся.

Я молчу...

– Знаю, что не хотите, а напрасно! Повторяю, бывает полезно для обеих сторон. А почему не хотите? Ведь это, знаете, все трусость с вашей стороны!

— Вот вы меня все расспрашиваете, — стараюсь я переменить разговор, — а могу ли я вас о чем-то спросить?

— А что именно? — насторожился энкаведист.

— Да вот, я понимаю, вы арестовали моего мужа, а меня вывезли, арестовали также фабрикантов, промышленников, из деревни кулаков, как вы их называете, вообще людей обеспеченных, но чем объяснить аресты и вывоз людей без положения, без имущества, каких-то мелких железнодорожников, чиновников, учителей, лесников? Казалось бы, — продолжала я, видя, что он молчит, — они-то не чуждый вам элемент, как вы их называете? Они ведь не социальные вам враги?

Все его скуластое лицо опять просияло улыбкой.

— Ну знаете, не ожидал я от вас такой наивности! Что мы, не понимаем, что из поляка никогда коммуниста не сделаешь, во всяком случае в этом поколении. Они все нам враги, сколько бы их ни было!

— Что же, по-вашему, всех уничтожить?

— Нет, не всех, многих принудить и обезвредить можно, да и перевоспитать, особенно молодежь!

— Пропагандой? — спросила я.

— И пропагандой, и другими средствами, — закончил он, значительно посмотрев на меня. — А вот скажите, — обратился он ко мне, помолчав, — что у нас особенно поражает постороннего человека, вот вас, например?

Я не сразу ответила на этот, как мне показалось, каверзный вопрос. Целая вереница мыслей промелькнула в голове. Что поражает? Страх, перед всем и всеми, произвол, зло, возведенное в доблесть, отношение к человеку вообще... Я осторожно ответила:

— Не понимаю я вас, почему это нужно, чтобы работали у вас большинство не по своей специальности. Вывезли вы, скажем, много грамотных, интеллигентных людей, иногда и хороших специалистов с высшим образованием, а они у вас землю копают! а какой-нибудь полуграмотный батрак, который и фамилию свою подписать не умеет, в начальники у вас попадает. Ведь это вам, по-моему, невыгодно?

— Нет, выгодно! — вдруг настойчиво и серьезно ответил он. — Ничего-то вы, как я вижу, не понимаете. Вот таких-то, как вы, перевоспитывать и надо. А подумали ли вы, отчего у нас безработицы нет? Потому что у нас работают не там, где хотят, а там, где нам нужно. Ну, а эти наши безграмотные начальники, как вы их называете, делаются нам преданными и обязанными людьми на всю жизнь, и это нам дорого и ценно! — закончил он, по-

смотрев мне прямо в глаза. А глаза у него были стальные и холодные.

Помолчали.

– Вот, кстати, о пропаганде хотел я вас спросить. Знаю я, вы и в Париже бывали, как там с прессой, например?

– С прессой? – удивленно спросила я. – Да там ежедневно выходят газеты и журналы всех партий, есть правые, есть и левые, монархические и коммунистические, все они продаются открыто в киосках на улицах. Каждый читает, что хочет. Одни газеты поддерживают правительство, другие ругают его, бывают в журналах и карикатуры на них.

– Ну уж, знаете! – перебил он меня, сердито отодвинув свой стул. – Мы тоже, бывает, врем здорово, но так врать, вот как вы сейчас, этого мы не позволяем никогда!

Я невольно улыбнулась.

– И издевательства тоже не допускаем, – строго посмотрел он на меня.

Разубеждать его не имело смысла, да было и небезопасно. Он прошелся по комнате, затем снова сел.

– Так работать с нами не хотите?

– Не могу, – ответила я тихо, не глядя на него.

– Не можете? – усмехнулся он и встал. – Ну, этот вопрос мы еще с вами потом обсудим, верно, еще не раз встретимся.

Последние его слова прозвучали угрозой, я с облегчением вышла в приемную. Она уже была пуста, только милиционер дежурил, сидя у стола. Мой возница уже ждал меня у крыльца, пытливо посмотрел, но ничего не спросил. Удивительно вымуштрованные люди, подумала я, влезая и устраиваясь на телеге.

– Все выменяли? – спросила я его, когда мы рысью выезжали из поселка.

Он усмехнулся.

– С руками вырывали, даром, что богатый колхоз!

Подальше бы от этих богатых колхозов, думаю я, уж лучше и спокойнее наша убогая деревня. Еду, вспоминая наш разговор. Как глупо, не знала я, что с ними можно наедине говорить, как с людьми. Ничего я у него не расспросила, хотя бы о том, что нас ожидает, о том, что делается в Польше, и долго ли будут держать наших по тюрьмам. Правда, он мелкая сошка, вряд ли сам знает, а если и знает, захочет ли ответить. Все же буду знать, что без свидетелей с ними о многом можно говорить откровенно.

Наша телега полна узелками и свертками, тщательно перевязанными, вот и наш с Вандой. Рада, что везу крупу, муку, картофель, но жиров и соли и тут нет. Полдень, жарко. Вот опять, слава Богу, все

обошлось хорошо, радостно думаю я. Этот день просижу дома. Никто не взыщет, задержались в НКВД. Мой возница думает то же самое и явно не торопится. Он за обмен уже получил целый печеный хлеб и угостил меня. Знает, что и от наших получит за услугу.

Едем шагом, закусываем.

– Дюже хорошо! – говорит он, снимая шапку и вытирая рукавом потное лицо. Я тоже наслаждаюсь видом далекой степи, сливающейся с горизонтом, поднимается пыль под ногами лошади и дрожит в солнечном луче.

– Как вас зовут? – спрашиваю у него.

– Меня-то? Василием. Матка-то с Украины была, да она уже лет девять, как померла. Вывезены они были с отцом за кулачество, да я их не помню, последние года в детдоме учился, потом женился на здешней колхознице – дояркой она работает, – и снова затянул он свою унылую песню.

Доехали мы часам к трем, раздали все узелки. Радость и оживление было большое во всем колхозе. На некоторое время обеспечены провизией и будут сыты. Приношу в хату и наш мешок, Ванда ждет сияющая, я вернулась. Она тут же приготовила из новой провизии обед. Она с завистью рассказывает, как в огородах варят суп уже не из крапивы, а из овощей, иногда кто-нибудь принесет луковицу или морковку в обмен на срезанную с рубашки пуговицу. Мы же все мечтаем, чтобы скорее поспела рожь и пшеница. Обещано тогда в бригадах выдавать хлеб. Пекарню уже готовят, поправили огромную печь, выбелили стены, приготовили деревянные кадки для теста, выстругали большой стол, заново вымазали глиной пол.

Стояла невероятная жара, работать становилось все труднее и труднее, еле передвигая отяжелевшие ноги, мы таскали в ведрах к пустым амбарам глину и песок для ремонта. Иногда нас заставляли в ямах месить ногами глину, чтобы ею вымазывать полы. После этого кожа на ногах делалась удивительно нежной и мягкой, лучше всякого крема, смеялись мы. Громкоговоритель снова целыми днями подбадривал нас знакомыми маршами и песнями, но все чаще стали передаваться и интересные сообщения.

Венгрия и Болгария претендуют на области в Румынии, хотят отобрать Трансильванию. Слышны и недвусмысленные выпады против Гитлера, который без согласия Сталина оккупировал нефтяные промыслы Румынии и Венгрии. Услышали мы и ликование Советов по поводу присоединения балтийских провинций к советским республикам, при этом – требование Сталина отозвать оттуда немецких представителей. ”Безусловно что-то происходит!” –

говорили мы между собой, но по неясным, часто противоречивым сообщениям трудно было составить мало-мальски определенное мнение о настоящем положении по ту сторону стены.

К началу августа голод в колхозе стал чувствоваться очень сильно. Многие уже стали серьезно охотиться в полях на разжиревших сусликов, сдирали с них шкуру и тут же жарили на костре. Мясо их было отвратительно, я так и не смогла заставить себя их есть, даже самые истощенные голодом ели их с явным отвращением, так противен был их запах.

Тут-то неожиданно привезли мне с почтой из Актюбинска большую посылку. Выслана она была из Новогрудка и, видимо, проверена при отправке, у нас же на почте ее не вскрывали. Отправителем оказался наш новогрудский булочник, еврей, тот самый, который нам привез близнецов из Лосок. Я даже его фамилии не знала, но Ванда, жительница Новогрудка, его вспомнила. Когда мы распаковали обшитую холстом посылку, то так и нахлынули на нас обеих воспоминания – тюрьма, наша жизнь с панной Марьей, отъезд детей, вывоз Поли и Скоповича, все тогдашние волнения и переживания в течение целого года.

Конечно, вещи говорят! Все эти так тщательно и с любовью завернутые пакеты, посланные незнакомым человеком, снова приобщили нас к утраченной жизни, от которой мы отдалены не только физически, но и морально – усталостью и лишениями. А вот люди там продолжают жить, и помнят о нас, и стараются помочь! Это казалось нам чудом. Мы же здесь, конечно, уж не те, не с прежним отношением к жизни, закаленные лишениями и стремлением ни за что не упасть и не погрязнуть в этой затягивающей нас тине – мы теперь смотрим на все иначе. Более твердо и жестко. Непомерная тяжесть повседневной жизни невольно становится привычной. Чтобы не упасть по дороге, надо напрячь все внутренние силы, и часто, может быть, из чувства самосохранения, без слез проходить мимо очередного страдания. Но все же где-то глубоко твердо знаешь, что просвет только во тьме бывает, и в этот просвет мы все безоговорочно верили и ждали его как избавления.

Ванда плакала, вынимая сахар, муку, рис, макароны, шоколад, какао, сало, ветчину и настоящий кофе. Просто неслыханное богатство! Был и табак и папиросы, которые тут же отдали пани Кларе, дети получили шоколад, а в воскресенье после обычного собрания был устроен торжественный чай с сахаром и какао для детей, все с домашним печеньем. Приготовила это, конечно, Ванда, собирая посуду по хатам и с радостью созывая всех наших на давно невиданное угощение. Позвали мы и Ивана, но он ушел работать на огород.

Снова баланда стала сытно приправляться салом, по утрам мы пили настоящий кофе с сахаром, приглашая к себе по очереди наших.

Август. Начиналась самая горячая пора, жатва и молотьба на току. Он недалеко от колхоза, и целый день над нами стоит облако пыли, разъедающей глаза. Появились комбайны, грохотала молотилка, приготовили мешки, чинили старые. Горой лежит золотистое зерно, его вручную сортируют, отборное зерно, крупное, золотистое ссыпается в приготовленные мешки, нагружаются телеги и грузовики, зерно свозится под охраной в амбары. Зерно похуже предназначается для нашего хлеба, которого мы ждем с таким нетерпением.

Рабочих на тока брали с большим разбором. Каждая припрятанная горсть зерна – тарелка сытной каши! Мы, поляки, только издали следили за этой работой и с завистью представляли себе их сытный котел с пшеном. У них работа ответственная и их кормят лучше... День и ночь сторожат зерно, ночуют тут же под скирдами свежей, остро пахнущей соломы. Тока обходят с винтовкой.

Через несколько дней и нам в колхозе стали выдавать по 300 грамм выпеченного хлеба на работающего, обещали потом выдавать по 500.

Пан Юзеф с дочерью продолжали ходить на огород. Степь опустела, луга выгорели, на месте сочной травы появились бурые прогалины, от засухи и зноя потрескалась глинистая почва. При малейшем порыве ветра столбом подымалась придорожная пыль, и далеко по пустынной степи катились легкие, кружевные клубни перекати-поля. Возвращались мы с работы серые от пыли, покрывавшей густым слоем наши загорелые, потные руки и лица. Не хотелось работать, и жаждали мы дождя и свежести.

В эти жаркие дни приехала дочь Ивана. Она работала со своей тракторной бригадой, объезжая окрестные колхозы и совхозы. Выглядела она решительной, самоуверенной коммунисткой, до абсурда преданной партии. Отец при ней был смущенным и потерянным, говорил мало, зная, что при первом неосторожном слове она способна донести на него. Вошла она и к нам, критически все осмотрела, посидела недолго с отцом на кухне, успев попрекнуть его, что берет подарки от врагов народа. К счастью, она была связана со своей бригадой и даже не осталась ночевать. Уехала она, не простившись ни с кем.

Работая с глиной и песком при амбарах, мы видели, как возили зерно, как ссыпали его в тщательно выметенные помещения, держали их ночью под замком. Куча зерна на току заметно уменьшалась, а

рядом поднимались все выше и выше скирды золотой, пахучей, прессованной соломы.

Вскоре приехала и приемная комиссия. Она долго совещалась с председателем и счетоводом, обходила амбары, побывала и на току. Стали то и дело подъезжать присланные из района грузовики, останавливались у амбаров, вывозили только что обмолоченное зерно... "Все это еще за старую недоимку", – тихо говорили нам колхозники. Они и мы с ужасом смотрели, как постепенно опустошались приготовленные для урожая помещения. "Одна теперь наша надежда на огороды, да на трудодни!" – слышалось повсюду, но никто не знал, сколько придется на трудодень и какой нас ожидает расчет. Всем было страшно думать о предстоящей холодной зиме без хлеба и без вещей на обмен. Этот вопрос сделался насущным не только для нас, но и для всего колхоза.

Наш председатель совершенно замотался. Черный от пыли, с воспаленными, ввалившимися от бессонницы глазами, он имел вид загнанного зверя. Враги со все сторон – здесь комиссары увозят зерно, тут же свои колхозники, молча, с бессильной злобой, провожают каждый взваленный на грузовик мешок. Выжидающе, молча следят они за отъезжающим грузовиком, волком смотрят на стоящего тут же председателя, а он, оглядываясь, боится их не меньше, чем комиссаров и энкаведистов...

Глава 4

АКТЮБИНСК.

После отъезда приемной комиссии стало необычайно тихо. Потоптавшись вокруг опустевших амбаров, мы разошлись по домам, как после похорон.

Сидели у себя, на работу выходили только огородники – ради супа и пайка хлеба. Колхозная жизнь замерла, и жизнь опять сосредоточилась у хлева. Мысль же у всех была одна: что будет дальше?

Хмурый председатель не настаивал на утренних посещениях конторы, и даже счетовод заметно присмирел.

Было воскресенье, когда неожиданно нагрянули к нам в колхоз три новых комиссара. Это еще зачем? недоумевали мы. Они из центра, говорили соседи. В конторе заседание, вскоре выслали оттуда оповестить всех, что в 4 часа дня состоится годовое собрание в школе, присутствовать на нем обязательно для всех, не исключая и нас, поляков.

Сентябрь, но еще совсем тепло. Из нашего окна наблюдаем за спешными приготовлениями, которые идут в школе к приему именитых гостей. То и дело снуют бабы с метлами, ведрами, моют окна, вносят скамейки, выносят сор. К полудню все готово, земляной пол чисто выметен, рядами стоят скамейки для колхозников, напротив длинный стол, – доски на козлах, – покрытый ярким кумачом. За ним несколько стульев, на стене портреты Ленина и Сталина, украшенные подновленными лентами из старого кумача, в углах высокие снопы пшеницы, перевязанные алыми кушаками. К четырем часам школа наполнилась усталыми, но приодевшимися мужиками и опрятными бабами. Мы все тоже тут держимся вместе, отдельной группой. Все чинно, вполголоса переговариваются, выбирая место, поджидая начальство. Из всего колхоза отсутствуют только трактористы, их вызвали на работу, время им дорого – готовить землю для посевов, да и отношение к ним

другое – они наиболее верные, убежденные коммунисты, активисты, большинство партийные.

Шумно разговаривая, как после хорошего, сытного угощения, с небольшим опозданием входят комиссары, сопровождаемые председателем и счетоводом. Остановились посередине комнаты, и, оглянув стоящих перед ними людей, средний из них зычно крикнул:

– Здравствуйте, товарищи колхозники!

Ему ответил невнятный гул и жидкие аплодисменты. Сделалось тихо. Все уселись на свои места. Села и комиссия на приготовленные стулья. Посередине – главный незнакомый политрук, справа наш председатель, дальше остальные два приезжих, и сбоку, за секретаря, с карандашом за ухом и школьной тетрадью перед собой, – наш счетовод. Все молчат, слышно только шуршание страниц ведомости, принесенной политруком. В полной тишине он встал, опершись двумя руками о стол, оглянул нас всех и начал свою речь.

– Товарищи, много я слышал о вашем колхозе. Попал я к вам в первый раз, предварительно проверив ваши отчеты и ведомости последних лет. – Он насупился и продолжал: – Меня к вам направили из центра, чтобы я наглядно смог проверить вашу неслыханную задолженность нашей родине!

Опустив голову, он снова помолчал.

– Казалось бы, все у вас было, – повышая голос, продолжал он. – Постройки для скота, оборудованная молочная, сельскохозяйственные орудия, невиданные здесь раньше, во времена царского гнета. Вокруг колхоза пашни, огороды, сенокосы! Казалось бы, неслыханное прежде богатство! И что же я вижу? – он развел руками. – Орудия приведены в полную негодность, они у вас по степи валяются! – грозно крикнул он. – Нормы, назначенные вам нашим любимым вождем, товарищем Сталиным, не только не выполняются, но с каждым годом задолженность ваша не уменьшается, но все более и более увеличивается! Теперь она дошла до невиданных размеров.

Он резко отодвинул стул и подошел вплотную к первому ряду скамеек. Медленно обвел пронизывающим взглядом опущенные головы колхозников.

– Посмотрите на ваши хаты, – закричал он, – во всем районе нет более разоренного колхоза. Все грязно, все неряшливо, обрушиваются стены, хаты стоят без крыш, окон и дверей. И это в Советском Союзе, который всем и во всем помогает, который открывает вам и вашим детям все возможности – учения, образования, работы. Отчего это? Вредительство? – вдруг зашипел он, почти шепотом. –

Да знаете ли вы, чем это вам грозит? Знаете ли, как бдительно наша партия следит за врагами народа и искореняет их? В чем таится причина этой неслыханной разрухи? – Он круто повернулся и встал снова на свое место у стола.

– Я знаю, правительство, идя вам навстречу, прислало вам подмогу, поляков, чтобы пополнить недостающие у вас руки. И что же? Оказалось – это не помощь, а одна обуза, лишние паразитические рты, объедающие и без того бедный колхоз. Судя по трудодням, труд их и за работу считать нельзя, – и грозно подняв палец вверх: – я это так не оставлю. Я дам отчет в центр и хочу знать, отчего вы так плохо работаете?! – С насмешкой он посмотрел на нашу группу.

– Богу своему молитесь! На работу по воскресеньям не выходите. Отчего это? Объясните мне причину вашей халатности и преступной лени! – Было совершенно тихо, и ответом ему были только упрямо опущенные головы да приглушенное дыхание.

Чего он ждет от нас? Самобичевания, как это бывало все чаще и чаще в общественных судах? Господи, он же сам все отлично знает, это провокация с его стороны! эта их неслыханная, самодовольная наглость, – проносится вихрем у меня в мыслях. Эта речь, сама по себе обычная, совершенно трафаретная, которая никому ничего нового не открыла, вызвала на этот раз во мне какой-то неожиданный приступ ярости. Все, перенесенное за этот год, сжалось в одну точку. Не помня, что я делаю, я встала. Испуганно уставились на меня глаза наших, передние ряды подняли головы и обернулись. Кто-то настойчиво дергает меня сзади за платье...

– Вы спрашиваете, почему мы так плохо работаем? – сказала я, не узнавая своего голоса. – Я вам на это отвечу словами Ленина.

Была абсолютная тишина и настороженное внимание...

– Ленин, ваш вождь, говорил и писал: нет плохих работников, есть только плохие руководители.

Магическое имя Ленина возымело свое действие – меня не остановили.

– Знаете ли вы, – продолжала я, слегка задыхаясь от бешенства, – что мы все с пяти утра и до захода солнца работали без куска хлеба! что дети наши брошены голодные на целый день, чтобы вечером им принести нашу порцию баланды из степи, что доярки ваши, как новорожденные младенцы, вынуждены питаться одним молоком? что наши польские вещи спасают ваших колхозников от голода? – я торопилась досказать, видя какое-то движение за столом. Последние мои слова были заглушены глухим ропотом, они повскакали с мест.

– Уберите отсюда эту сумасшедшую диверсантку! – заорал опешивший было политрук.

Поднялся невообразимый шум. Кто-то меня вытаскивает из рядов и пинками в спину выбрасывает за дверь. Дверь с шумом захлопывается за моей спиной.

Вечер. Я одна. Никто за мной не вышел. Заходит солнце, краснеет закат. Вокруг так тихо и пустынно! Все же приступ ярости еще душит меня и я бегом возвращаюсь домой. Долго еще колотилось сердце и стучала кровь в висках. Стемнело, постепенно начинаю приходить в себя. Окно открыто, вижу, как группами возвращаются с заседания. Скопович, бригадир Иван и наши поляки, испуганные и пораженные, обступили меня.

– Что теперь будет! Арест? Репрессии?

Видя их растерянные лица, слушая их предположения, я и сама испугалась.

– Эх, зря это вы! – махнул рукой Иван.

– Нет, не зря! Нет, не зря! – яростно и перебивая друг друга заступались за меня наши. "Конечно, зря! – подумала я. – Могу только повредить и им и себе, а помощи от этого никому".

Посидели молча, Иван ушел к себе, тревожно переговариваясь, все постепенно разошлись. Жизнь берет свое, дома ждут голодные дети, и у каждого своя тяжелая забота о завтрашнем дне. За мной пока никто не пришел, но на душе было неспокойно. Ванда плачет, но готовит ужин. Я сижу, думаю – надо действовать, пока не поздно! Сели за стол. Поели молча. Никто не пришел... Верно, совещаются, потом будут ужинать, заночуют в колхозе, вряд ли они без НКВД могут что-либо решать. Сижу, думаю, пока совсем не стемнело. Наверно, Иван уже лег, все же стучу к нему.

– Зайдите к нам, – говорю ему сквозь дверь. – Хочу с вами посоветоваться.

Он слез с печи, вошел к нам.

– Послушайте, дедушка, что я придумала. Слышала я, что председатель ищет сейчас, кого бы послать от нашего колхоза на отбывание государственной повинности. Я знаю, что из колхозников никто от семьи сейчас уезжать не хочет, а все равно кого-то отправить надо. Пожалуйста, сходите к председателю, он вас примет, и предложите ему послать меня в артель отрабатывать за колхоз, да лучше всего сегодня же ночью, а то еще чего доброго меня заберут!

– Вот это дело! – тотчас согласился со мной Иван. – В артель до расчета за трудодни никто ехать не хочет, да и огороды еще не закончены, а вам самая пора до рассвета уехать! Это вы хорошо придумали!

Он накинул заношенный, порыжевший от времени пиджак и вышел во двор. Была лунная ночь, мы не ложимся, ждем его прихода. Наконец, слышим стук в сенях. Открываем дверь с волнением и страхом.

— Согласен он, — еще у порога кричит Иван, вытирая о рогожку ноги. — Завтра до пяти утра подвода будет на Актюбинск. Я сам вас и свезу, а политруку председатель скажет — раньше, мол, было сговорено кого-нибудь послать спешно, а ехать никто не хочет — вот вас в наказание за дерзость и высылают.

— Чудесно, дедушка, спасибо, — обрадовалась я. — А что туда брать из вещей?

— Да что похуже, там больше сейчас на дорогах работают.

Иван попрощался и вышел. Луна светит прямо в окно, и на душе светлее, спать не хочется. Ванда сетует, что останется одна.

— Да вы возьмите к себе Марысю, она на моей кровати и будет спать, вы с ней так подружились, вам обеим будет хорошо! — утешаю я ее. — Она вам и кашу из яслей принесет, а я через месяц вернусь.

Мы вместе приготовили узелок с вещами и немного провизии. Улеглись, но спать не могли и проговорили до тех пор, пока Иван не постучал в нашу дверь. Было еще совсем темно — часа четыре, когда я спешно оделась и наскоро простилась с Вандой.

— Успокойте всех наших, — говорю я ей на прощанье, — лягте спать теперь, а я на подводе постараюсь заснуть. Какой наш Иван все-таки удивительный, просто настоящий друг! А мне интересно посмотреть, что из себя представляет советский город и что за артель в Актюбинске...

Вышла на улицу. Звезды, небо ясное, сухо. Я одета тепло. Полушубок и верховые сапоги, да еще плед положу на ноги. Охватываст необыкновенно радостное чувство — вот и просвет во тьме! Только бы не остановили! Это мне Бог послал, благодарно думаю я, — может быть и к лучшему все это, ведь надо же что-то предпринять, чтобы не остаться здесь на зиму.

В конторе свет, но никого нет, кроме сторожа, спящего на лавке. Иван запрягает. Скоро пришел и председатель, отпустил старика сторожа и, грозно посмотрев на меня, накинулся с упреками.

— Чего это вас вчера дернуло? Только меня подводите — не умею, мол, я вас в повиновении держать! Всегда такая тихая, — смягчился он вдруг, видя, что я молчу. — Ваше счастье, подвернулась повинность, сможете уехать от беды. А мне и правда некого

послать! Скажу комиссару – за дерзость, в наказание. Да там хоть и не сладко, а хлеб есть! – подмигнул он мне.

Почесываясь и позевывая, выписал он мне направление с печатью колхоза, и уже совсем добродушно заметил:

– Я им скажу, что заранее было слажено и от нашего колхоза ждут смену сегодня!

– Спасибо! – радостно говорю ему на прощание и выхожу во двор.

До рассвета еще долго. Подъехал Иван, зашел в контору за поручениями, мой узелок положил на телегу. На телегу заботливо наложено свежее сено, прикрытое мешками. Уселись и тронулись в путь, когда еще в контору никто не явился.

Опять обошлось! Вот счастье, думаю я. Там хлеб есть, может быть, еще сухарей удастся насушить на зиму. Улеглась на сено. Покрылась теплым пледом. Голова постукивает обо что-то жесткое, но засыпаю мгновенно, и кажется – никакая встряска меня не разбудит... Чувствуется при этом во всем существе какая-то сила, трудно выразимая, идущая из глубинных, жизненных, далеко заложенных истоков, и с ней – такое спокойствие и уверенность, что все в конце концов обойдется.

Лошадь пошла шагом, низко опустив голову, а Иван и сам не торопится и тоже, верно, дремлет, покачиваясь на передней доске телеги...

– Приехали, – будит он меня, обернувшись.

Сажусь, поправляю сбитый платок, оглядываюсь. Уже светло – я проспала часа три. Солнце светит, тепло. Снимаю полушубок, остаюсь в костюме.

Улицы, широкие, не мощеные, выпячиваются бугром посередине. Дома низкие, одноэтажные, часто с большими дворами, садами, с крашеными воротами. Въехали на главную, здесь встречаются и большие дома и магазины с очередями перед дверью, прохожих много, одеты по-городскому, но встречаются и мужики и бабы. Проезжают грузовики, телеги вроде нашей, но встречаются и старые экипажи, извозчики. Едем теперь рысью, кажется, проехали весь город. На самой окраине подъезжаем к длинному одноэтажному зданию. Крыша железная, над входной дверью надпись "Районное Управление Дорстроя". Иван остановил лошадь у крыльца. Я слезла, иду за ним. Он внес мои вещи в контору. Тут уже ожидало несколько человек.

– Ну вот, – обратился он ко мне, – подождите товарища начальника, он вас направит, а через месяц за вами заедем! Счастливо оставаться. – Я вышла за ним. Он деловито отвязывал лошадь.

– Спасибо вам, – сказала я, провожая его, – знаете, я вам многим обязана.

Но он не любил, когда ему выражали благодарность, и поспешил сесть в телегу.

– Я уж поеду, кое-чего купить надо для магазина, да и на почту сходить, а к вечеру и обратно, до темноты.

Не оборачиваясь, он тронул лошадь и шагом отъехал от Дорстроя.

Проводив его глазами, я медленно вернулась в контору. Она стала постепенно наполняться народом. Все больше колхозники, среди них одна только женщина. Оглядев всех, она подсела ко мне. Контора была большая комната, два окна ее выходили на улицу, два во внутренний двор. У каждого окна стол со стулом, у стен скамейки, между окон шкапы с папками. На шнуре висят электрические лампочки с зелеными абажурами. Часов в 8 отворилась дверь и вошел плотный мужчина высокого роста с быстрым, острым взглядом и решительной походкой.

– Здравствуйте, товарищи! – приветствовал он нас. – Вовремя приехали, как раз сегодня смена, без проволочки вы их и замените. Начнете работать завтра с семи часов. Соберетесь здесь. Бригадир вас отвезет на участок ремонта, а пока устраивайтесь. – Его взгляд на минуту остановился на мне, но он ничего не сказал. – Оставьте мне ваши удостоверения, направления, справки, что у вас есть.

Мы передали ему наши бумаги, выданные в колхозах. Громко крикнув в открытую дверь, начальник вызвал мальчика рассыльного и велел ему отвести нас по квартирам. Захватив свои вещи, мы гурьбой вышли во двор.

– Женщин в конторский барак! – крикнул он нам вдогонку.

Двор большой, вокруг него постройки. Конюшня, гараж, в глубине барак с двумя отдельными выходами. Амбулатория и больничный покой, здесь отбывают повинность санитар и сестра. Рядом женское общежитие. Тут светло и чисто. Несколько коек, покрытых солдатским сукном. Пол деревянный, крашеный, два окна, выходящие во двор, из них видна контора, потолок низкий, с висячей электрической лампой. В углу умывальник с педалью. Рядом кувшин с водой и ведро. Уборная, конечно, во дворе. После колхоза все это мне кажется просто роскошным, особенно электричество.

– Вас пока только двое, – сказал мальчик и вышел.

Моя сожительница оказалась молодой вдовой, украинкой. Одинокая, бездетная колхозница, она, как и я, отрабатывает месячный наряд. Вопросительно и с любопытством она поглядела на меня.

— Вы, видно, не здешняя? — обратилась она ко мне, рассказав вкратце о себе.

— Нет, я из Польши, — ответила я.

— Вот как, слыхали мы, да не встречались еще!

— Вы, вероятно, из богатого колхоза, а нас по бедным рассылали.

Тем временем я устраиваю свою койку, поближе к окну. Она критически следит за каждым моим движением. Подошла, потрогала одеяло.

— Не продаешь?

— Пока нет, а что?

— Захочешь продать, скажи, я тебе хорошего покупателя найду, — перешла она со мной на "ты".

— Да я за деньги не хочу, за продукты только.

— Известно, это мы понимаем.

Помолчали.

— Других, верно, баб не будет, — уверенно сказала она, — скоро расчет за трудодни, все хотят последние теплые дни при семье пожить, а там видно будет по расчету, в колхозе ли зимовать, в артель ли наниматься. Я работала на кухне, в столовой для артели. Там хорошо, сытно, пойду и сейчас спрошу, не возьмут ли туда.

— А какая здесь еще работа? — спросила я.

— Да пока тепло, все больше на дорогах, камни ломают, шоссе поправляют, ну, а зимой — тогда на заводы берут. Работа всегда есть.

Помолчала, смотрит на меня.

— Вы не бойтесь, — снова перешла она на "вы". — Начальник ничего, хороший, там все покажут... Конечно, с непривычки трудно, да хлеб дают. Работают только до шести, не как в колхозе. А потом столовая своя, супы варим хорошие, да и ларек свой есть — покупаете, что придется, на карандаш. Когда и сало, сахар, когда и колбаса. Тоже и лимонад берут с собой на работу с хлебом, с закуской. Начальник хороший, хозяйственный!

Я слушаю с любопытством. Еще о многом хотела бы спросить, но она, приготовив свою койку, оделась и вышла. Я же, поев приготовленные Вандой лепешки и запив их водой, решила выйти посмотреть, на что похож советский город.

Был теплый сентябрьский день, но в воздухе чувствовалась осень. Актюбинск широко раскинулся среди плоской бесконечной степи. Выхожу на главную улицу, она тянется прямой, однообразной линией через весь город, но все учреждения, магазины

и правительственные здания сосредоточены вместе. Два-три высоких дома, театр, где играют приезжие труппы, он же местное кино. Магазины с полупустыми витринами, почта. Захожу туда, чтобы послать Поле последние, оставшиеся из Новогрудка деньги, и написать дяде Жюлю в Москву мой новый адрес.

От главной улицы разбегаются переулки, но и они кажутся широкими из-за небольших одноэтажных домов, часто утопающих среди зелени садов. Встречаются дома и с обширными дворами и хозяйственными пристройками, в стороне разбит городской сад.

Попробую купить хлеба, думаю я. Нашла булочную, перед ней длинная очередь, тут я узнаю, что в потребительской можно купить только по карточкам. Артели же имеют обычно свои пекарни. Магазины и столовые все "закрытые", т.е. только для местных организаций и в зависимости от категорий. Обычных я не встречала. В очереди за хлебом на меня смотрели с удивлением и недружелюбно. Они ни о чем не расспрашивали, но, казалось, недоумевали, что я не знаю таких обыденных и всем известных вещей.

– Вы как будто с неба свалились, – заметила только одна женщина, вероятно, из "бывших", а я поспешила от них отойти, чтобы не возбуждать подозрений. Иду дальше, остановилась у витрины потребительского магазина. Выставлены ночные туфли, по-советски тапочки. Вхожу, заметила, что в магазине никого, кроме продавщицы, нет. Спросила, сколько стоят и есть ли мой размер.

– Дайте ордер, – ответила молодая продавщица.

– У меня нет.

– Без ордера не продаем, – улыбаясь ответила девушка. – Да вы, верно, не здешняя, – продолжала она, оглядывая меня.

Прохожих немного, одеты бедно, но чисто, поражает однообразие материй и покроя. Все куда-то торопятся с озабоченными лицами.

Вхожу в городской сад. Тут чувствую себя как-то свободнее и лучше. Чисто, дорожки посыпаны песком, кое-где на клумбах еще доцветают осенние цветы, пробегают дети из школы, играют непринужденно и весело. На куче песка копошатся маленькие дети, все одеты в одинаковые ситцевые платья и серые халаты. Вероятно, приютские, думаю я. На скамейке сидит и наблюдает за ними пожилая, бедно одетая женщина. Я сажусь рядом с ней. Она покосилась, оглядела меня и, как мне показалось, невольно отсела дальше.

– Это дети из местного приюта? – спрашиваю ее.

Удивленно и неодобрительно она взглянула на меня.

— У нас приютов нет, есть детдома, — строго, поджав губы, проговорила она и, явно боясь моей близости и разговора со мной, тут же встала и, созвав детей, ушла с ними вглубь сада.

Подошла еще женщина, старая, повязанная платком. Лицо изможденное и усталое, одета крайне бедно, на ногах стоптанные туфли, лицо интеллигентное. Наверно, из "бывших", думаю я. С ней я уже не заговариваю, сама боюсь. Некоторое время мы молча сидели рядом, она, быстро работая спицами, что-то вязала, но, взглянув на меня внимательнее, тотчас убрала свое вязание в мешок и поспешно скрылась за поворотом дорожки.

Что же это? Все сторонятся, как от прокаженной! Охватывает неприятное чувство отверженности и одиночества. Уж лучше наш колхоз с его нищетой. Там хоть не чувствуешь этого непонятного страха, перед чем — неизвестно! Все же там есть и отзывчивость, и человечность, которой невольно ждешь от каждого, хотя бы и от чужого человека. Мне еще не приходилось до сих пор встречаться с "вольными" людьми, и все здесь мне казалось чужим и холодным, и непонятен был их страх и отчужденность. Возвращаюсь к себе усталая и голодная, придавленная всем тем, что пришлось видеть и слышать.

Да, думаю, здесь надо работать, иначе не проживешь ни физически, ни морально. Работа и только работа в этой чуждой мне стране объединяет, сближает самых разнообразных людей, разных по мировоззрению, образованию, по традициям... И кажется мне теперь артель каким-то оазисом, где я не могу не быть принята на общих началах и где я, может быть, найду и человеческое отношение, а главное — где меня не будут бояться.

Зажгла свет, читать нечего, легла на койку. Тоска... как я любила в колхозе праздничные дни, как ждала их. Здесь они меня просто страшат. Сожительницы моей все еще нет, наверно, она уже устроилась работать на кухне, нашла там своих прошлогодних сослуживцев. От нечего делать, доев оставшиеся лепешки, я легла спать. Свет горит, сон не приходит. Как я мысленно себя ни утешала, что ничего к худшему не изменилось, что Поля жив и вот скоро получит от меня известие и деньги, что дети все вместе, вероятно, продолжают хлопотать о Поле, что в колхозе меня ждет новая семья, которая рада будет, когда я снова вернусь к ним — ничего не помогало и сон не приходил. Благодетельный сон, когда все забываешь и живешь как бы в другом мире! Долго я так лежала, когда наконец вернулась моя сожительница Дуня, веселая и оживленная. Работать на кухне ее приняли и уже накормили. Как я и думала, она встретила там своих знакомых и рада была этот

месяц провести с ними. Остановившись у моей койки и заметив мое расстроенное лицо, она присела около меня.

– Ничего, пообвыкнете, – ласково проговорила она, – здесь люди хорошие, научат, помогут, а чтобы голодать в артели при Дорстрое – того не бывает! Я сама в столовой буду вам суп наливать, погуще, – улыбнулась она, – здесь весело, в кино пойти можно, недорого!

Но я только челюсти сжала, чтобы не расплакаться... Все же теплее стало на душе от ласковых и сердечных ее слов!

Утром встали мы рано. Вместе с Дуней пошли в контору, она сразу заявила начальнику, что ее просят на кухню, и он тотчас же согласился. Нас же, остальных, человек 30, передали бригадиру. Разместились мы в двух грузовиках, захватили с собой лопаты, молотки, стоячие рамы с натянутой сеткой для просеивания мелкого камня и песка. Выехав за ворота, проехали пустыри, груды вывезенного из города мусора, и снова открылась перед глазами выгоревшая, побуревшая степь. Едем по недавно починенному шоссе, где еще чернеют широкие заплаты. Свернувши с дороги, остановились. Здесь, по бокам испорченного выбоинами шоссе, лежат горки камней. Нам выдали молотки и рассадили далеко один от другого. Женщин мало, есть кое-кто из семейных, бездетных, которые отбывают вместе с мужьями. На меня, к счастью, никто не обращает внимания, все знают – из колхоза, в артели, значит, своя, а расспрашивать, да еще на работе, не полагается. Сидим, долбим камень, он легко рассыпается мелким щебнем. По существу работа мне показалась нетрудной, сидишь на воздухе, в тишине, но через некоторое время молоток стал казаться все тяжелее и тяжелее и подниматься все медленнее. Чаще останавливаюсь, чтобы передохнуть. Осматриваюсь. Солнце еще высоко, сильно припекает. В бесконечную даль уходят телеграфные столбы, шагом проезжают телеги, возвращаясь из города в свои поселки, громыхают неуклюжие грузовики, поднимая столбы пыли. Ну, думаю, вряд ли я здесь много наработаю, а какая норма – не знаю.

Часа через три подъехала бричка с начальником и давешним мальчиком. У него мешок с нарезанными ломтями душистого, свежеиспеченного хлеба. Давно я не видала таких больших кусков, и это была моя первая радость за этот день. Начальник слез, а мальчик поехал дальше раздавать хлеб, сегодня новая смена и у рабочих его с собой не было. Потом мы паек получали каждый день в столовой, чтобы брать с собой утром на работу. Начальник подходил почти к каждому знакомиться, присматривался, кто сколько сработал, расспрашивая про колхоз, про приемочную комиссию и шел дальше.

Подошел и ко мне. Он, видимо, уже познакомился с бумагами из колхоза, а может быть и телефонировал председателю.

– Вы полька? – спросил он.

– Да, – ответила я.

– По-русски говорите чисто?

– Я окончила русскую школу.

Смотрит, отсчитал две горки.

– Не много вы наработали!

Я молчу.

– Кончили школу, значит, по-русски писать умеете?

– Да, – усмехаюсь я.

– Планы чертить можете?

– Не знаю, в школе рисовали карты.

– Поедете со мной, я вас проэкзаменую, может быть, если подойдете, оставлю вас при конторе.

И пошел дальше.

Я встала, поела хлеба, глядя ему вслед. Открылась какая-то новая жизнь! Неужели правда смогу работать в доме, где тепло и чисто. Просто не верится такому счастью. Через полчаса я уже сидела с ним в бричке. Он не расспрашивал о колхозе, о задолженности, о вывезенных поляках. Думаю, о многом он уже и сам знал. Ехали мы рысью и остановились у крыльца конторы. Усадив меня, он дал мне переписывать официальную бумагу.

– Да вы, я вижу, дюже грамотная! – и передал набросанный карандашом бесформенный план местности.

– Вот, попробуйте расчертить цветными карандашами, чтобы наглядно было, где дороги, где поселки, где идет ремонт, и надпишите названия.

В контору то и дело заходили люди. Подходили и к тут же сидящему секретарю, который диктовал справки, путевки и письма. Пишущей машинки, конечно, не было, бумага была плохая, перья ржавые и чернила разведены водой, но это никого не удивляло. Удивляло их, что я пишу быстро и не задумываясь. День склонялся к вечеру. План местности я закончила. Посмотрев на мою работу, начальник благодушно сказал:

– Ну, будете нашей помощницей, на сегодня хватит, а теперь идите обедать.

Мы вышли вместе с секретарем, неразговорчивым и мрачным, судя по наружности, вероятно, евреем.

Столовая близко, через улицу, напротив конторы. Дверь на блоке то и дело открывается. Пропускают нас по списку, тут же висящему на двери. Смена новая, кухня никого не знает. При входе

каждому выдают миску, прибор и кусок хлеба – 500 гр. Комната большая, горит электричество, длинные столы, перед ними скамейки, в конце прилавок, за ним кухня. Все проходят чинно, протягивая свои миски. Уже издали меня заметила Дуня. Улыбнулась, сама налила настоящего супа с солью, овощами и крупой! Действительно, тут с голоду не умрешь, с восторгом думала я, какая разница с деревней. Отчего это?

После обеда можно пройти в тут же устроенный артельный ларек. Глаза мои разбежались при виде сахара, лимонада, сала и даже конфет. Правда, покупаешь "на карандаш", то есть на запись. Для одного человека на утренний завтрак можно взять сала, два тонких ломтика, как бумага, два куска сахара или две конфеты и полбутылки лимонада. Бутылки надо приносить обратно. Всего этого более чем достаточно для одного человека. Да еще с хлебом! Вернулась в барак утешенная, но усталая и разбитая от волнения и новых переживаний.

Господи! до чего же это утомительно, думала я, непрестанное чередование страха и надежды, голода и неожиданной сытости, отчаяния и радости, этого недавнего прилива бешенства и чувства благодарности вот к этим, мне совсем чуждым, людям, которые не сторонятся меня и которых и я не имею основания бояться.

Целыми днями теперь я писала, переписывала или чертила свои фантастические планы местности, где намечались или производились починки дорог. Начальник мне приносил набросанный им проект с названиями местности, рек и поселков. Постепенно я улучшила свои чертежи, переводила их на специальную бумагу, тщательно вырисовывала (без масштаба) поселки, овраги, пунктиром шоссе, предназначавшееся к ремонту, черточками – уже отремонтированное. Все это было раскрашено цветными карандашами с объяснениями и названиями. Начальник мой наивно любовался ими, и вскоре стены нашей конторы покрылись этими примитивными планами. Только бы их не увидали техники и инженеры, думала я, один только наш секретарь с явной критикой разглядывал их, но молчал.

Понемногу я узнала и о жизни нашего начальника. Он был полуграмотный, богатый крестьянин с Украины, вывезенный еще в конце 20-ых годов. Пробыв некоторое время в лагерях, он все же сумел вызвать к себе доверие начальства. Постепенно он сделал себе карьеру с помощью НКВД. Проявил он немалую энергию, помогая раскулачивать сибирских кулаков, а потом и в проведении коллективизации, которая прошла в Сибири очень болезненно. Знаменит он был в округе своей жестокостью, мужицкой смекалкой

и работоспособностью. Все же в партию его пока не принимали, но выдвигали на ответственные посты, где он показал себя хорошим администратором, преданным советской власти безоговорочно. Недавно он женился на молодой, красивой украинке, вывезенной еще ребенком и воспитанной в детдоме. Часто, в отсутствие мужа, после работы, она приглашала меня к себе, расспрашивая о загранице. Я ее побаивалась, была очень осторожна и отвечала шутя, общими фразами.

– А что вас больше всего удивляет у нас? – спросила она однажды. Тот же вопрос, что и энкаведист мне задал, мелькнуло в голове.

– Да не знаю, право, трудно сказать...

– Ну все-таки! – настаивала она.

Подумав, я ей ответила:

– Знаете, что бросается в глаза? Здешние люди так мало заняты личной жизнью! Мужья уезжают работать часто далеко и надолго, женщины остаются одни, в колхозах работают все вместе, и целыми днями только и видят друг друга, но никаких романов не заметно, и в этом отношении живут удивительно чисто.

Она усмехнулась и прибавила:

– Да, правда, особенно в колхозах, там не до этого, да и голодно, не до любви, только бы выжить. Я это знаю, до замужества сама через это прошла. Вот в городах, на заводах, на фабриках, там, конечно, иначе.

– А ваши родители? – спросила я тут. – В колхозе остались?

– Нет, я их не помню, меня в детдоме воспитывали, – она помолчала, видимо, вспоминая что-то свое. – С мужем мне теперь хорошо, любит он меня и балует, не бьет, хоть и крутой у него характер. У меня и уборщица теперь есть, и в кино и в театр, бывает, с ним вместе ходим. Здесь много легче, чем в деревне. Вот если зимой приедете работать в Актюбинск, заходите к нам, муж вам работу найдет. Тут всякие артели есть: госпиталь, школы, фабрики, заводы. Заходите, без работы не останетесь.

Это мне все очень важно, что она говорит, подумала я, возможно, что придется зимой здесь работать, это было бы просто спасением.

К концу октября пришла в контору записка, что за мной будет прислана подвода, председатель просил приготовить подсчет отработанных за колхоз трудодней. Потом я всегда вспоминала, что этот месяц в Актюбинске и работа в конторе Дорстроя был самым сытным и легким временем моего пребывания в Советском Союзе. Мы расстались с женой начальника друзьями. Дуня тоже закончила

свою работу и едет домой. Прощаясь со мной, дала мне на дорогу пирожок с картошкой и мешок сухарей. Я же везу Ванде хлеба и немного соли. Все же я с радостью простилась с хозяевами, думая о встрече с поляками в колхозе. Никогда с ними у меня не было той натянутой настороженности, которая меня здесь, даже при хороших отношениях, не покидала никогда.

Конец октября, уже совсем холодно. Ветер гонит серые, дождевые тучи. Телега нагружена какими-то узлами для колхоза, накрапывает мелкий, косой дождь. Мы с возницей прикрываем голову рогожкой.

– Ну, как у вас там? – спрашиваю его.

– Ничего, – неохотно ответил молодой, незнакомый мне парень, – хлеб пока дают...

Он явно не хотел вступать со мной в разговор.

Темнеет рано. Приехали мы, когда солнце уже зашло.

А света в хате нет, подумала я, и поспешила в контору. Председателя не было – сдала бумаги счетоводу и побежала домой. После города снова я была поражена убогостью и нищетой нашего поселка. Размытые дождем, грязные улицы усугубляли тоскливый вид покосившихся домов, а вокруг безлюдность, как будто все вымерло... Вошла к нам. Радостно расцеловались мы с Вандой, она похудела, осунулась. Заходили к нам и все наши, возвращаясь с работы. Усталые, в загрязненной одежде, их озабоченные лица мне показались просто страшными! Входили они ненадолго, ни о чем не расспрашивали, ничем и никем не интересовались, торопясь поскорее к себе. Каждый здесь был поглощен своими мыслями, своими заботами. Ванда тоже нервна и беспокойна. Устроили чай, позвали Ивана. Он, по обыкновению, отказался и, поговорив с минуту, ушел к себе, ссылаясь на боль в спине.

Усевшись с Вандой у накрытого стола, слушаю последние новости.

– Подумайте только, – говорила она взволнованным голосом, – был тут расчет за трудодни. Вы за 96 палочек получили 17 килограмм пшеницы и горсть шерсти с овец. И это еще больше, чем у других из наших! Да и колхозникам плохо. Многие бабы просто плакали, а мужики ругались (между собой, конечно), – добавила она. – Ведь это так и с голоду помереть зимой можно. – И в голосе ее слышатся обида и слезы.

Слушаю ее и тоже удивляюсь. Я и сама много не ожидала получить, но все же работали мы 6 месяцев, и, хотя по мнению счетовода план не выполняли, этот расчет мне показался просто чудовищным.

– Всем еще вычитали за баланду из общего котла, а теперь за хлеб. – Она замолчала и стала прибирать посуду, чтобы скрыть слезы.

Успокоившись, она снова села около меня.

– У пана Юзефа очень плохо, – продолжала она, – он с Марией все еще работает на огородах. Свеклу и морковь копают. Не по силам им это. Из-за супа и куска хлеба работают, дают сейчас по 300 гр. на рабочего, но вечернюю порцию они отдают детям. Пан Юзеф просто еле ходит. Но без него нельзя, одной порцией меньше будет, – главное, хлеба.

Я с ужасом слушаю ее не перебивая.

– Ноги у него очень распухли, сапог надеть не может. Сшили ему из старого одеяла теплые сапоги, да теперь дожди, сыро, и ходит он целый день с мокрыми ногами! Да что говорить, у всех плохо, – закончила она.

– А Клара как? как девочки?

– Клара последние вещи меняет, она даже подумывает начать работать. Да теперь скоро и огороды кончатся. Вот только Зосе одной весело живется. Знаете, ее на зиму в контору берут, и теперь уже обучают, и паек у нее особый – 400 гр., как конторской служащей.

– Вот увидите, – говорю я смеясь, – она за председателя или за счетовода замуж выйдет.

– Нет, не думаю, – задумчиво отвечает Ванда, – председатель стар, а счетовод, говорят, переводится на ответственное место, он на польке побоится жениться, она выше метит, тут у нее знакомство с каким-то комиссаром.

Я не спорила, Ванда все колхозные дела знала лучше меня. Пока убирали посуду, я рассказала Ванде о жизни в городе.

– Там много легче, – говорила я, – паек хлеба – 500 гр., есть всякие артели, при них столовые и ларьки. У меня теперь там и знакомые есть. А в столовой нашей артели варят суп настоящий, с солью и овощами.

Ванда слушала меня недоверчиво, казалось это ей вне действительности и попасть туда невозможно.

– Не горюйте, – утешала я ее, – нам только паспорта получить надо. Уезжают же другие!

– Уезжают, но не ссыльные, – отвечала Ванда, – здесь никому из наших и в голову не приходит. Сейчас одна надежда у всех на огороды.

Мы улеглись на наши койки и еще долго обсуждали колхозные возможности.

– Еще неизвестно, сколько кому достанется овощей – свеклы, картофеля, луку, капусты. Никто теперь не хочет общего колхозного силоса, каждый свое хочет сохранять сам, хоть супы будем дома варить!

В окно светит луна, прояснилось, смотрю вокруг, хоть нищета, но радостно видеть своих и нашу со Скопович такую обжитую комнату. Конечно, все изменилось к худшему. Все наши устали, так заметно замкнулись в себе за этот месяц, так поглотило всех жуткое беспокойство о завтрашнем дне, так настойчиво направлены и мысли и силы, чтобы прокормиться, выжить... Воскресные собрания тоже почти не посещались. Пан Юзеф болеет, по праздникам отлеживается, собираясь с силами на рабочую неделю. У нас с Вандой тоже голодно, привезенных мною сухарей и соли было недостаточно, а Ванда хлебного пайка не получала. "Кто не работает, тот не ест".

На следующий же день по приезде я пошла в контору. Теперь туда собирались к семи утра – темно. В колхозе варят суп под навесом, без соли, но с картофелем и овощами. В огородах работа заканчивается, я же снова работаю в самом колхозе с кизяками, сечкой соломы и с глиной на постройках. Слушаю радио. Между Гитлером и Сталиным идет торговля о Финляндии. Случаются и открытые, недвусмысленные выпады против Германии – Советы начинают прислушиваться и к речам Черчилля и даже оглашать отдельные выдержки из них...

Как-то вечером, после работы, зашли к нам с огорода пан Юзеф и пани Мария. Оба были чем-то возмущены и взволнованы. Сумерки, в хате уже темно.

– Что случилось? – спрашиваем мы, перебивая друг друга, они шепотом рассказывают нам:

– Сегодня мы на огороде копали овощи, приехал комиссар с председателем, обошли весь участок, остановились недалеко от нас, что-то вычисляют. Мы, нагнувшись, работаем, они на нас двоих не обратили внимания; вероятно, думали, что мы ничего не понимаем из их разговора, но мы отлично поняли, что они торговались! Комиссар настаивал и говорил цифры, а председатель все крутил головой и не соглашался. Думаем, что комиссар ему пригрозил, и председатель стал что-то записывать. Тот, довольный, уехал, даже руку председателю пожал, а наш долго еще ходил по грядам и что-то высчитывал. Стемнело, и мы собрались идти домой, как вдруг заметили, что он обронил бумажку. Мы ее подобрали, вот она, прочтите!

Написано было ясно: дата – 19-го ноября. Выдать – неразборчивая фамилия, а потом цифры и список продуктов: зерна, картофеля, овощей.

– Что же это? – не поняла я. – Как вы думаете?

– Да это же взятка комиссару, – шепотом проговорила пани Мария, оглядываясь, слыша за дверью шаги, но это был Иван, вернувшийся с работы.

– И так уже все вывезли, – с отчаянием в голосе продолжала она, – вся надежда на огород была, и вот теперь и это последнее.

Пан Юзеф стоял рядом, молча опустив голову. Взглянула на него, ноги закутаны в неуклюжие самодельные сапоги и обвязаны веревками. Только тут, внимательно приглядевшись к ним обоим, я отдала себе отчет, до чего они оба похудели и изменились! Особенно старик – пан Юзеф. Он, всегда такой выдержанный и спокойный, изысканно вежливый даже с большевиками, здесь как-то совсем потерял самообладание. Дрожащими руками он мне протягивал записку, впервые я тут заметила в его лице какой-то нервный тик. На его ввалившихся глазах блестели сдерживаемые слезы. Казалось, он не только видел, но и осязал надвигающуюся катастрофу.

– Подождите, я пойду спрошу Ивана! – сказала я.

Не торопясь, Иван засветил лучину и прочел протянутую ему бумагу. Грустно усмехнувшись, он мне ее отдал со словами:

– Вот опять из колхоза последнее вывезут, и это уже не за недоимку, так, какой-то политрук заберет. Беда!

"Беда? нет, может быть наше счастье", – мелькнула у меня мысль. После краткого совещания между нами пятью уже в полной темноте было решено в обмен на эту записку попытаться получить от председателя его согласие – отпустить всех желающих уехать на зиму в город.

Господи! ведь это шантажом называется, с ужасом подумала я. Но что делать? Хорошо это или плохо? Не один раз приходил мне этот вопрос в голову, когда жизнь в этих невероятных условиях ставила нас перед глухой стеной. Но тут при виде их неподдельного отчаяния я не задумываясь пошла в контору. Надвигалась ночь, темная, холодная, без луны. Слабо маячил в окне конторы красноватый свет керосиновой лампы. Постучала. Вошла. Председатель был один, он сидел в тулупе у стола, заваленного бумагами.

– Вам что-нибудь нужно? – удивился он моему приходу.

– Да, мне надо поговорить с вами.

В эту минуту я ясно ощущала, как омерзительно добиваться своей цели насилием, даже с лучшими намерениями и для хорошей

цели. Цель оправдывает ли средство? Конечно, нет! Как близок грех к хорошему и, казалось бы, правильному поступку и как часто просто сливается с ним. Главное, одно побуждение тянет за собой другое, зло порождает другое зло, и кажется – выхода из этого заколдованного круга нет! Все эти мысли вихрем пролетели в моей голове. Я волновалась и слышала стук собственного сердца.

– Товарищ председатель, – начала я срывающимся голосом. – Вы, конечно, понимаете и знаете лучше других, что мы, поляки, здесь зимой прокормиться не можем. Вы видели, какой был расчет за трудодни, а у нас и дети есть! Я пришла вас просить выдать нам наши паспорта и отпустить по добру в город.

– Что это вы выдумали еще! – накинулся он на меня. – Зимой работа есть: сено возить, солому, скот кормить, кизяки лепить, да о чем говорить? Вы теперь и сами знаете.

– Послушайте, нам и летом эта работа не по силам, – продолжала я, – что же будет зимой, и к холоду такому мы не привыкли.

Он насупился и развел руками:

– Это уж, извините, не мое дело!

– Нет, это дело ваше, мы вам поручены, и вы наше прямое начальство, если захотите, то сможете отпустить нас!

– Да вы что! – накинулся он на меня вставая. – Сами знаете, рук у нас не хватает! Хорошо будете работать, так прокормитесь!

– Мы не виноваты, – возразила я, – что ваши же колхозники бегут отсюда и рук у вас не хватает! Вы же их не задерживаете!

– Эк хватили! Они здешние, не вывезенные, сами понимаете, вы на особом положении!

Помолчали.

– Еще раз прошу вас, отпустите на зиму нас в город!

– Сказал, нет! – буркнул председатель и, сев за стол, взялся за бумаги, явно показывая, что он занят и говорить больше не о чем.

Тогда я решилась. Каким-то деревянным, не своим голосом я медленно, но громко проговорила:

– Если добровольно нас не отпустите, то нам придется у вас это потребовать.

– Что это значит потребовать, как это понимать?! – снова обернулся он ко мне.

– Так, принудить вас к этому! – сказала я, чувствуя опять, как на заседании, что я лечу с горы. – Мы не хотим погибнуть здесь от голода, холода и непосильной работы.

Он смотрел на меня, сдвинув брови, но не прервал, и я продолжала:

– У нас есть против вас важный документ, который вы обронили. Я пришла торговаться с вами. Сами знаете, терять нам нечего. Мы этот документ отдадим в НКВД, и вы за него дорого заплатите.

Молча он дал мне договорить, смотря на меня исподлобья, поверх очков. Я замолчала. Он снял очки, резко отодвинул стул и подошел ко мне с криком:

– Да вы что, и впрямь с ума сошли! Что за документ?!

– Вы обронили список продуктов для выдачи комиссару, иначе говоря, согласились на взятку к 19-му ноября!

Он пошарил в карманах.

– Чепуха, это бумажка.

– Нет, не чепуха! У нас и свидетели есть, слышавшие ваш разговор с политруком.

Наступило тяжелое молчание. Доносы ведь в Советском Союзе обыденная, даже возведенная в доблесть вещь. Председатель это знал. Знал он и чем эти доносы кончаются. Доносы часто нелепые и бездоказательные. Он же и так себя чувствовал загнанным зверем, на учете в НКВД за постоянные недоимки, нелюбим и среди колхозников, которые негодовали на него за то, что он не умел защищать их интересы.

– Кто нашел записку? – глухо спросил он.

– Это все равно, – ответила я, – записка у меня. Об этом из ваших никто не знает, – спешила я его успокоить.

Он подошел к столу и сел, задумавшись. Мне его сделалось просто жалко, таким он мне показался растерянным – и без меня зашел в тупик. Мы оба долго молчали, я села на лавку около окна. Какой это все-таки ужас, думала я, какой-то кошмар. До чего они доводят людей и какой может быть отсюда выход. С замиранием сердца я ждала его ответа.

– Но на каком же основании я вас отпущу? – спросил он почти шепотом.

– Очень просто, – поспешила я ответить, – скажите в НКВД, что за ненадобностью, как плохих работников, как лишние рты, вы отпускаете нас, тем более сам политрук так о нас выразился "паразитские рты", помните?

Он невесело улыбнулся и снова замолчал. На минуту меня вдруг сковал ужас – а что если он опередит меня и позвонит в НКВД, чтобы меня арестовали! Нет, теперь побоится, пожалуй, знает, что я на все готова. Но все-таки было страшно. Темнело,

мигала лампа, верно, керосин кончается, думала я. За стеной прохаживается ночной сторож, ждет, когда же председатель уйдет, а он все сидел неподвижно, опустив голову на руки.

– И то правда, не выжить им здесь зимой! – задумчиво, как бы про себя, тихо проговорил он. Наконец он встал, я тоже. Он протянул мне руку со словами: – Ладно уж! давайте записку!

Отлегло от сердца, но довериться его словам не смела.

– Конечно, я вам ее отдам, сейчас она не со мной, дайте нам паспорта и подводы, когда хотите, мы можем даже закончить осенние работы, если это вас устраивает.

Подумав, он тихо ответил:

– Подождите, вот счетовод уедет, недели через две. Пока не говорите никому о нашем разговоре, секретно дайте мне список, кто хочет уехать, – с усилием добавил он. Лицо его было задумчиво и бледно. Мы расстались дружески, в первый раз с благодарностью я пожала его руку.

Уже который раз я замечала, что в Советском Союзе даже с заведомым злодеем можно говорить с глазу на глаз откровенно и по-человечески, но стоило появиться третьему лицу, как весь тон разговора мгновенно менялся и делался или поучительно прописным или переходил в ругань.

Успокоенная и радостная, я бросилась домой, но пана Юзефа и Марии уже, конечно, не было: ждали дети и священный ночной отдых. Ванда тоже уже лежала и ждала меня в темноте, волнуясь и мало надеясь на благоприятный ответ. Я тихо разделась и шепотом рассказала ей весь наш разговор.

– Не может быть! не может быть! – все повторяла она, не веря своим ушам.

Думать о будущем мне тоже было страшно, а что если для них всех будет хуже! Перед нами открывалась неожиданно новая дорога, правда, неизвестная, но все же полная, как мне казалось, надежды на работу, на прокорм, на возможность выжить!

На следующее утро Ванда обошла всех наших, кроме Зоси, которой не очень-то доверяли, и оповестила их о возможности на зиму уехать в Актюбинск. Все были настолько поражены этим известием, что не сразу дали свое согласие на отъезд, страшась новой жизни, неизвестных людей и обстоятельств. Я же с утра, как обычно, вышла на работу, чтобы не привлечь внимания счетовода. Отъезда из колхоза нам пришлось ждать еще долго. Заканчивались работы в огородах, все подводы были в разгоне, а в ноябре дожди размыли дороги и наступила полная распутица.

Общий котел прекратился, все должны были питаться на свои заработанные трудодни. Все же выходившие на работу получали без котла повышенный паек хлеба – 400 гр. на душу.

Это было смутное и тревожное время. Втихомолку и неизвестно куда исчезали последние работники, оставляя заколоченные хаты или бросая их на произвол судьбы. Было что-то зловещее в этом замирающем на зиму колхозе. К этому прибавилась и нерешительность наших. Вставал вопрос: ехать или нет?

Снова вся жизнь сосредоточилась в молочной, в хлеву, но из нас только Зося имела туда доступ. Правда, колхозницы жалели детей и подкармливали их потихоньку от счетовода вместе со своими ребятишками за мелкие услуги.

Делалось все холоднее и холоднее, начались заморозки. Подсушились колеи и выпал первый снег. Как все показалось празднично и чисто, когда еще нетронутый белый покров замел следы грязи и зияющую разруху покинутых, полуразрушенных хат.

Середина ноября, в избах сумрачно и сыро. Темнеет рано. Работы сами собой заканчиваются. Часто при непогоде и в контору не являемся, только хлебный паек заставлял нас участвовать в уборке на зиму инструментов, в лепке кизяков под навесом и в разборке развалин. Ночи все длиннее и длиннее, а с ними связаны беспокойные думы и тревога. Счетовод почти все время в разъездах, а председатель смотрел на наше манкирование сквозь пальцы.

Видя явную невозможность прожить в колхозе, постепенно все наши решили уезжать – будем уж до конца держаться вместе, говорили между собой, стараясь подбадривать друг друга. Список желающих покинуть на зиму колхоз я наедине передала председателю, но он предупредил еще раз, что надо подождать отъезда счетовода.

В один из пасмурных и неприветливых дней ноября я вернулась с работы голодная и промерзшая. С утра низко нависли тяжелые снеговые тучи. К вечеру снег стал падать крупными, мокрыми хлопьями и скоро покрыл всю дорогу. Ветра не было. В степь послали за соломой для подстилки. Стога прессованной соломы недалеко, версты полторы от колхоза. Нас на эту работу, к счастью, не посылали, солома тяжела, нагрузить дровни не под силу, да и за лошадь боялись, не покалечили бы мы с непривычки.

Ванда готовила ужин, но хлеба в избе не было. Отдохнув немного, я все же решила пойти в магазин за своим пайком. К ночи похолодало и поднялся ветер. Ничего, думала я, магазин близко.

Выхожу на двор, внезапные порывы ветра захватывают дыхание, но я одета тепло, открыв калитку, выхожу на дорогу. Из дневных мокрых хлопьев снег обратился в сухой и колкий. Ветер крутит юбку, идти все труднее, снег слепит глаза, залезает за воротник и в рукава. Все же я хоть и медленно, но продвигаюсь к магазину. Порывы ветра все сильнее и злее. Перед глазами крутит, все застилает снежная мгла, ни неба, ни земли уже не видно, все слилось в одну сплошную массу. Невольно становлюсь спиной к ветру, чтобы отдышаться. Что же это так долго магазина нет? думаю я. И света не видно! Неужели я могла заблудиться, наискось переходя улицу! Правда, я всегда плохо ориентировалась, а тут, поминутно становясь спиной к ветру, совершенно потеряла направление. Остановилась, стараясь сообразить: когда я вышла из дома, ветер был мне прямо в лицо. Теперь, если он мне в спину, то ясно – я иду к дому. Но не тут-то было! Он дул порывами, всю меня залепляя снегом, то сбоку, то в спину, то прямо в лицо. Вокруг же меня ничего, кроме непроглядной мглы. Тут я не на шутку испугалась. Так и замерзнуть можно, крутясь на одном месте. Кричать? тоже бесполезно, чуть откроешь рот, захватывает дыхание. Да, помощи ждать просто неоткуда, да и кто может найти меня в этой двигающейся мгле! Действительно, я, кажется, верчусь на одном и том же месте, с ужасом проносится у меня в голове. С невероятным усилием вытаскиваю ноги из сугробов, но в голову приходит утешительная мысль – такой глубины сугробы могут быть только у заборов. Близко от них где-то должны быть и хаты. Залезаю по колена в холодные, пушистые горы снега.

Не знаю, сколько времени я так топталась, ища спасительный забор. Показалось мне это время вечностью, как вдруг неожиданно стукнулась обо что-то твердое. Забор! с облегчением подумала я. Держась за него замерзшими руками, рукавицы я давно где-то потеряла, медленно двигаюсь, еле передвигая ноги. Возможно, что, выбившись из сил, сев отдохнуть, тут бы рядом и заснула. Говорят, это легкая смерть – в оцепенении и во сне! Вспоминается и сказка Андерсена, знакомая с детства: "Девочка с серными спичками". Уже охватывает меня от усталости какое-то безразличие, постепенно проходит и страх... Все же не отпускаю забора, вяло, медленно текут мысли, необходимо отдохнуть, отдышаться! Только не садись, пролетает в голове, а то заснешь! Стою, облокотясь об забор, осматриваюсь. Что это? Как будто стало легче дышать и вокруг слегка посветлело. Снег заметно поредел, с новыми силами и надеждой двигаюсь дальше. Вот и чуть мерцающий огонек в окне. Что есть силы всматриваюсь – да я стою у калитки

нашей хаты! Радость, а с ней и силы, так и нахлынула на меня. Уже уверенно, высоко поднимая ноги, дошла до калитки – она открыта, и дальше сугроб прочищен. Конечно, это уже позаботился Иван, благодарно думаю я. Задыхаясь, вхожу на скользкое крыльцо. Ветер как-то внезапно стих, прояснилось. Меня уже услышали и распахнули дверь, оттуда сразу повеяло теплом, уютом и заботой! Ванда со слезами на глазах готовит горячую похлебку. Печь жарко натоплена, мой полушубок, юбка и валенки сушатся у Ивана на печи. Он сам мне старательно оттирает руки снегом. Хоть и ломит их и ноги от внезапного тепла, но хорошо и радостно, как после тяжкой болезни.

– А мы вам на окно лучину поставили, да пока сильно крутило, не видать вам было! Я вышел вам калитку отворить, да не знал, куда идти вас искать. Счастливо, недолго пурга мела, видал я, что проясняется, а бывает и сутки так крутит. Хату так занесет, что и откопать ее трудно, да сейчас еще не время буранов, вот в феврале беда, до молочной и с фонарем не дойдешь!

Сели за стол, нашлись у запасливой Ванды и сухари. На радостях и Иван согласился с нами поужинать.

– А как же наши за соломой поехали? – вспомнила я.

– Ничего, – ответил Иван, – недолго крутило! Переждут на месте, зароются в солому, а если застанет в дороге, то лошади довезут. Бывало у нас, да и не раз, что и не возвращались!

– Нет, – говорим мы с Вандой, – не дай Бог нам здесь зимовать!

– А счетовод-то совсем уехал, – говорит Иван, – вам теперь самое время перебираться в город. Поговорите завтра с председателем, сами видите, уж половина колхозников разбежалась. Я и сам буду проситься в хлеву ночевать, за сторожа. Там тепло, а при коровах и курах с голоду не помрешь. А вы ехать не бойтесь, – успокаивал он нас, – сейчас самый путь, ехать хорошо! Со швейными машинами в артель сейчас же примут. Шутка ли – машины иметь. Плата там сдельно, сколько наработаете, а вы в Дорстрой, там знакомые, а пани Марысю и Ванду сиделками в больницу. У нас без работы не бывает, – поучает он нас, – вот только выбирать не приходится – что дадут!

Медлить нечего, решили мы с Вандой, и утром отправились поговорить с председателем. Слово свое он сдержал и назначил нам день отъезда, обещая дать две подводы. Все мы стали лихорадочно собираться. На работу все же ходили, чтобы не потерять хлебный паек. Меняли вещи на крупу, картофель, муку, уложиться было нетрудно, у большинства вещей почти не было.

В ночь перед отъездом Иван забрал наши чемоданы и узлы, уложил их на двух подводах, накрыл брезентом и поставил во двор конторы. Лошадей на ночь отвели в конюшню. Конторский сторож за старую фуфайку согласился сторожить вещи до рассвета.

В холодную, морозную, но ясную ночь конца ноября мы все собрались к пяти утра в контору. С волнением ждем председателя. Он не замедлил прийти и тут же деловито вынул из ящика стола уже приготовленные паспорта, справки и удостоверения о работе. Он тоже казался взволнованным, прощаясь с каждым в отдельности, пожимая руки и передавая документы. Уже все вышли, осталась я одна. Вот отпускает, верит мне, а его бумага еще у меня! подумала я и, прощаясь, протянула ему злополучную записку. Ухмыльнувшись, он сунул ее в карман. Когда он отдавал мне паспорт с удостоверением о работе из новогрудской музыкальной школы, я заметила, как все его лицо просияло улыбкой. Мне даже показалось, что он понимает и радуется, сознавая, что делает доброе дело, отпуская нас из колхоза. Пожав мне руку, он вышел со мной на крыльцо. Звезды сияли, луна заливала своим прозрачным светом силуэты двигающихся людей.

Мы все разместились, радостные, взволнованные. В душе ликование почувствовать себя, как нам казалось, независимыми, свободными людьми со своими бумагами в кармане и правом собой распоряжаться.

Пустынно. Колхоз спит, никто нас не провожал. Во время укладки и сборов тоже никто не расспрашивал – не полагалось. Никого в поселке наш отъезд не удивил, привыкли – к зиме это дело обычное. Лошади тронулись, заскрипели полозья.

– Не поминайте лихом! – крикнул нам вдогонку председатель. Все мы невольно обернулись. Видим, к конторе подошла Зося. Облокотясь о косяк двери, она нас молча проводила взглядом. За последнее время каждый из нас старался подойти к ней, но она откровенно показывала, что не нуждается ни в нашей ласке, ни в сочувствии и явно сама сторонилась нас. С отъездом наши дороги окончательно разошлись и мы навсегда потеряли друг друга из вида.

Мы медленно выехали за околицу. Закрывалась еще одна страница жизни. Еще темно, но ехать хорошо. Дорога накатана и мы легко скользим в наших широких розвальнях. Наша подвода первая, правит Иван. Пана Юзефа удобно устроили на подушках. По бокам на вещах Ванда, пани Мария и я. За нами, не отставая, едут с моим бывшим погонщиком Федей Марыся, Клара и четверо девочек.

Чуть выехали в открытую степь, охватило нас всех смутное беспокойство. Далеко от жилья, впереди холодная мгла и неизвестность. Чувствуя наше волнение, Иван нас тихо уговаривает:

– И чего вы города боитесь? Там вам много легче будет. Вот довезу вас до постоялого двора, напьемся чаю, детей да Федю оставим с вещами, а сами поедем наниматься по артелям. Пани Клару да пани Марию с машинами в швейную сейчас же примут. Пани Марысю завезем в больницу, у нее бумаги фельдшерицы, это тоже не шутка! Сейчас же возьмут, хоть в сиделки, а там и квартира, и харчи. Вы не сомневайтесь, всем работа будет. Как кончим с артелями, поедем квартиры нанимать, чтобы недалеко на работу ходить. За вещи всякий потеснится и сдаст!

Успокоительно было слушать его неторопливую речь под мерную рысь лошади. Светлело, розовел восток, перламутром отливал снег.

– К вечеру все и справим, – продолжал Иван, – я вас развезу по квартирам, а ночью при луне и домой поеду. Мне уже обещано председателем в хлеву ночевать за сторожа. Там и перезимую.

Вот он, думала я, за свою долгую жизнь пережил и войну, и тяжелое ранение, и революцию, и коллективизацию с ее арестами, грабежом и убийствами, и неприязнь своей собственной дочери, а теперь этот голод и нищету, и ничто его не сломило! Сумел он сохранить и совместить стойкость с покорностью, ласковость с внешней суровостью, отзывчивость со смиренной безропотностью, и пронести все это при неизбежных и тяжелых невзгодах!..

Всем нам так хотелось отблагодарить, одарить его, хоть чем-то показать свою признательность, но он, однажды взяв одеяло и немного белья, несмотря на наши просьбы принять еще что-нибудь, неизменно сурово отвечал:

– И так премного благодарен, мне ничего не надо. Берегите для себя – еще пригодится.

Как он живет и чем? недоумевали мы между собой. Внешне стойко и молчаливо, но за этой внешностью, конечно, своя внутренняя, богатая, для нас недосягаемая жизнь...

Часа через три мы наконец подъехали к Актюбинску. Мне он уже знаком, но наши, проснувшись, молча и не отрываясь всматривались в улицы, дома, магазины – в то, от чего они так отвыкли за эти месяцы. Вот и постоялый двор, полинявшая доска с надписью "Трактир". Его дверь то и дело открывается, и валит оттуда пар. Двор обширный, вокруг конюшни, навесы, отпряженные лошади жуют сено из мешков, привязанных к их мордам. Стоят сани с поклажей. Мужики и бабы, рабочие, мастеровые снуют взад и

вперед. На нас никто не обращает внимания, все заняты, все куда-то спешат. Иван нанял нам комнату, деньги собрали между собой. Пока он помогал перенести наши вещи, Федя распряг лошадей и задал им корму. В комнате тепло, спросили кипятку и заварили чай. У всех была заготовлена провизия для нас и для возниц. Было уже часов 9, когда мы, оставив Ванду, пана Юзефа и детей, поехали с Иваном в артели. По дороге я сошла и отправилась в Дорстрой пешком. Начальник встретил меня дружески.

– Здорово! как живете? работы хотите?

– Мы, поляки, на зиму уехали из колхоза. Председатель нас отпустил, – ответила я ему. – Я бы хотела поступить на какую-нибудь службу, может быть вы мне в этом поможете?

Он внимательно выслушал меня.

– Вот как, ушли из колхоза? У вас бумаги ваши с собой?

Я дала ему мой паспорт.

– Так, – сказал он нахмурясь, – не от колхоза теперь работать будете, это дело меняет. В контору взять вас сейчас не могу. Возьмите себе пока квартиру, наведывайтесь, может быть смогу вас устроить хлеб рабочим возить.

Явно он испугался ответственности, впервые увидав мой паспорт, и хотел сперва запросить НКВД. Я вышла от него разочарованная и обеспокоенная этой первой неудачей. Комнату же нашла поблизости и легко, но платить надо было ежемесячно вперед вещами и деньгами. Покончив с этим, вернулась на постоялый двор. Мария и Клара встретили меня радостно. Обеих с машинами сразу приняли, и они были полны радужных надежд. Марысю тоже легко приняли сиделкой в местную больницу. Один пан Юзеф растерянно слушал наши разговоры. В первый раз за свою жизнь он чувствовал себя не у дел, и видно было, что ему это очень тяжко. Но что было делать? Даже Иван, покачивая головой, потихоньку предупреждал нас:

– Не возьмут старика, слаб и больной, да и как без сапог на работу ходить! а в сторожа побоятся – поляк!

Да и наружность у него уж очень не пролетарская. Старались мы его всячески подбодрить и утешить.

– Нельзя в городе детей одних оставлять, – говорили мы ему. – Это счастье, что вы сможете за ними присмотреть, да позаниматься с ними нужно, сколько времени они уже не учатся. Вот вы немного оправитесь, тогда и вам работу найдем!

Он же отмалчивался и крепился, но видно было, что он на краю слез. По квартирам все устроились недалеко друг от друга. Иван с Федей, напоив лошадей, развезли нас по домам. Уже темнело, когда

мы наскоро попрощались друг с другом, последними завез Иван Ванду и меня.

– Ну, а вас приняли? – спросил он меня при расставании.

– Нет, пока нет. Но обещали потом устроить.

Он посмотрел пытливо, но подробностей не расспрашивал. Попрощались… уехал. Закрылась еще одна страница жизни.

Мы больше никогда не встречались, и осталось только светлое воспоминание о нем, да еще в его образе на всю жизнь назидание о благородстве, стойкости и силе!

Снова принялись мы с Вандой устраиваться. Она, как и я, была обеспокоена. Безработица, недоедание и назойливая мысль – не вышлет ли меня НКВД с моим паспортом куда-нибудь подальше, позволено ли таким, как я, проживать в городах Советского Союза. Снова нам пришлось менять вещи на продукты. Варили суп. Ванда пекла пресные лепешки – как у не работающей, у меня карточек на хлеб не было.

Она плохо выносила голод, болела и была так слаба, что боялась искать работу. Часто я заходила в контору, но начальник был все в разъездах, а секретарь не в курсе дела. Однажды он мне неожиданно протянул письмо из Москвы. Писал дядя Жюль. Наконец-то пришли первые вести из Новогрудка.

"Осенью погрузили меня с вещами и пианино на грузовик, – писал он, – и привезли в Минск. Оттуда поездом доехал до Москвы. Живу в квартире Жоржа, такой мне памятной с прежних времен. Занимаюсь, буду издавать "Крокодила". В Щорсах из администрации все поразъехались, няня и панна Леонтина в деревне, помещение реквизировано, а меня, вероятно, из-за этого и вывезли. Да я рад, неуютно там было за последнее время, жили, как на вокзале…"

Опять все встало перед глазами: и опустелый дом, и рассеянные по свету близкие… Только уже придя домой я дочитала взволновавшее меня письмо и обомлела от неожиданности. Дядя Жюль продал пианино и выслал мне в Актюбинск 6 000 рублей! Целое неслыханное богатство. Нам с Вандой просто трудно было поверить такому счастью. За деньги через знакомых можно было в городе кое-что достать из провизии, особенно мне с помощью заведующего столовой, которого я знала по Дорстрою. Посылки Поле тоже были теперь надолго обеспечены, и квартиру оплатить деньгами нас гораздо более устраивало, чем отдавать последние вещи. Как мне посоветовали, я деньги положила "на книжку" и брала на почте небольшими суммами. Снова я была поражена, как и с письмами в Кремль, что в СССР в некоторых отраслях соблюдался порядок, к которому мы в Европе привыкли.

В это время вынужденного безделья я часто заходила к нашим. У пана Юзефа и у Клары тоже была радость, всех четырех девочек приняли в советскую школу. Там они днем получали суп с хлебом. Мария и Клара работали, но им было нелегко. Пан Юзеф отлеживался, но не поправлялся и все больше и больше тяготился своим бездействием. Марыся работала в больнице, там же жила и питалась. Ей платили маленькое жалование, как нештатной служащей, и вычитали за прокорм. Все же она была довольна и счастлива работать по своей специальности.

Наконец, в декабре, случайно встретив на улице жену начальника Дорстроя, я спросила ее, стоит ли мне еще ждать от них работы.

— В контору вам нельзя, — уклончиво ответила она, — но наш мальчик-рассыльный уезжает на днях в техникум, так вот на его место, я думаю, мой муж согласится — я поговорю с ним.

— Да я запрягать не умею! — ответила я.

— Запрягать не умеете? — усмехнулась она. — Дадите что-нибудь нашему шоферу, он же и конюх, он вам согласится запрячь. Так заходите завтра в контору или прямо ко мне, я уже буду знать ответ.

Через несколько дней все было устроено, и я по утрам стала ездить на дровнях через весь город, по гладкой, наезженной дороге в нашу пекарню. Снова был мне доступ в столовую и в ларек, но выносить суп не позволялось, и хотя жалование было грошовое, но я получала кроме обеда 500 гр. хлеба. Мы с Вандой чувствовали себя обеспеченными и счастливыми. На службе в мои обязанности входило ежедневно ездить в пекарню, делить хлеб в столовой, ездить по поручениям начальника и возить заведующего за продуктами столовой и ларька. Иногда приходилось написать и официальное письмо. Всем нам работа в городе была гораздо более по силам. Каждый из нас принадлежал к определенному кругу — артель, больница, организация Дорстроя, это нас связывало, морально легче было жить, не чувствуя себя отверженным, а т.к. мы были, как и окружавшие нас рабочие, на самых низких должностях, то и отношение к политике нас, к нашему счастью, не касалось. Приходили мы на службу только к семи часам, кончали раньше, чем в колхозе. Днем был перерыв на завтрак. В домах было тепло, керосиновые или электрические лампы позволяли по вечерам читать. Книги можно было доставать из городской библиотеки. Конечно, все нам казалось очень дорогим, и отсутствие денег и вещей было постоянной заботой. За деньги тоже почти ничего нельзя было купить. В ларьке — только на одного человека, и еще в зависимости

от заработка. В потребительских магазинах только по карточкам или ордеру, да и товаров почти не было.

В эти зимнис месяцы, например, совершенно исчезла соль. Для нас это было делом обычным, но рабочие в столовой со злобой упрекали заведующего.

– Почему готовите без соли?

– Очень просто, – был ответ, – без соли не помрете! А вот в другой области нет пшена или картошки и едят одни галушки. У нас вот и сало бывает, учтите это, а в других областях никаких жиров не достанете!

Зимой рабочие Дорстроя отрабатывали государственную повинность на фабриках и заводах, но к вечеру приходили в столовую, где получали суп и хлеб. К семи часам я уже возвращалась домой. Часто к нам по вечерам забегала и пани Мария, чтобы хоть ненадолго уйти от гнетущей атмосферы своей семьи. 500 гр. хлеба на четверых, конечно, не хватало и они сильно голодали. Ванда и я старались помочь ей, но это все было недостаточно. Лишний хлебный паек достать было невозможно. Тут я только поняла, что главное для голодного человека это именно хлеб! Марии было лет 35, но теперь она казалась гораздо старше. С гладко зачесанными волосами, страшно похудевшая, она все же была очень красива. С беспокойно бегающими, лихорадочными глазами, она молча, задыхаясь после быстрой ходьбы на морозе, садилась у нашего стола. Мы не смели ей докучать расспросами. Устраивали чай, хлеб, сахар у нас всегда были, иногда и горячий ужин. Она ела, как едят голодные люди, сосредоточенно и молча. Выпив горячего чая, обогревшись и утолив голод, она иногда начинала рассказывать о себе, отце и детях.

– Ни Клара, ни я, – жаловалась она, – быстро работать не можем, а теперь сщс у нас отобрали машины, строчат на них настоящие портнихи, а мы как подмастерья работаем, думаю, нас только ради машин и держат. Мы раньше могли кое-как все же заработать, а теперь пришиваем пуговицы, наметываем, все на руках, а платят они сдельно. После вычетов от ларька и за паек – ничего не остается. Слава Богу, хоть дети в школу ходят, они уже хорошо по-русски говорят, но чему их там научат! Страшно подумать. Зато днем кормят, а вечером хоть немного, а принесу. Моего пайка, 500 гр., на четверых никак не хватает. – Она помолчала и перевела дух. – Я детей подкармливаю, не у нас в комнате, а потихоньку!

Мы в ужасе молчим.

– Отец уж больше не встает, вот третий день. Так ноги опухли.

– Отдайте его в больницу, – говорю я. – За ним там Марыся присмотрит, кормить его будут и лечить.

— Я уже говорила ему, просила его, да боюсь настаивать, подумает еще, что нам в тягость! Он мне в ответ плачет, говорит: "Хочу дома умереть среди своих".

Мы снова молчим...

— Ведь поймите, он с голоду умирает! — вдруг с плачем проговорила она. — Я четверых никак не могу прокормить, а сама должна есть, чтобы мы не погибли все! — И с плачем: — Мне школа предлагает устроить детей в детдом — так ведь это уже навсегда, назад не отдадут, сделают коммунистками... Вчера мне старшая вдруг говорит: я хочу в детдом, там хорошо, все говорят — там весело и есть дают три раза в день. И это еще при дедушке. Не выдержала я, вывела ее за дверь и побила, вот до чего дошла. Никогда со мной этого не было... Не могу вынести это от своей родной дочери, — добавила она почти шепотом.

Мы с Вандой сидим ошеломленные этим взрывом отчаяния, из которого выхода нет.

— Кушайте! — подвигаем мы ей хлеб, сахар и сало, как только она немного успокоилась.

— Нет, спасибо, я лучше домой возьму, сало они давно не ели.

— Я могу вам денег дать, приходите всегда, когда нужно!

— Благодарю, но я за деньги ничего не куплю, в ларьке не дают, вот разве за квартиру, а в ларьке только на запись, да и то следят, сколько заработано за день!

— Хотите обратно в колхоз, — предлагаю я, — можно написать председателю.

— Да нет, меня ведь в молочную не возьмут, да и доить я не умею, а дети еще малы, работать не имеют права, да и боюсь я там одна.

Была уже ночь. Она сидела теперь с сухими и блестящими от волнения глазами. Господи, да это кошмар какой-то! думали мы с Вандой. Мария, выпив залпом чаю, взяв с собой оставшееся сало, хлеб и несколько кусков сахара, торопливо стала собираться домой. Она ушла, оставив после себя такую безысходную тоску, что долго мы с Вандой со слезами обдумывали, что же можно сделать, чтобы помочь ей. Но помощь пришла от Бога. Поздно вечером, недели через две, внучки пана Юзефа известили нас о смерти дедушки. С ними вместе мы тотчас же пошли к пани Марии. Все наши уже были там. Он лежал на лавке, завернутый в простыню, лицо его было торжественно и прекрасно, заснул он без страдания, в полном сознании, в присутствии дочери и внучек, как того хотел, среди своих близких. Его последними словами были "тшимайтесь", то есть "держитесь". Мы все обступили его, достали несколько

стеариновых свечей, Марыся прочитала молитвы... Все мы стояли потрясенные, но без слез.

Несмотря на бесконечную трагичность этой смерти, она принесла нам огромное облегчение. Прежде всего, конечно, его замученной дочери и мало еще понимающим детям, а потом и всем нам. Казалось, что умерший своей примиренностью и жертвенностью как бы напутствовал нас и благословил, призывая к покорности, стойкости и солидарности в нашей жизни.

Его похоронили в грубо сколоченном гробу, без одежды, завернутым в простыню. Советские власти распорядились о могиле, и через день его гроб перевезли на дровнях за город на местное кладбище. Мы все медленно шли за его гробом. Над вырытой могилой Марыся снова прочла заупокойные молитвы. Это было все... Ни надгробного пения, ни креста, чуть заметный холмик возвышался над сплошной белой пеленой, да и он через несколько дней был занесен снегом и найти его среди этой чистой, нетронутой пелены было невозможно.

Несмотря на наше улучшившееся теперь питание, Ванда все еще болела, и я уговаривала ее лечь в больницу. Советские больницы в некотором отношении были оазисом среди других организаций. Они обычно были беспартийны и бескорыстны, обслуживали население бесплатно. Больной человек тогда принимался без большой волокиты. Доктора и сестры были приятны и работали, большею частью, самоотверженно, не занимаясь политикой. Возможно, это было вызвано свойственной русскому человеку жалостливостью ко всему слабому, больному, искалеченному, старому, слабоумному и юродивому.

Долго Ванда не соглашалась и перемогалась дома. Однажды зашла к нам вечером Марыся. Она с увлечением рассказывала о своей работе, о дружеском к ней отношении администрации и больных, и наконец ей удалось уговорить Ванду пойти на консультацию. С помощью Марыси устроить ее в больницу было не трудно, тем более, что она всю жизнь серьезно болела почками и перенесла тяжелую операцию.

Вернувшись с консультации, она, собрав немного вещей, простилась со мной, как мы думали тогда – ненадолго. С этого времени я осталась одна в опустевшей комнате. Днем работала рассыльной, вечерами навещала наших или читала книги из библиотеки.

Однажды, в самую холодную пору зимы, я, как обычно, в 8 утра выехала за хлебом в пекарню. Дорога хорошая, мороз сильный, градусов 20, но ветра нет и яркое солнце. Снег сверкает так, что больно глазам. Я очень любила эти безветренные дни, когда дым

из труб тонкой струйкой поднимается прямо к синему, безоблачному небу. Одета я тепло, даже удалось получить от начальника ордер на покупку теплых мужицких рукавиц. На ногах валенки, еще из Польши. Серый с вышивкой полушубок, шапка оторочена мехом. Подъезжаю, привязываю к столбу у крыльца лошадь, набрасываю ей на спину попону. Захватив мешки, иду в пекарню. Стучу, никто не отзывается, но дверь не заперта, значит, хозяин недалеко. Вхожу в знакомую избу. После обычных холодных сеней – большая комната с огромной русской печью, закрытой железной заслонкой. Тепло, пахнет свежеиспеченным хлебом. В открытую дверь соседней комнаты видны полки с круглыми караваями пшеничного хлеба. В заиндевевшее окно, покрытое причудливыми, кружевными узорами, бьет яркое солнце. В углу большая, ничем не прикрытая бочка. У стены длинный стол с остатками сероватой муки. Пекаря нигде не видно. Смотрю на бочку и столбенею от неожиданности. Она доверху полна сероватой, крупной солью. Кажется, никогда еще я не смотрела с таким вожделением на съестные припасы! Рука непроизвольно потянулась, чтобы схватить эту давно невиданную драгоценность! Но и тут Бог спас меня от неудержимого желания украсть. Громкий хохот остановил мою руку в воздухе. С печи свешивалась добродушная, скуластая физиономия моего пекаря. Он хохоча смотрел на меня и, видя мой испуг и смущение, поощряюще закричал:

– Бери! Бери! Ничего, мне только вчера привезли! А я, было, заснул на печи, не слыхал, как ты вошла!

Взять соли мне было не во что, но пекарь слез с печи и сам мне насыпал полные карманы полушубка.

– К завтрему принеси мешочек, я тебе еще отсыплю, вижу, что изголодалась по соленому! Да смотри, – добавил он, – занеси домой, в столовой чтоб не увидали, а то и мне не посчастливится. Правда, я бы вывернулся, сказал бы, что ты украла, не досмотрел, а тебе бы несдобровать, и места лишишься, и засудят!

Пекарь отсчитал мне в мешки хлеба и помог нагрузить на дровни, а я счастливая и утешенная поехала рысью домой. Его же я даже не поблагодарила, знала – за ворованное не полагалось. Была в этих случаях круговая порука, связывающая между собой людей обездоленных, хотя и виноватых – против сытой и обеспеченной вражьей силы. Даже среди своих это не обсуждалось – когда? откуда? – обходилось молчанием, чтобы ненароком никого не подвести.

В феврале вызвала меня к себе жена начальника.

– Хотела вас предупредить, – сказала она, – что на днях вы лишитесь места, в конторе зимой работы мало, так что секретарю поручено совместить свою работу с вашей. Мне очень жаль, – добавила она, пожимая мне руку на прощанье, – но знаете, мой муж тоже зависит от высшей власти.

Действительно, через несколько дней мне дали расчет.

– Слышал я, что вы музыкантша, – сказал начальник, прощаясь со мной. – Сходите в техникум, там ищут преподавателя хорового пения. Знаю, у вас есть свидетельство из новогрудской музыкальной школы, с ним идите наниматься.

Все-то обо мне знают, подумала я. Он обиняками советует мне не показывать моего паспорта. Как будто это какой-то позор. Я поблагодарила и ушла. Опять началась безработица. Хорошо еще, что через заведующего столовой я за немалую мзду могла кое-что купить из провизии. Работа в техникуме мне очень улыбалась, но возьмут ли меня? Я ее получила, но не сразу. Только после долгих поисков и не найдя никого, директор решился взять польку. Я поступила на пробу, техникум считался высшим учебным заведением.

В Актюбинске техникум открылся недавно – для молодежи, закончившей десятилетку в Алма-Ате. Школа эта была строительная, курс двухлетний. При ней были и общеобразовательные курсы для слабо подготовленных учеников, и вечерние курсы для взрослых. Я там занималась с разными группами хоровым пением, разучивала с ними и сольные номера для их вечеринок, аккомпанировала им на их ученических концертах. По моей просьбе дядя Жюль выслал мне из Москвы несколько сборников советских песен и романсов, хорошо гармонизированных, что мне очень облегчило работу, а ученики были в восторге расширить свой репертуар. Свободного времени у меня было много, был доступ и в студенческую столовую, где за плату я могла получить сытный обед и хлеб. Трудно было только добираться в холод до техникума, т.к. комната моя находилась на другом конце города. Мечтала переехать поближе.

Однажды, возвращаясь после уроков, я встретила немолодую, высокую женщину, трудно было не обратить на нее внимание – иконописное, строгое лицо, черный шерстяной платок на голове, телогрейка какого-то особого покроя как-то приковали мое внимание. В руках она держала кувшин и жестяную литровую кружку. Неужели продает молоко? подумала я.

– Простите, – обратилась я к ней, – можно у вас купить молока? – Внимательно, не улыбаясь, она посмотрела на меня.

– Сейчас нет, я все разнесла по постоянным домам. – Я продолжала идти с ней. Она как будто меня совсем не боится, мелькнуло в голове.

– Скажите, вы случайно не знаете, где можно было бы найти комнату, недалеко от техникума?

– Вы полька? – полувопросительно ответила она. – Что же вы в техникуме делаете?

– Я там преподаю музыку и пение, аккомпанирую.

– Вот как! – заинтересовалась она, искоса на меня поглядывая. – Заходите ко мне, там поговорим.

Мы подошли к расписным, широким воротам, рядом калитка на крючке. Вошли, большой двор, окруженный хозяйственными постройками. Сарай, хлев на замке, курятник. Посередине колодезь с журавлем. В стороне небольшой, но солидно построенный дом. Одноэтажный, деревянный и чисто оштукатуренный, с высоким крытым крыльцом. Окна со ставнями, везде чисто, чувствуется достаток и хозяйская рука. Вошли в дом, здесь оказались всего три комнаты и большая кухня. Пол крашеный, чистые занавески на окнах, цветы в горшках. Она жила вместе с дочерью в передней комнате, окна которой выходили на улицу, две другие поменьше сдавались советским служащим. Ее комната, она же и столовая, была залита заходящим солнцем. Посередине обеденный стол, покрытый вязаной скатертью, между окнами, в углу, к моему изумлению, стояло пианино.

– Кто-нибудь у вас играет? – спросила я.

– Моя дочь, Лида, – ответила хозяйка, убирая посуду. – Она учится в десятилетке, да очень способна и любит музыку, давно мне хочется ее серьезно учить, вот я и думаю, не возьметесь ли? Я бы вам за это отделила занавеской полкухни с окном. Хоть я здесь и не хозяйка теперь и живут тут со мной один из НКВД, другой комиссар, но со мной ничего не бойтесь. Никто вас не тронет. Мой муж сам видный коммунист, но всегда в разъездах, с нами не живет. Так что, если это вам подходит, перевезите сейчас на салазках ваши вещи, а я вам все тут приготовлю.

Конечно, я с радостью согласилась, хотя соседство "видных коммунистов" меня беспокоило, но зато сама хозяйка внушала доверие и была мне симпатична своим спокойным достоинством. Она еще раз подчеркнула мне:

– Ничего со мной не бойтесь, при мне не пропадете!

Она мне вывела из сарая большие салазки, я ее предупредила, что у меня вещей немного, но есть своя раскладная кровать. Когда я к вечеру привезла свои вещи, комната моя была уже готова, от

плиты ее отделяла через всю комнату пестрая занавеска. Перед окном стол со стулом, в углу умывальник, к стене их комнаты я поставила свою кровать. Что еще нужно человеку, подумала я, тепло, сухо, окно с белой занавеской выходит в чистый двор, и тут же заметила на столе стакан чудного молока. Плита здесь топилась круглые сутки и отапливала обе комнаты. Уголь Аграфена, так звали мою хозяйку, получала бесплатно от своих жильцов.

Какое счастье! И платить за комнату не надо, и так близко от техникума и от городского сада! На жизнь вместе с Вандой у меня уже надежды было мало. Она поправилась и ее приняли в больницу ночной сиделкой. Жила она в одной комнате с Марысей, с которой еще в колхозе очень подружилась. Здесь же она и питалась, и я за нее была спокойна.

Тут я познакомилась и с моей будущей ученицей. Вернувшись из школы, увидев новое устройство, она вбежала ко мне. Белокурая, с материнскими темными глазами, одета опрятно в коричневое платье с черным передником, она напоминала гимназисток прежнего времени.

– Я буду с вами учиться на пианино? – радостно объявила она мне. – Когда?

– Я думаю, начнем завтра, – ответила я ей.

– Я сегодня вам все сыграю, что умею. Я уже тут училась в школе и знаю всякие песни!

– Лида, иди ужинать, – крикнула ей мать, – а потом будешь не играть, а уроки учить, а Ольгу Александровну не тревожь, дай ей отдохнуть.

Лида остановилась, смотря сияющими глазами, потом подбежала и крепко, по-детски поцеловала меня.

– Я так, так рада, – воскликнула она и исчезла за занавеской.

Жизнь моя стала материально легкой и спокойной, но чуждая среда, в которой мне приходилось вращаться, тяготила меня. Одиночество в этой постоянной толпе чувствовалось гораздо сильнее, чем раньше. Физически я не уставала, и снова появились бессонницы с тревожными мыслями о Поле, о детях в Париже, о близких и друзьях. Наши, постоянно усталые, после работы ложились рано, и я их почти не видела. К себе звать их не могла, боясь своих соседей, – у них та же нищета, без просвета какой бы то ни было радости. Мой день проходил однообразно по заведенному раз навсегда порядку. Утром работа в школе, обед в столовой, где ученики мои меня дичились, учителя их тоже, открыто не показывая неприязни, все заметно сторонились меня. Иногда бывала репетиция

очередного выступления, потом урок с Лидой. Вечерами выходить было неудобно – на ночь ворота и калитка запирались, у жильцов были свои ключи, а мне надо будить хозяйку, постучав ей в окно, да и не хотелось встречать энкаведиста, который часто возвращался ночью.

Хозяйка моя, Аграфена Ивановна, была строгая, малообщительная женщина. Она все же понемногу привыкла ко мне, заходила посидеть, пока дочь была в школе, жильцы на работе, а сама она готовила в кухне обед себе и им.

– Я ведь здешняя жительница, – серьезно рассказывала она, блестя темными глазами. – Жили мы хорошо. Богато. Торговали ситцами, сукнами да полотном. Деньги были, детей не было. Скучно без детей-то! Была я замужем уж лет 8, как пришла революция. Мы сперва на нее и внимания не обратили, торговали по-прежнему, а как докатилась она до нас, жить стало страшно. А деваться некуда. Мужа разграбили да тут же и убили. Вот тут-то я Бога благодарила, что детей нет у меня. Бежала одна, куда глаза глядят. Хороша я еще была – полюбилась одному комиссару, он меня и спас, хоть всю правду я ему о себе рассказала. Может он меня за эту горькую правду еще пуще полюбил. Верил он мне во всем. А потом, как дочь родилась, и замуж за себя взял. Много мы разъезжали, а меня все на родину тянуло – в Актюбинск. Его услали далеко, а меня с Лидой он сюда привез. Ей тогда уж лет 8 было. Поступила она в десятилетку, а мне дом определили, живут тут всегда советские служащие, а я за домхозяйку, готовлю им, убираю... – Она замолчала и задумалась... – Все здесь тогда для меня новое было, и город другой, и людей прежних никого не встретила. Трудно мне было спервоначала, потом привыкла. Муж не забывает, деньги от него получаю, да позволили мне корову держать, молоком снабжаю советские семьи. Если б не дочь, скучно бы мне было, ради нее только и живу!

Обо мне она никогда не расспрашивала, знала, конечно, что я ссыльная. Я была ей за это отсутствие любопытства благодарна, трудно было бы мне быть с ней откровенной и не хотелось ее обидеть отсутствием доверия. А настоящего доверия у меня здесь ни к кому не было. Присмотревшись, я увидела, что ее жизнь была нелегкая. Вставала она с зарей, доила корову и разносила молоко. Торопилась домой, чтобы снарядить Лиду в школу. Дочери ее было лет 13. Она была пионеркой, но пришло время, когда надо было переходить в комсомол. Без этого нельзя ни кончить школу, ни поступить в высшее учебное заведение. Аграфена была лояльна по отношению к советской власти, но в душе не сочувствовала

этому строю. Она с детства была очень набожна. Лиду окрестила тайком от мужа, не потому, что боялась его, но чтобы не подвести его и не поставить в ложное положение перед советской властью и партией. Дочь же ее жила как-то не задумываясь, совмещая набожность матери с антирелигиозной пропагандой в школе и не осуждая ни того, ни другого. Жила она весело и бодро, была общительна, ласкова и вносила в дом своей суровой, никогда не улыбающейся матери – оживление, непринужденность и тепло. Играла она на рояле недурно и к восторгу матери даже выступала на школьных праздниках.

Февраль с его лютыми морозами приходил к концу. Возвращаясь из техникума через городской сад, я часто останавливалась послушать сообщения по радио. Иногда проскальзывало недвусмысленное раздражение Сталина на Гитлера. Явно стала чувствоваться в их отношениях напряженность. Аграфена многое слышала от "своих жильцов" и часто потихоньку передавала мне последние заграничные сообщения. У нас же, поляков, все сильнее и сильнее крепла надежда на возможность освобождения.

Глава 5

КОС–ИСТЭК.

Середина мая. Весна. Днем жаркое солнце на безоблачном небе. Ночью ясно, к утру бывают еще заморозки. Мы все с некоторым страхом ожидаем лета. Начнутся каникулы, распустят школы, закроют на несколько месяцев техникум. Опять будет безработица, а у Клары и Марии дети на целый день дома, надо их кормить, одеть; выросли из всего, а заработок все тот же. Неужели снова возвращаться в колхоз? С этими беспокойными мыслями я однажды возвращалась с уроков. Навстречу мне шла цыганка. Поравнявшись со мной, она остановилась и, широко улыбаясь, встала на моей дороге. Была она очень живописна, голова повязана ярким платком, широкие в сборку юбки, одетые одна на другую, доходили почти до земли. Они мерно покачивались при каждом ее движении. На шее бусы, в ушах серьги кольцами. Она без церемонии взяла мою руку.

– Я знаю, ты полька, – сказала она, – давай погадаю!

– Нет, не надо, я тороплюсь, – ответила я, – да и гаданью не верю, поворожи кому-нибудь другому. – Вырвав руку, я быстро пошла вперед, но и она не отставала.

– Да я и сама не захочу тебе гадать, если всю правду о тебе не увижу, не все я могу, а если смогу, то и мужу твоему помогу!

– Нет, спасибо, не надо, да я все равно не верю.

Мы подошли к моему дому, но она не отставала...

– Прощай! уходи! – обернулась я к ней. – У меня хозяйка сердитая, никого не пускает к себе во двор. – Стою около калитки, но не вхожу, жду ее ухода.

– Никого не пускает во двор? – переспросила она усмехаясь. – Знаю я твою хозяйку, ее дома нет, она молоко продает.

– Тем более уходи, не могу я тебя впустить, она рассердится на тебя и на меня!

– Да ты меня и не впускай! – решительно заявила она. – Я и сама войду. Калитка-то ведь не заперта! – И, распахнув ее, первая вошла во двор. Тут я не на шутку рассердилась.

– Говорю тебе добром, уходи, пока я не крикнула соседям, чтобы тебя выпроводили отсюда!

– Не шуми, – спокойно усмехнулась она, – ничего ты мне не сделаешь! Лучше вот послушай, что я тебе скажу: обманывать я тебя не хочу. Я не все делать могу, вот моя мать, та умела много. Меня научила только трем тайнам.

Я стояла молча, прислушиваясь, не возвращается ли Аграфена.

– Могу, – продолжала цыганка, – кого хочешь к тебе приворожить, да так, что всю жизнь любить тебя будет. Могу тоже порчу навести, к примеру, здоровую корову без молока оставить. Да знаю я, тебе не того нужно. Могу я помочь тебе, чтобы мужа твоего из тюрьмы выпустили.

Видя, что я решительно отказываюсь, она подошла вплотную и шепотом промолвила:

– Не хочешь, чтобы я мужу помогла?

– Какие глупости, – возмутилась я, – как ты можешь помочь ему?

– Нет! не глупости! – трагически продолжала она. – Умею я дурь на людей напускать!

– Что значит дурь напускать?

– А то это значит, что человек не помнит и не знает, что делает. Вот в свое время напущу дурь на стражников, они его и выпустят.

– Чепуха какая, – возразила я, начиная опасаться, что нас застанет хозяйка.

– Правда, прошу тебя, уходи, пока не поздно!

Но цыганка не сдавалась.

– Послушай, – уговаривала она меня, я не всем могу помочь. Хочешь, я тебе только скажу, могу ли я тебе правду сказать или нет. Не могу – я тогда сейчас же и уйду, а если могу, ты мне ничего платить не будешь, пока известие о муже не получишь. Вот принеси мне стакан чистой воды и платок.

Действительно, принести ей, чтобы отстала, подумала я. Ключ от кухни был у меня в кармане. Зачерпнув в кадке воды и захватив чистый платок, я вернулась к цыганке. Она прикрыла им стакан и поднесла его к моему уху, что-то приговаривая.

– Вот слушай! Слышишь ли что?

– Слышу! – ответила с изумлением я. – Кипит вода.

– Вот видишь, – обрадовалась цыганка, – значит могу помочь тебе. Погоди, покажи мне воду.

Я зорко следила за ее руками, но ничего не заметила.

— Дай послушать еще раз!

Она снова прикрыла стакан платком и придвинула его к моему уху, опять приговаривая. Ясно слышу клокотанье воды! Отодвинула, смотрю — вода прозрачна и холодна. Что это за наваждение, промелькнуло в голове.

— Вот видишь, — сказала цыганка, выливая воду на землю, — не отказывайся от своего счастья! Не всем это дано, и мужу поможешь, и сама о нем все узнаешь! В пятницу я тебя встречу в саду и все расскажу, дай мне только какую ни на есть его одежду!

— Да не могу я гадать, у меня и денег нет, чтобы заплатить тебе.

— Ничего, сейчас платить не будешь, — снова повторила она, — вот когда о муже известие получишь, заплатишь 200 рублей деньгами или вещами, да скорей давай, а то смотри, хозяйка сейчас вернется.

Дам я ей рубашку, подумала я, а то и правда не отстанет! Зашла к себе, принесла ей рубашку. Она молниеносно спрятала ее в карман своей обширной юбки.

— Ну вот, жди теперь вестей!

Высоко держа голову, она выплыла со двора и исчезла за калиткой. Я стояла озадаченная. Что это со мной случилось? думала я, провожая ее глазами. Какая чепуха! Как я могла согласиться. Надо было дождаться хозяйки, при ней же ей все рассказать. Аграфена сумела бы ее выставить! Долго еще меня преследовало неприятное чувство. Что это? Почему это может быть так неприятно, думала я. Конечно, прежде всего глупо, конечно, тут примешан и шантаж, но кроме всего этого есть и еще что-то неизъяснимое, не поддающееся описанию и так называемому "здравому смыслу". Что-то как бы нечистоплотное и гадкое! Чувство это держалось долго, и я решила расспросить Аграфену о цыганах.

— Я часто у вас здесь встречаю цыган, — обратилась я к ней, — много их тут в Актюбинске, что они делают, чем живут?

— Пришлые они, ничего не делают, — сердито отвечала она, — их тут за городом целый поселок — Москвой прозывается, всех бы их арестовать надо. Да боятся их трогать. Воры, бездельники, а женщины гадают. У нас это теперь запрещено — суеверие! Да они потихоньку по домам ходят. А когда мстят кому — скот портят! У здоровой коровы, ни с того ни с сего, шерсть дыбом встанет и молоко пропадает. Я их тоже боюсь, ссориться не хочу!

Прошла неделя, я уже стала забывать мою цыганку, надеясь, что, получив рубашку, она больше не появится. Вопреки моим ожиданиям, в пятницу, когда я проходила через городской

сад, она снова настигла меня. За ней шла молодая девушка, тоже цыганка, мимоходом улыбнулась мне, но прошла мимо.

– Здравствуй! – приветствовала меня старуха. – Вести тебе принесла.

– Кто эта девушка? – кивнула я головой на молодую цыганку.

– Дочь моя, в театре она поет и пляшет, любят ее, хор у нас тоже хороший есть. Здесь выступает, а иногда и по колхозам разъезжает, вот уже скоро год, как мы тут.

С ее приходом снова меня охватило неприятное чувство виновности, но, прислушиваясь к ее словам, я невольно остановилась.

– Большая голова муж твой, – шептала она, – сидит в тюрьме, очень болел, судить его не судили, а к тюрьме приговорили! Болеет он сейчас, но выживет, не бойся. Скучает он, но помочь ему можно – в свое время – дурь навести на стражу, и выйдет он в открытую дверь. – Она помолчала, пожевывая губами. – Заплатишь мне, когда он выйдет, а ты о том письмо получишь, не от него, а получишь. Здесь его не жди, не приедет он сюда. – Она замолчала, что-то соображая.

Господи! какая чепуха! думала я, глядя на нее.

– Нет, не чепуха, – ответила она на мою мысль.

– Дай мне, на что погадать, мне золото нужно. Вот тебе его рубашка. – И она извлекла ее из кармана своей юбки.

– Мне нечего тебе дать, – сказала я, отходя от нее. Она же зло и зорко посмотрела на меня, не отходя ни на шаг.

– Ты меня не обманывай, не на таковскую напала! Знаю я, что у тебя есть и чего нет! Есть золотые, царские, есть и портсигар, есть и серебро. Знаю я, да мне твоих вещей не надо. А хочу помочь горю твоему.

Что она, обыск у меня делала? подумала я.

– Ты ошибаешься, – ответила я ей, – эти вещи не мои, а моего мужа, если его выпустят, эти вещи ему нужны будут, все у нас разграблено было при аресте. – Мы уже подходили к моему дому.

– Знаю я и болею за тебя. Ты меня не бойся, – уговаривала она. – Я тебе только добра желаю. Дай до пятницы пять рублей царских. С вестями и принесу их тебе назад.

Дам ей пять рублей, иначе ведь не отстанет.

– Подожди здесь, сейчас вынесу – ответила я ей.

Дома все вещи были в порядке, ничего не тронуто. Все же она мне много сказала правильно, думала я, вытаскивая из чемодана пять рублей, оставленных мне дядей Жюлем. Просто какое-то

искушение. Вышла за калитку, передала цыганке золото. Цыганка алчно схватила его и просияла.

– Жди в пятницу вестей! – сказала она, прощаясь заученной фразой, и исчезла за углом.

Вот уж, правду говорят, нечистый попутал, с возмущением на себя подумала я, ну как я могу на все это соглашаться! Это трусость какая-то. Ни имени ее не знаю, ни адреса. Чтобы рассеять неприятное чувство, пошла в больницу и все рассказала Ванде. Ее реакция была совершенно противоположной той, которую я от нее ожидала. Вместо сочувствия и желания мне помочь выбраться из этого дурацкого положения, она с загоревшимися от любопытства глазами возбужденно воскликнула:

– Я тоже хочу у нее погадать! Я тоже хочу, чтобы она мне о муже рассказала! Непременно встречусь с ней в пятницу, я ведь днем свободна, – я пойду с вами в городской сад.

Несмотря на все мои уговоры, она решительно объявила, что зайдет за мной в техникум, чтобы не пропустить цыганку.

– Подумайте, какой это редкий случай – узнать о муже, даже может быть помочь ему. Она вам ведь много верного сказала, – оправдывалась она.

Вот как зло и глупость порождают зло, думала я, возмущаясь на самое себя. Мало того, что я сама завязла в эту дурацкую историю, а еще и Ванду втянула.

В пятницу, через неделю, окончив уроки, встретила Ванду, ожидавшую меня у дверей. В городском саду мы уже издали увидали цыганку. Посмотрев на Ванду, она не испугалась, вероятно, почуяв в ней новую жертву. При ней она и начала свой рассказ.

– Болен твой муж, желудком болен. Трудно ему, слабый он, но жив, не бойся. Здесь его не жди. Увидишься с ним, да нескоро. Где – не показано! Этого еще не знаю. Да я погадаю тебе в последний раз, до пятницы подожди! Узнаю все, – добавила она, заметив мое нахмуренное лицо.

– И мне погадай, – попросила Ванда, – протягивая свою руку. Она посмотрела на ее ладонь.

– Твой тоже сидит, да погоди! Радость тебе большая! Ты его тут увидишь! нежданно, негаданно, а увидишь! Если хочешь, скажу больше на золото.

– Да у меня нет ничего, – ответила Ванда, смотря ей прямо в глаза.

– Вот кольцо есть, – указала цыганка на ее обручальное кольцо.

— Я боюсь с ним расставаться, — неуверенно проговорила Ванда.

— Боишься? — усмехнулась цыганка. — Так не давай, а я без золота гадать не буду.

Ванда обернулась ко мне, ища поддержки. Я сердито, отрицательно покачала головой. Уже около трех часов пополудни, в саду уже появляются люди, цыганка заторопилась уходить. Ванда решительно сняла кольцо и протянула его ей. Ну вот этого только недоставало, подумала я.

— Послушай, да как тебя зовут? — поспешила я ее нагнать.

— А я тебя о твоем имени спросила? — сердито ответила она. — Боишься уйду, вещи унесу? Марьей меня зовут. Марьей Глухой.

— Ну, смотри, Марья! до пятницы, до последней пятницы! Я приготовлю деньги — по 200 рублей за каждую из нас — всего 400, и мы с тобой рассчитаемся окончательно!

Она снова усмехнулась, хотела что-то сказать, но, увидев вдали милиционера, промолчала и только простилась обычной фразой: "Ждите вестей".

— Слушайте, Ванда, — возмущенно выговаривала я Скопович, — ну зачем вы дали ей кольцо? Мы и адреса ее не знаем!

— А зачем вы сами давали ей золото? — вызывающе смеялась она. — Хочу знать о муже. Вы вот не верите, а гадаете, а я верю! Она сказала, что я увижу его здесь! — с блестящими от восторга глазами продолжала она. — Понимаете ли вы это? Конечно, этому трудно поверить, а может быть?! Теперь еще больше хочу знать о муже и что нас ожидает.

Разубеждать ее было бесполезно. Она верила теперь, да еще и надеялась. Сознавая, что она со своей точки зрения права, я, не доводя ее до дому, расстроенная ушла к себе.

Пришла пятница. Не без волнения поджидали мы Марью в городском саду. Середина июня, тепло, все цветет — сирень, черемуха, хоть и обеденное время, но уже бегают и играют дети, одетые по-летнему .

Цыганка пришла в назначенный час. Улыбающаяся и спокойная, она сразу обратилась к Ванде.

— Правду я тебе давеча сказала, встретишься ты с мужем здесь и жить будете вместе! И года не пройдет, как увидишь его!

Что за чушь! думали мы обе, недоумевая.

— Ты говоришь, он осужден на 20 лет и живет в лагере на севере! Сама видишь, что гадаешь несуразное.

— А вот увидите! Все сбудется, и скоро! Для него и дурь напускать не надо, сами выпустят. Не знаю еще хорошо, как он

сейчас. Неделю мне надо продержать кольцо. Узнаю, как ему живется, здоров ли.

– Нет, Марья! Хватит! – сердито перебила я. – Сейчас расплачусь с тобой. Верни кольцо и мои пять рублей!

– Сказала, – на будущей неделе, и нет у меня золота с собой. В пятницу ждите вестей! – и, примирительно улыбаясь, она уплыла с высоко поднятой головой и колыхающимися на ходу юбками.

Мы, пораженные, молча проводили ее глазами.

– Ну, Ванда, теперь уж ни одному слову ее не верю! Надо нам от нее как можно скорей отделаться. Это просто шантаж какой-то.

– А вдруг да это правда! – просияла Ванда. – И его сюда на поселение вышлют, ведь это у них бывает! – На эти слова я просто рассердилась, и мы с ней расстались.

Ванда в больнице работала по ночам, днем она была свободна. У меня тоже бывали свободные часы, и мы с ней видались часто. Бывала она и у Марии и Клары и рассказывала последние новости. Трудно им в их артели, и косятся на них другие портнихи, что они хорошо работать не умеют, да и держат они себя иначе, чем другие, ни с кем не сходятся. А дети хорошо, любят свою школу, и подруги у них завелись. Своей работой Ванда была очень довольна, жила она по-прежнему в одной комнате с Марысей. В дежурке ночью она могла спать одетой, на жестком клеенчатом диване, вставала к больным только на звонки или ночные обходы с медсестрой. Ответственности у нее не было никакой, как у низшей служащей, но с пяти утра должна была начинать работать. На ней лежала вся уборка амбулатории, уборных, коридоров, кабинета врача и дежурки медсестры. К семи часам все должно было быть прибрано, вынесена грязная посуда и приготовлены чистые халаты для врача и сестер. К семи часам ее сменяла дневная сиделка, часто Марыся, которой она сдавала дежурство. Ванда этой работой не тяготилась, она любила больных, и сестры к ней относились хорошо. Кормили ее неплохо, она заметно поправилась. И в глубине души все же надеялась... До пятницы оставалась еще почти неделя.

Эта история меня смутно беспокоила все время. Что если опять не удастся рассчитаться с Марьей? Спросить совета у Аграфены я боялась, она может донести на нее в НКВД, и тогда будет еще хуже. Комическая сторона этого глупого положения от нас с Вандой тоже не ускользала, и мы искренне смеялись сами над собой. "Это она не на стражников дурь напустила, а на нас!"

Было воскресенье. Позавтракав в техникуме, я отправилась в городской сад и села на скамейку. Утром была репетиция очередного концерта, последнего за этот учебный год. За это время мне удалось хорошо познакомиться со многими советскими песнями. Многие мне очень нравились, особенно хоровые солдатские, которые хор студентов лихо пел под аккомпанемент рояля. Если бы не слова, их можно было бы петь на любых концертах, думалось мне.

Народу в саду много, в 12 часов ежедневно радио сообщает последние новости. Жду передачи, смотрю на проходящую мимо толпу. Около недавно открывшегося киоска, где продают лимонад, нарзан и клюквенный морс, толпится молодежь. Вдруг обычные сообщения прерываются, после секундной паузы слышится незнакомый голос:

"Внимание! Внимание! говорит Москва!"

Все насторожились. Взволнованным голосом Молотов сообщал, что в ночь на 22 июня Германия предательски напала на Советский Союз. Защищая свою территорию, Советы объявляют войну немцам!

Все обомлели. Молча, неподвижно замерли на своих местах, ожидая подробностей, но подробностей не было. Заиграл марш, и передача прекратилась...

Мы, хотя и видели по неясным сообщениям, что отношения между Советами и Германией портились, все же были далеки от мысли, что между ними возможна война.

С невероятной быстротой это известие облетело весь город. Люди толпами выходили на улицу, собирались у громкоговорителей, ожидая сообщений. Утренние газеты расхватывались и просматривались тут же на улице, но в них ничего о войне сообщено не было. Неизвестно откуда появились незнакомые нам целые группы поляков. Они со слезами бросались друг к другу. Трудно описать волнение, я бы сказала – ликование, охватившее город.

Конец! это конец большевиков! – открыто говорили поляки, не скрывая своей радости. Русское население, более осторожное, молчаливо ожидало, как повернутся события. Среди местных властей чувствовалась неподготовленность и полная растерянность. Аграфена встретила меня молчаливой, но счастливой улыбкой. Вечерами мы все собирались вместе, игнорируя работу, радостно переживая последние слухи, наводнявшие город. А слухи были волнующие и неожиданные.

Гитлер перешел Неман! Советы этого не ожидали, Сталин до конца не верил, что может дойти до вооруженного конфликта!

К немецким войскам переходят толпы гражданского населения, не сочувствующие советскому строю... С первых же дней наступления десятки тысяч пленных сдаются немцам, сдаются целыми дивизиями.

Откуда шли эти известия, которые потом оказались правдивыми, неизвестно. Но передавались они теперь и среди русских с нескрываемой радостью.

Дня через три, в среду или четверг, получив, видимо, инструкции из Москвы, – Актюбинское НКВД стало быстро и решительно реагировать. Не замолкало радио, призывая к спокойствию и мобилизации. Начались ежедневные возмущенные речи против поляков и всех иностранцев – о неуместной и преступной радости врагов народа. О необходимости обезвредить "зловонную гидру", выползающую из подземелья, и выбросить ее за пределы города. Я побежала в больницу предупредить Ванду и Марысю. От Аграфены узнала, что уже идет подготовка к вывозу поляков и немцев.

– Бросайте работу, – говорила я им, – переезжайте ближе ко мне, не будем разлучаться, нас, вероятно, скоро вывезут! Надо во что бы то ни стало держаться вместе.

– Не только нас хотят вывозить, – заметила Марыся, – а в первую голову цыган, все об этом говорили сегодня, и их всех выписали из больницы, даже больных!

– Что? – вскричала Ванда, вскочив со своего стула. – Мое кольцо! Марью вывезут, оно пропало!

Она была в полном отчаянии, понимая эту пропажу как конец супружеской жизни, как измену мужу, как непоправимую катастрофу... Тут только я вспомнила всю историю с Марьей, которую за эти дни совершенно забыла! Так мне это все казалось неважным среди невероятных слухов и событий. Не разделяя Вандиного отношения к потере кольца, как к личной катастрофе, но видя ее неподдельное горе, я и Марыся стояли рядом и не знали, как ее утешить.

– Ванда, у моего мужа в первый же день отобрали все, и кольцо тоже, это не означает конца и не меняет нашего внутреннего отношения друг к другу. – Но это нисколько ее не успокоило.

– Вы не понимаете, – твердила она, – у него отняли, а я сама отдала, это совсем другое! – Она с плачем закрыла лицо руками, стараясь перед нами скрыть свои слезы.

– Ванда, я найду Марью и отберу у нее ваше кольцо.

– Ничего из этого не выйдет, вы и адреса ее не знаете, и не знаете даже ее фамилии, – ответила она, с укором глядя на меня. –

Конечно, я сама во всем виновата, – закончила она, видя мое смущение.

– Да куда вы пойдете, – поддержала ее Марыся, – сейчас уже скоро вечер.

– Нет, теперь лето, – возразила я, – темнеет поздно, я знаю от Аграфены, что все цыгане живут в предместье, которое называется Москва.

– Нет, не ходите, – опять вскочила Ванда, – вас еще арестуют среди них.

– Не уговаривайте меня, я все равно пойду, никто меня там не тронет. Оттуда прямо зайду к вам, и, надеюсь, с кольцом, – улыбнулась я Ванде.

Нащупывая деньги в кармане, я вышла на улицу. Меня гнало чувство виновности перед Вандой. Ну зачем я ей об этой цыганке рассказывала, думала я, быстро шагая по пыльной дороге к окраине города, как мне указали местные жители. Ванда – как ребенок, реагирует на все по-детски, я должна была с этим считаться, а не искать у нее поддержки, теперь только я и несу ответственность! Останется она без кольца и будет все время мучиться и чувствовать себя несчастной! Не думаю, что мне удастся найти Марью, но я хоть попытаться должна. Солнце садилось, ярко освещая запад. По мере того, как я удалялась от центра города, дома становились все беднее и отстояли друг от друга все дальше и дальше. Чаще стали попадаться запущенные пустыри по бокам дороги, в степи лежат горы свалочного мусора. За ними вдруг появился поселок, это и был пригород Актюбинска, заселенный одними пришлыми откуда-то цыганами.

Самодельные лачуги, прилепленные одна к другой, кое-где хижины, крытые брошенные повозки... От главной улицы беспорядочно разбегаются кривые, грязные переулки, пустыри, тупики, встречаются мазанки без окон и дверей, оттуда стелется по земле сероватый дымок. Полуголые дети босиком бегают и играют в пыли. Молчаливо, как мыши, они разбегаются при моем появлении. Во всем чувствуется свой замкнутый клан, своя обособленная жизнь, каким-то чудом сохранившая еще свои вековые обычаи и порядки.

Куда идти? не видно конца этим полуразрушенным лачугам. Искать Марью среди них казалось безумием... Наконец решилась зайти в открытую дверь одной хижины. Пустая, полутемная комната, на земляном полу мангал, на нем жестяной чайник, на низком табурете сидит цыган в широкополой соломенной шляпе, в руках у него сапог, который он сосредоточенно чинит, вбивая в подошву

гвозди. При моем появлении он остановил работу, исподлобья смотря на меня.

– Простите, я зашла спросить, где здесь живет Марья Глухая?

Цыган недружелюбно, отрицательно покачал головой.

– Никакой Марьи я не знаю.

– У нее есть молодая дочь, она поет в театре, – продолжала я.

– Не знаю такой – а вы кто будете?

– Я по делу, мне Марья нужна!

Не отвечая, он сердито застучал молотком по подошве... Я постояла и ушла. На улице пустынно, дети тоже куда-то исчезли, наверно, ужинают. Заходила еще раза два. Ответ везде тот же: "Не знаю, а вы кто будете!" Другие и по-русски не говорят. Темнеет, а вокруг все тот же лабиринт! Смотрю, на пороге сидит старик, покуривает трубку, подошла к нему с тем же вопросом. Посмотрел, помолчал, пожевывая трубку, а потом зло:

– Вы лучше уходите, а то, знаете, не время здесь гулять! Как бы беды не нажить!

Еще укокошат! промелькнуло в голове. Запрячут в мусор, и не узнает никто. Пойду хоть по главной улице, не сворачивая в эти темные тупики. Вернуться? но лицо Ванды стояло перед глазами, вернуться без кольца казалось мне ужасным! Солнце зашло за тучу, стало вдруг сразу темней, прохожих нет, спросить дорогу не у кого. Иду теперь по середине улицы, подальше от жилья. Смотрю прямо перед собой, что делать? Редко я чувствовала такое искреннее раскаяние, как в этот памятный вечер среди такого чуждого мне мира. Ответственность за Ванду, за ее детское отчаяние и слезы повергла бы и меня в отчаяние, если бы среди растерянности, темноты и страха не пришла сама собой мысль о Боге. Я шла все дальше и дальше, как автомат, не разбирая дороги и все повторяя детские слова молитвы о помощи. Надежды уже не было, проходил страх, заполняла душу какая-то невесомая пустота... Темнело, поднявшийся ветер гнал в лицо пыль и мусор, от него приходилось то и дело закрывать глаза, и вдруг, впереди мелькнула перед глазами яркая бабья юбка. Я остановилась, пристально вглядываясь. Господи! Неужели? Да! да! это несомненно Марья стоит спиной ко мне, смотрит на закат. Не спуская с нее глаз, боясь, что она так же внезапно исчезнет, как появилась, я поспешила ее нагнать.

– Марья! – крикнула я, подходя к ней сзади.

Она не спеша обернулась, по ее лицу промелькнула тень неудовольствия.

– Ну, чего испугалась, зачем пришла? – сердитым шепотом заговорила она.

– Я пришла за кольцом, – так же тихо ответила я, слегка задыхаясь. – Отойдем от дороги, надо мне с тобой поговорить о важном!

– Мне с тобой говорить не о чем! – отвернулась она. – Сказала – приду в пятницу, отчего не дождалась?

– Я тебе обещанные деньги принесла, – старалась я ее уговорить. – Здесь не дам, возьми золото и выйди за хату.

– Золото и так при мне! Отчего не ждешь пятницы?

– Пойдем, я тебе все объясню. Тут говорить не буду. Есть к тебе важное дело, не пожалеешь, что я пришла к тебе!

Она постояла в нерешительности, потом, пристально посмотрев на меня, нехотя сошла с дороги, вывела меня на пустырь. Степь, свалка, вдали начинают зажигаться огни Актюбинска. Солнце совсем зашло. Мы остановились с Марьей за поселком среди голой степи. Она уже начинает выгорать, но местами зеленая и покрыта мелким кустарником и колючками.

– Я поспешила, потому что знаю – и вас и нас вывезут из Актюбинска. Отдай мне золото, а я тебе отдам обещанные деньги, хоть и нет еще никаких известий от мужей, – торопилась я все сразу высказать Марье.

– Брешешь ты, никуда нас не вывезут. Боишься ты, что золото украду!

– Марья, я наверно знаю, что вывезут! Вот уже ваших всех из больницы повыписывали, я Ванду видела сегодня. Отдай ей кольцо!

– Сказала, что в пятницу принесу! Что ты мне за указ! – и она повернулась, чтобы уходить.

– Смотри, Марья, я это так не оставлю. Сама понимаешь, обручальное это кольцо.

Она остановилась в нерешительности. Я почувствовала, что надо действовать скорее.

– Вот тебе 400 рублей за нас двоих, разойдемся по-хорошему!

Постояв с минуту, она вытащила платок с завязанным уголком. Медленно, с сожалением его развязала.

– Ладно уж, бери! – протянула она кольцо и пять рублей. – Давай деньги.

Она тщательно пересчитала бумажки и, зажав их в руке, резко повернулась и пошла к дому. Я медленно шла за ней, не упуская ее из вида. Вдруг она повернулась и, пока я недоуменно и ничего не понимая смотрела на нее, очертила вокруг меня круг и, что-то

приговаривая на незнакомом мне языке, схватила мою руку и с силой вытащила меня из него... Господи! да что же это, она колдует! с ужасом подумала я. В этой полутьме, среди пустырей, ее фигура с выбившимися из-под платка седыми прядями выглядела страшной и зловещей. Дьявольщина какая-то, промелькнуло в голове. Никогда больше не буду гадать, дала я себе тут же слово! А цыганка повернулась ко мне улыбаясь.

– Ты не бойся, зла я тебе не хочу, – вдруг успокаивающе проговорила она. – Не поминай и ты меня лихом, а за деньги спасибо! Известий жди, придут. И сбудется все, как сказала, не сомневайся! – с этими словами она повернулась и ушла.

Внутренне как-то всем этим потрясенная, я медленно шла за ней. Вдруг вижу – Марья, подобрав юбки, бегом пустилась к дому. На главной улице, еще далеко от нее, между лачугами, медленно двигались грузовики. В темноте фары их светились, как глаза хищных зверей, то появлялись, то снова исчезали за строениями. Я невольно остановилась, затаив дыхание. Господи! что же это? с ужасом подумала я... Да это их вывозят, как молния пронеслось в голове. Я повернула в обратную от поселка сторону и побежала без дороги степью. Я то шла, то останавливалась, спотыкаясь, подгоняемая страхом и мыслью, что я только что избежала большой опасности – быть вывезенной вместе с цыганами или арестованной среди них. Шла я долго, ориентируясь только на мигающие вдали огни Актюбинска. Взошла луна, стало легче идти по бугристой, колючей степи.

Господи! пронесло! думала я, благодарно глядя на посветлевшее небо и звезды и медленно выйдя на дорогу, где уже встречались дома с освещенными окнами. Появились фонари и тротуары. Была ночь, когда я, усталая, голодная, вся поцарапанная, но счастливая, вошла в знакомую дверь больницы. Здесь меня знали, и я беспрепятственно прошла в комнату Марыси. Ванда не дежурила – ее свободная ночь. Обе кинулись ко мне с объятиями. "Наконец, мы уже не знали, что и думать!" – восклицали они, устраивая мне чай. А когда я торжествующе показала им кольцо, то радость их меня вознаградила за все перенесенные страхи и волнения... Ванда благоговейно поцеловала кольцо и надела его на палец.

– Я вам этого никогда не забуду, – сказала она с блестящими от слез глазами.

Долго я им рассказывала за чаем про мои похождения и колдовство цыганки, про неуютный поселок, про мои уговоры и угрозы и, наконец, про примирительные слова Марьи – с уверением, что

все сбудется, как она говорила. Тут только по их переглядыванию я заметила что-то новое и неспокойное в их лицах.

– Что-нибудь случилось в мое отсутствие? – спросила я, присматриваясь к ним.

Они обе встали:

– Мы проводим вас и все расскажем.

Втроем мы вышли на слабо, но все еще освещенную улицу. Минуя городской сад, уже запертый в это позднее время, мы медленно шли вдоль пустынных знакомых переулков. Тут они, перебивая друг друга, взволнованно мне сообщили:

– Нам обеим сегодня вечером отказали от места и велели завтра же переезжать куда хотим! А тут еще вас все нет и нет. Не хотят полек держать в больнице, мы просто не знаем, что нам делать и куда деваться.

– Счастье, что так вышло, они вам отказали, а не вы сами ушли! Все равно надо было уходить. Еще утром я вам об этом говорила. Я постараюсь что-нибудь найти через Аграфену, – ответила я, – она всех здесь знает! Уложитесь, а я завтра зайду с ответом.

Мы распрощались у моего дома. Все огни уже были потушены. У энкаведиста тоже, – верно, еще у себя в управлении, работает. Вхожу тихо, к счастью, ключ от кухни у меня в кармане, стараясь не шуметь, зажгла лампу, на столе стоит стакан молока, рядом кусок домашнего хлеба. Ну, это неспроста, думаю я. Замечаю, что стакан прикрыт официальной бумагой из техникума. Меня вызывают завтра за расчетом.

Как они здорово по плану работают! думаю я, смеясь про себя. Было что-то радостное в этой вдруг осязаемой свободе от работы и ежедневных обязанностей.

Спать в эту ночь я, конечно, не могла. Волновали разноречивые чувства и мысли. Ведь немцы перешли Неман! Барановичи взяты! что же теперь с Полей? охватывает то радость, то страх, то надежда, то беспокойство при этой надвигающейся неизвестности. Как теперь найти квартиру для нас всех? ведь всякий теперь побоится поляков принять. Все же, несмотря ни на что, преобладала радость. Деньги еще есть, можно и не работать некоторое время, отдохнуть, пожить вместе со своими, улыбаюсь я в темноту. Светает рано, я встала с зарей, надо не пропустить хозяйку. Оделась, жду Аграфену, она тоже встала рано, неслышно, сразу вошла ко мне. Жестами вызвала меня во двор и прошла в хлев. Я за ней. Она тоже напугана и взволнована, но тут говорить безопасно, корова не выдаст!

– Вам придется переехать от меня, – шепотом сказала она, – нельзя мне в доме полек держать. Начнут вас вывозить, муж узнает, и мой жилец тоже. Нельзя мне, чтобы из моего дома вывозили, я ведь вас за свою родственницу выдавала. Квартиру я вам уже приискала, тут недалеко.

– Спасибо, но мне необходимо еще помещение для моих подруг.

– Ничего, комната большая, вы легко поместитесь там втроем. Да это ведь и ненадолго, – прибавила она. – Придется вам переезжать сейчас, пока жилец еще спит, я вам с вещами помогу.

Тихо, наскоро собрали мы вещи и снесли их в хлев.

– Я вам их перенесу понемногу сама, вы уж сюда больше не приходите, – сказала Аграфена, закрывая за собой хлев на ключ. Вдвоем захватили мы только мою кровать и самое необходимое на первое время. Вышли на улицу, чуть светало, вокруг все тихо и пустынно. В глухом переулке, в убогом домике, вросшем в землю, совсем близко от Аграфены, если идти задами, жила старушка со своей дочерью. Дочь была больна сыпным тифом. Все ее жильцы разбежались, боясь заразы. В больницу она ее не отвезла, сейчас власти заняты другими вопросами и смотрят на это сквозь пальцы. Старушка рада была получить новых неприхотливых жильцов. Она сдала нам большую комнату окнами во двор. Я недорого заплатила ей деньгами. Вещи надо было теперь беречь.

– Дочку мне жаль, – прощаясь, говорила Аграфена, – хорошо играть стала, и любит она вас! Ну, мне пора, надо корову идти доить.

Разложив кровать, вскипятив чай у хозяйки, я пошла с повесткой в техникум и потом к Ванде и Марысе. Тут же втроем перетащили их вещи и начали устраиваться. Мы радовались, не думая о завтрашнем дне, радовались быть вместе, радовались свободе и отсутствию работы и обязанностей. С зарей Аграфена приносила нам за деньги молока, а понемногу и мои вещи. Иногда удавалось нам через нее купить кое-что из провизии в закрытом магазине, куда она имела доступ. Меняли мы и вещи, готовясь к неминуемому вывозу.

В городе заметно присмирело, говорили – везде обыски и много арестов. Окна управления НКВД освещены всю ночь, тюрьмы переполнены, поляки все куда-то попрятались. Артель Клары и Марии пока работала, и даже в две смены, – шили белье на армию, и их пока не выгоняли. Прожили мы так дней десять. В начале июля 1941 года, поздно вечером, когда мы уже и свет потушили, зашла

к нам Аграфена предупредить, что нас вывезут на следующий день. Куда? этого она не знала. На прощанье принесла нам молока и хлеба. Несмотря на ночь, мы побежали с Марысей предупредить Марию и Клару с девочками и тут же перевели их к себе. Устроились на вещах, как на вокзале, швейные машины остались в артели.

Оказалось потом, что Аграфена сама же и указала НКВД наш адрес. Все домохозяева или знающие, где проживают поляки, обязаны были об этом доносить, чтобы их самих не обвинили потом в укрывательстве врагов народа... Она не ошиблась. На следующий день, около полудня, грузовик подъехал ко двору нашего дома. Из кабинки вышли двое – энкаведист и при нем молодой не то узбек, не то киргиз, еле говорящий по-русски, тоже в форменной фуражке. Отобрав у нас документы, они дали нам полчаса на сборы. Этого было вполне достаточно, вещей было мало, да и те почти все были уложены. Не простившись с хозяйкой, которая заперлась в своей комнате с больной дочерью и которую не побеспокоили, мы вышли на двор и разместились в машине. Оказалось еще много свободного места, мы заехали еще в два дома за проживающими там поляками.

Было уже часа три, когда мы выехали из города на проселочную дорогу, где уже поджидала нас вереница нагруженных машин. Этот второй вывоз не произвел на нас впечатления катастрофы, как это было в Новогрудке. С безразличием и тоской, сидя на вещах под немилосердно палящим солнцем, мы наблюдали за распоряжениями энкаведистов и суетливо снующих среди них восточных людей, наблюдали и соседние машины с поляками, которые были нам незнакомы, но "свои" по сравнению с окружающей местной толпой... Наконец, после проверки, переклички и передачи документов узбекам, закончив все формальности, энкаведисты в легковых машинах уехали обратно в город.

Видимо, едем к узбекам, говорили мы между собой, но они, кажется, и по-русски не говорят, как мы будем объясняться? Медленно, по неровной дороге, наши грузовики двинулись в путь. Вскоре, на первом же перекрестке, за нами последовала только одна машина. Всех нас оказалось теперь 25 человек. Были среди нас и дети, но они в счет не шли. Уже часов пять пополудни, жарко, душно и пыльно! А впереди все та же степь, сливающаяся с сизым туманным горизонтом. Едем по давно нечиненной дороге, покачиваясь на ухабах и колеях, все дальше и дальше на восток. Сидим мы на узлах, тихо переговариваясь. Кое-где пасутся овцы, пощипывают засохшие стебли, при них старик или подросток

босиком и в лохмотьях, долго смотрят нам вслед слезящимися от солнца и пыли глазами. Однообразный и унылый вид побуревшей и выжженной степи нагоняет на всех нас невыносимую тоску и грусть. Замолкли расспросы и разговоры, дети дремлют, мы сидим бездумно, отдаваясь какой-то внутренней невесомой пустоте...

Часа через два, когда яркий диск солнца уже на закате, местность начинает меняться. На горизонте появляются голубые и лиловые холмы, а в глубоком овраге слышен струящийся ручей, и зеленеет внизу над ним серебристая ива и низкорослый кустарник. Мы все повеселели и оживились, с наслаждением вдыхая доносящуюся оттуда к нам с порывами ветра влажную прохладу. Неужели будет вода и зелень, думаем мы, какое бы это было счастье! И жадно приглядывались к этой узкой полоске зеленой, сочной травы...

Проходит еще часа два, и мы без дороги, по степи подъезжаем к какому-то жилью. Это и есть наш безымянный поселок. Он резко отличается от привычных русских деревень. Эти мазанки еще беднее, еще ниже, еще грязнее, но разбросаны они в живописном беспорядке, без обычной прямой улицы. Лачуги тянутся зигзагами, то скрываясь, то вновь выплывая из зелени вдоль серебряного ручья, лениво пробивающегося по каменистому руслу. Мы остановились тут, восхищаясь прохладой, запахом воды и давно невиданной зелени...

Каждый из нас уже взялся за свой узел, собираясь вылезать, как из подъехавшего второго грузовика послышались предупреждения и крики по-польски:

– Не сходите! Не соглашайтесь жить с ними по хатам!

Шоферы и узбеки вышли из кабинок, в ту же минуту их обступили неизвестно откуда появившиеся полуголые дети.

– Не вылезайте! – продолжали нам кричать из соседнего грузовика. – С ними вместе жить нельзя, они все заражены трахомой, туберкулезом и сифилисом. Уже были известны случаи заражения детей, об этом посылали заявления в Актюбинск, и всех наших поляков перевели в другие колхозы, а теперь нас прислали им на смену. Не поддавайтесь, не вылезайте!

Пока мы недоуменно переглядывались, не зная, что нам делать, узбеки уверенно и не торопясь откинули задние стенки грузовиков.

– Айда, слезай, – кричали они нам.

– Устройте нас всех вместе в каком-нибудь бараке! – отвечали им из соседней машины. Мы молча ждали, не зная, на что решиться.

– Нечего разговаривать! айда, слезай, а то бить будем. Нам теперь разрешено учить врагов народа!

Тут и мы поддержали соседнюю машину:

– Работать мы согласны, а по хатам не пойдем! Вместе жить хотим!

Поднялся невообразимый шум.

– Не пойдешь? – заорал взбешенный узбек, размахивая руками и пытаясь стащить близ сидящих женщин с машины. Мы все крепко держались друг за друга. Дети испуганно закричали...

– Везите нас в НКВД, – громко требовали наши соседи.

Впервые и мы почувствовали в этом ненавистном нам учреждении возможность какой-то защиты. На шум собралось много народу. Толпа оборванных, грязных колхозников, как нам показалось, со зверскими лицами, обступила обе машины. Женщины поодаль следили за невиданным зрелищем. Долго они что-то кричали на своем гортанном наречии, видимо, не решаясь действовать насилием. Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы не подошел к толпе старый степенный узбек. Его обступили, объясняя, в чем дело. При его появлении все заметно утихло. Он не торопясь стал уговаривать сборище, указывая пальцем куда-то в сторону. Затем, также не спеша, но как власть имущий, закинул обратно задние стенки машины. Дети затихли, мы все облегченно вздохнули. Шоферы с нашими свирепыми узбеками уселись в кабинки, захлопнув за собой дверцы. Куда нас повезут, не в НКВД ли? говорили мы между собой. Сзади толпа, смеясь и разговаривая, расходилась по домам.

Ехали мы недолго, без дороги, не отдаляясь от ручья. Близко, но в стороне от поселка, стоял заброшенный сарай или старый амбар. Тут же недалеко скирды прессованного сена.

Остановились мы перед широко открытой дверью грубо сколоченного строения. Заржавленная железная крыша, окон нет, но высоко по стенам отдушины, пропускающие воздух и свет. Пол земляной, пахнет зерном и соломой. Как видно, и отсюда все вывезено было в прошлом году, думаем мы, но радостно переглядываемся – барак большой, места всем хватит, а до нового урожая еще далеко! Наш узбек после недавней вспышки совершенно успокоился и заговорил с нами почти добродушно.

– Колхоз отсюда за 15 верст, здесь поселок летний, и работают на полях да на огородах.

Сообща мы перетащили вещи, тотчас же и грузовики отъехали, оставив нас одних.

Все мы невольно держались своими привычными группами, но, хотя и не знали никого из вновь прибывших, все же сразу почувствовали доверие и полную солидарность во всем. Явно, что доносчиков среди нас не было и мы друг с другом могли говорить откровенно. Были дети, подростки, были старики, были главным образом женщины, проработавшие, как и мы, много месяцев в колхозах, а потом в разных артелях в Актюбинске. Радость этой первой нашей победы была общая и большая! жить будем вместе! жить будем одни! Но ни с чем несравнимо было то невероятное облегчение, которое мы почувствовали, когда после этого утомительного и необычного дня затих шум отъехавших машин, а поселок нам показался далеко позади с его незнакомыми криками чуждых нам азиатов.

На плотно убитой площадке перед домом старики и дети сложили из камней очаг, повесили над ним котелок для варки супа. Пока женщины приготовляли койки и постели для ночлега, подростки спустились по крутой тропинке к ручью в овраг и нашли там каменный водоем с ключевой водой. Это была наша вторая радость! Уже совсем стемнело, когда мы впервые собрались на нашу общую трапезу. При ней велась и наша первая беседа, никем и ничем не прерываемая, когда мы поверяли друг другу все, что пришлось вынести за это трудное время. Уже потухал огонь, давно уже спали измученные дети, когда мы, усталые и примиренные этой дружеской беседой, улеглись по своим койкам и матрасам.

Нас было 4 большие группы, и каждая из них заняла один из углов сарая. Даже удалось отделиться впоследствии и лишними одеялами. Середина перед дверью была пустая, там вскоре из досок устроили стол и из ящиков скамейки. Моя койка рядом с Вандиной. Вот и НКВД удалось избежать, успела я ей сказать засыпая, а сегодняшний вечер лучше всякого пикника...

Часов в пять нас разбудил стук в дверь. Председатель вызывал всех в контору. Наспех одевшись и захватив с собой хлеба, мы всей группой вышли из барака, оставив детей сторожить вещи. Летняя контора находилась по ту сторону оврага. Было чудесное утро. Показывал дорогу черномазый, лукавый подросток. Сбегая по каменистой, крутой тропинке, мы еле поспевали за ним, переходя вброд прозрачную воду. Сквозь листву начинали пробиваться лучи солнца, освещая яркими бликами отполированные водой разноцветные камни. Тут, в этой чудесной свежести, после голой, выжженной степи мы почувствовали себя в каком-то волшебном оазисе. Зелень, деревья! Глаза отдыхали среди этой зеленой

прохлады просыпающегося дня... Все же задерживаться было невозможно. Мальчишка пропустил нас вперед и вывел на тропинку, тут он показал нам недалеко стоящую хату – летнюю контору. Председатель ждал, а мы, волнуясь, с опаской ожидали первой нашей встречи с ним. Он стоял у дверей конторы. Небольшого роста, сухой, с горбатым носом и скуластым лицом. Приветствовал он нас на русском языке, гостеприимно распахнув перед нами двери хаты и пропустив всех нас вперед. Мы вошли в совершенно пустую комнату: ни стола, ни скамеек, ни обычного счетовода.

– Здорово, с приездом! – оглянул он нас без улыбки. – Распределим сейчас, кого куда. Здесь мы справок о болезни не признаем. Кто может ходить, тот и работать может. Бригады у нас огородные, на току и в колхозе строительные. За скотом мы там ходим сами. По бумагам вас 25 человек, ребят не считаю. – Помолчав, он оглянул нас всех, как бы пересчитывая, но мы все были налицо.

– На огороды кто хочет? 10 человек! Выходи! – Вся наша группа и еще несколько женщин выступили вперед.

– На тока кто хочет, там амбары убирать и чинить надо! Выходи! – Переглянувшись, выступили еще 10 человек из вновь прибывших вчера.

– Остальные пять поедут в колхоз.

Ванда, никогда еще в работах не участвовавшая благодаря своей справке из больницы, растерянно осталась одна, не решаясь примкнуть ни к какой бригаде.

– Нам нужна кухарка, – заступились мы все за нее. – Пусть Ванда готовит на нас всех.

Председатель тотчас согласился, и она поспешила домой к детям. Нас же подоспевшие бригадиры, все старые узбеки, провели к месту работы. Работа нам была знакома, мы ее не боялись и радовались, что мы вместе. К 11-ти часам нас отпустили домой обедать. Общего котла здесь не было, а на работе никто не стоял за нашей спиной, не подгонял и, как будто, за нами не следил. Удивленные этим необычным отношением, мы радостно возвращались домой, обмениваясь впечатлениями.

– Это они вначале нас запугивали, а смотрите, не торопили, не приставали и сами работают с прохладцей! Кто их знает, может быть эти азиаты окажутся гораздо сговорчивее русских колхозников!

Мы, не желая столкновения с ними, приходили в свои бригады, минуя контору, регулярно к шести утра и старались работать на

совесть, кто сколько мог. Сами узбеки тоже, как мы потом увидели, не торопились и часто приходили в бригады много позже нас. На рассвете каждый в своей лачуге сосредоточенно и долго пил свой кирпичный чай, прессованные плитки чайной пудры, который поставлялся правительством в их магазины. Пили они его очень крепким, горячим, приправляя часто маслом или жиром, утаенным от начальства, – они скрывали овечий приплод. Без этой утренней зарядки они работать не могли. Скоро мы узнали, что за чай можно было получить у них даже табак и водку. Их дети и подростки с малых лет шныряли где попало совершенно безнаказанно. Встречались они повсюду, то в колхозе, то по летним хижинам, то по бригадам, урывая где что возможно: то овощи, то горсть зерна, то плохо лежащую тряпку, – и с добычей убегали к себе домой или приходили к нам – менять на вещи. Воровство здесь было стихийное, и нам тоже надо было зорко следить за своими вещами и все запирать на замок. В самую жару, днем, узбеки снова пили чай с пресными ячменными лепешками.

Старики, больные и слабые оставались умирать в колхозе. От лечения в больнице они отказывались, смертность среди них была страшной, и все же это было ничто по сравнению с первыми годами коллективизации, во время подавления многочисленных восстаний. Тут погибали тогда целыми селениями от арестов, ссылок и расправы. Выжившие же, главным образом молодежь, воспитанная в детдомах, постепенно привыкли к новому строю, но работали лениво, довольствуясь чаем, лепешками и приплодом скота. Редко кто из них вступал в партию, еще реже работали в НКВД. Все они жили своей, как нам казалось, замкнутой, нищенской жизнью, сохранив еще кое-что из прошлых традиций. Скоро мы на деле убедились, что жить с ними и работать у них было много легче и свободнее, чем в русских колхозах. Узбеки тоже увидели, что работали мы охотно и не хуже их, что настроены мы против советского строя, как и большинство из них, и стали к нам относиться дружелюбно и даже с жалостью, особенно к детям, которых допускали помогать в бригадах, выдавая им паек в виде муки и овощей, как и нам. Никакого счетоводства мы у них не замечали, ни норм, ни планов, ни трудодней. Все мы, как и они, работали изо дня в день только для прокорма себя и детей. И была в этой системе успокоительная и радостная убежденность в безусловной временности этой жизни. Зимой все эти лачуги пустовали, часть рабочих возвращалась в колхоз, другие уходили на юг или в артели, а дети зачастую попадали в детдома или пополняли знаменитые в то время отряды беспризорных.

К середине июля 1941 года жаркие, сухие, безветренные дни становились для меня все туманнее и туманнее. Слабость, ломота во всем теле, особенно в ногах, и нестерпимая головная боль увеличивались с каждым днем. Что же это? думала я, но перемогалась, ходила на работу, отлеживаясь в обеденный перерыв. В один из таких знойных дней, поля в огороде грядки, я почувствовала такой явный озноб, что сами узбеки отправили меня с Марысей домой. Малярия, думала я, завтра пройдет. Но с этого дня я уже слегла надолго. Упорно с каждым днем жар поднимался все выше и выше. Марыся проверяла ежедневно по градуснику, привезенному ею из Новогрудка. Ни доктора, ни лекарств, конечно, не было, но зато я чувствовала себя окруженной такой неустанной заботой и трогательной любовью, что до сих пор вспоминаю это время с нежностью и бесконечной благодарностью. Говорили потом, что я теряла сознание, но самой мне казалось, что я жила интенсивно, видя и понимая все происходящее вокруг.

Правда, сны того времени часто сливались с действительностью. До сих пор запомнился один из них. Видела я нашу степь, но она казалась во сне несравненно красивей, серебром отливала высокая трава, степь сливалась с сизым горизонтом, переходящим в небо. Колышутся высокие травы, и среди этого мерного колыхания, как среди безбрежного волнующегося моря, вижу я неподвижной точкой свою могилу. Страха не было, но чувствовала я себя как бы раздвоенной – там, в тишине и мире, и здесь, среди людей и житейского шума. Мерно, настойчиво и тихо повторялось ласковое предостережение: "Если хочешь умереть спокойно и легко, не сопротивляйся, отдайся смерти покорно и безропотно". И снова шелестит трава, и не знаю, слова это или шелест! Снова и снова бесшумно пригибаются от тихого ветра пушистые хвосты степного ковыля. Это волнистое колыхание убаюкивает меня, и я наконец проваливаюсь в небытие.

Раза два-три я совсем приходила в себя. Однажды утром проснулась, как от глубокого сна. Смотрю, дверь широко открыта, вся площадка перед домом залита нестерпимо ярким солнцем. Марыся рядом, меняет мне компрессы на голове. У дверей стоят сочувствующие узбечки с младенцами на руках. Вот входит председатель, я его узнаю! он остановился в дверях.

– Еще жива? – спросил он Марысю.

Она, не отвечая, выводит его на площадку, а я снова впадаю в полусон... Просыпаюсь к вечеру от движения вокруг. Наши вернулись с работы, сели ужинать у очага, сидя на земле, поджав ноги. Как узбеки, проносится в голове. Многие заходят, останавливаются

у моей койки. Тихо, детям в доме шуметь и бегать запрещено. После ужина, в сумерки, когда чуть тлеют угольки, все собираются у самодельного стола посередине барака. Полумрак сгущается, маленькие дети уже спят, кто-то по очереди читает молитвы, и после каждого стиха: "Матерь Божья, моли Бога о нас тераз и в годину смерти нашей. Амен". Они так часто и так долго повторяют эти слова, что и у меня они непроизвольно повторяются в голове, как бы сами собой, и запоминаются на всю жизнь. А с ними – невесомая радость!..

Проходят дни и ночи, ничем не отличаясь друг от друга, и слились они для меня в непрерывную нить. Дверь на ночь теперь не закрывалась, душно, с ранним утром ночная прохлада проникает и в наш уснувший барак. Проснувшись однажды ночью, я позвала Марысю.

– Я, кажется, давно болею, – говорю я ей и сама удивляюсь своему еле слышному голосу. – Отвезите меня в больницу, слишком трудно вам здесь со мной!

Опять забылась, и снова докучают сны, а иногда погружаюсь и в какой-то отдохновительный провал, когда не чувствуешь больше этой мучительной головной боли. Просыпаюсь утром, и снова Марыся около меня, а мне кажется – я продолжаю с ней мой ночной разговор.

– За чай свезут! – договорила я ей свою мысль. Мне больница тогда действительно казалась выходом из положения и спасением.

К рассвету следующего дня все уже было налажено. Заехал за мною узбек с телегой. На тюфяке меня снесли и уложили на телегу, когда еще все спали. Марыся и Клара сопровождали меня, да Ванда, плача, провожала нас, стоя у дверей. Мы медленно двинулись в путь. Долго ехали шагом по узкой проселочной дороге. Я пришла в себя еще в пути и с наслаждением вдыхала чудесный воздух предутренней зари, смотрела на алеющий восток, и была в душе у меня радость. И казалось мне, что теперь все пойдет к лучшему и я снова со всеми начну работать, что мне представлялось счастьем. Все бы и сейчас было хорошо, думала я, если бы не эта ужасающая головная боль и стук в висках! Казалось мне, что боль эта пригвождает мою голову к подушке и не дает возможности ни повернуть, ни приподнять ее. Рядом Марыся и Клара уютно дремлют после бессонной ночи. К утру и меня, к счастью, укачало, и я проснулась только от внезапного толчка. Это ближайший от нас поселок – Кос-Истэк, со школой, больницей, управлением НКВД и железнодорожной станцией. Мы стоим у заново выбеленного

здания, улица пустынна, еще очень рано, и мы долго ждем, пока дверь наконец открывается и выходит оттуда человек в белом халате. У дверей он один, но, направляясь ко мне, вдруг, как в зеркале, раздвоился, и я отчетливо вижу двух совершенно одинаковых людей с одинаковыми лицами, одинаковыми жестами, с одинаковой, слегка раскачивающейся походкой. Это было так необычно, что я даже не испугалась, а только очень удивилась.

Что это, бред? думаю я, и проверяю себя на других. Вот вышла Марыся, вот Клара, и с ними происходит то же самое, а от яркого солнца больно глазам, и я их устало закрываю... Когда стало уже сильно припекать, меня наконец перенесли на носилках в прохладную приемную, уложили на жесткий клеенчатый диван, который мне на минуту показался ледяным. Потом снова забытье...

Очнулась я от прикосновения к моей руке. Передо мной на стуле сидел доктор, по наружности молодой еврей, в очках и белом халате. Вокруг еще какие-то люди, больно глазам от яркого света белых стен, мутит от острого запаха краски и карболки.

— Вы понимаете меня? — спрашивает доктор.

— Да, конечно, — удивляюсь я его вопросу, но почему-то я издали всех вижу удвоенными, а когда они подходят ближе, то снова сливаются в одиночек. Доктор мне не ответил. Он отошел к Марысе, которая стояла у окна, вытирая слезы.

— У нее сыпняк! — доносится до меня. — Я не могу ее принять. У нас для заразных еще и помещения нет, идет ремонт.

Он помолчал.

— У нее, вы сами видите, уже мозговые явления, а у нас и персонала нет.

Марыся и подоспевшая Клара долго его уговаривали, но он оставался непреклонным и наконец, уже с раздражением, решительно отказал, а я мучительно прислушивалась к его словам.

— О ваших условиях можете мне не рассказывать, сам хорошо знаю, какие это поселки, и тамошние условия мне знакомы. Если всех буду принимать оттуда, у меня только одни заразные и будут. Вот все, что могу сделать, дайте ей от головной боли! — и он достал из шкапа и передал Марысе несколько таблеток аспирина.

Не помню, как меня снова положили на телегу и шагом повезли обратно. От зноя и назойливых мух меня закрыли с головой, я очнулась от сильного жара и духоты. Все сразу вспомнилось: и больница, и доктор, и его жесткие слова, и удвоенные фигуры

двигающихся людей, и плачущая Марыся у окна. Сейчас обе они сидели на телеге с каменными лицами и смотрели не мигая на выжженную зноем степь, на убранные почерневшие поля, на бесконечную пыльную дорогу. Смотрю я тоже. Вот стая птиц подбирает зерна на полях. Не сеют и не жнут! мелькает в голове. Вот кое-где еще идет работа. Встречаются нагруженные сеном и соломой возы, и тогда тучей поднимаются испуганные птицы, и долго и медленно опускается в безветренном воздухе облако желтой пыли... Вся эта жизнь, пусть тяжелая, пусть безрадостная, кажется мне теперь бесконечно ценной и дорогой.

Вот оно, дно, охватывает меня страх и безнадежная мысль о будущем, и непроизвольные слезы стекают по моему лицу...

– Скоро приедем, – стараются подбодрить меня наши, – вот уже и наша бригада на току, теперь всего пять верст осталось!

Действительно, у самой дороги стучит молотилка. Ее шум все сильнее и сильнее отдается у меня в голове! Въезжаем в густое облако едкой пыли. Жарко, пыль разъедает и без того воспаленные глаза. Снова меня закрывают с головой, становится невыносимо трудно дышать. Вдруг резкий толчок. Я испуганно откидываю простыню. Это подоспевший бригадир внезапно схватил нашу лошадь под уздцы и остановил ее. Вокруг сбегаются колхозники, наши стоят поодаль.

– Айда, слезай! – кричит бригадир над моей головой. – Подвода нужна, не на чем сено возить!

Возмущенные Марыся, Клара и подоспевшие наши уговаривают его.

– Да дайте же довезти больную, не приняли ее в больницу.

– Ничего, ночью довезешь. Пусть здесь полежит, подвода нужна!

– Живодеры! – кричит Марыся по-польски и на ломаном русском языке. – Подождите, у меня чай есть, настоящий, не ваш кирпичный. Дам каждому по щепотке, а подводу доставим вам засветло.

Узбеки остановились переглядываясь. Была для нас всех тягостная минута замешательства... Соблазн был велик!

– Ладно уж, – выступил вперед бригадир. – Да смотри, чтоб подводу не задерживать!

Он первый получил двойную порцию. Потом подходили по очереди, каждый тщательно завертывал свою щепотку в узелок головного или шейного платка. Толпа удовлетворенно разошлась, наши сочувственно постояли, пока мы не двинулись в путь.

Снова мы на дороге одни. Чуть успела рассеяться оседающая пыль в безветренном воздухе, как опять застучала смолкнувшая

было молотилка. Отстояли, думаю я с облегчением. Снова дома, на моей кровати, со своими, в тишине и мире, а там дальше – что Бог даст! Зной спадает, легкий ветерок обвевает вспотевшее лицо. Очнулась я уже у нашего барака. Смотрю – дверь открыта настежь, многие вернулись с работы, горит очаг, вокруг снуют дети. Увидев нашу медленно подъезжающую подводу, подбежали они и, пораженные, остановились. Осторожно, в полном молчании перенесли меня на мою еще не унесенную кровать. Со слов доктора все были уверены в моей неминуемой и скорой смерти. Напоили меня сладким до приторности чаем. Откуда столько сахара? мелькает в голове, но задумываться и спросить нет сил. Около барака все стихло. Дети, поужинав со взрослыми у очага, бесшумно легли спать. Уже поздно, но не сплю, взбудораженная необычным днем. Взошла луна и маячат от ветра темные силуэты кустов у ручья. Очаг потухает, и только временами разгораются и долго светятся отдельные угольки в темноте... Идут там вокруг них вечерние беседы, но и они постепенно затихли. Как и каждый вечер перед сном, собрались все в бараке у стола. Сели молча. Я различаю теперь тихое бормотание вечерней молитвы, и после каждого стиха – все вместе: "Матка Боска, моли Бога о нас тераз и в годину смерти нашей. Амен". И еще, и еще! Успокоительна эта их общая молитва после утомительного тяжелого дня, убогого ужина, вдалеке от близких и родных, и поднимается у меня к ним в душе бесконечная благодарность и нежность! Улыбаюсь. И под мерный ритм их молитвы я незаметно впадаю в забытье...

Ночью я вдруг проснулась, как от сильной встряски. Темно! Около меня Марыся. Сознание у меня ясное, но все горит, и острой болью голова как бы прикована к подушке.

– Марыся, – шепчу я, – мне кажется, что я выздоровею, если мне поставить к голове пиявки! Очень болит затылок и стучит в висках.

– Может быть, может быть, – озабоченно отвечает она, – это должно помочь несомненно, да и кризис вероятно уж скоро!

Дальше я снова ничего не помню, я очнулась только утром от света, бившего прямо в глаза. Дверь открыта, солнце уже высоко, в бараке пусто, дети, верно, у ручья. Входят Марыся, Ванда и Мария. Все трое какие-то праздничные, радостные... наклоняются ко мне, улыбаются...

– Вы поправитесь, поправитесь! – взволнованно шепчет Ванда. – Всю ночь Марыся с Марией при луне искали пиявок, прошли далеко вдоль ручья и нашли много! Смотрите, в тазу!

А у меня туман в голове, я плохо понимаю, что случилось и отчего они так радуются. Марыся умело приставила пиявки за ушами, меняла их несколько раз. Как это ни удивительно, но я почти сразу почувствовала огромное облегчение. Сперва прекратился стук в висках, потом постепенно стала затихать боль в затылке. И, как поднимается завеса, начало проясняться сознание, рассеиваться туман. Вот уже ясно слышу их голоса, вижу их внимательные лица, как озабоченно Ванда мне готовит приторный чай. Говорить не могу, охватывает блаженная слабость без боли, и я закрываю глаза. Из ложечки мне все дают и дают сладкий чай. Дальше я ничего не помню.

В этот же день, к вечеру, резко спал жар. Был ли это кризис, или пиявки помогли, или вымолили меня у Божьей Матери мои трогательные сожительницы, но с этого дня я стала заметно поправляться. Я не сомневалась ни минуты, что без их помощи и заботы лежала бы я безымянной точкой в степи Узбекистана. Помню это всегда и везде, и, конечно, нет слов, чтобы выразить им мою благодарность и любовь.

Долго еще я чувствовала невероятную слабость и ходить без посторонней помощи не могла, но все же дней через десять выходила уже и одна, держась за стенки, а потом, с помощью детей или Ванды, спускалась на целый день к ручью. Здесь в самый зной прохладно, часами я смотрела на струящуюся воду, пробивающуюся по камням у самых моих ног, на головастиков, играющих в воде, на отражение кустов и неба и на внезапную рябь при малейшем дуновении ветерка. Помню, как радостно мне было слышать каждый звук, напоминающий о присутствии жизни – пение птиц, возня прибегающих детей, тихий разговор Ванды у очага, шелест еще зеленой листвы...

Вот смотрю – разводят огонь, занимается пламя в очаге, красные языки пламени лижут низко висящий котелок, а под ним сизый дым, пронизанный солнечным лучом. Он то и дело меняет окраску и направление, то мягко стелется по земле, то взвивается вверх, то расплывается сизыми клубами, а когда замирает ветер и воздух неподвижен, вдруг поднимается он вверх, как струя фонтана. И, наблюдая за ним, думаю: как странно, что балет никогда не использовал эти удивительные по красоте движения дыма! Эту редкую пластичность, окраску и причудливый ритм.

Кто вставал после тяжелой болезни, знает, как, несмотря на слабость, все существо охвачено небывалой радостью возвращения к жизни и в каждом проявлении ее чувствуется новый глубокий смысл и значение.

Возвратились с работы. Прячась от зноя, все обедают в бараке, а мне дети приносят мою порцию к ручью, и тут для меня снова открытие – наш однообразный, скудный обед мне кажется необыкновенно вкусным, и я съедаю все без остатка. По вечерам я ужинаю со всеми у очага. Тут до глубокой ночи, при потухающем огне, приобщаюсь к общей жизни и с замиранием сердца слушаю о том, что произошло за время моей болезни. Слушаю и пораженная думаю: "Господи! наяву это или во сне!" При этих рассказах было ощущение, что как бы разорвалась завеса, отделявшая нас от внешнего мира, нашего мира, прежнего! И неожиданно раскрылись реальные возможности скорого избавления, о котором еще так недавно мы и мечтать не смели!

Не только я, пролежавшая месяц в тифу, но и все долго еще не верили и не вполне сознавали, что положение поляков уже с начала августа 1941 года радикально изменилось. В эту небывалую и сказочную смену событий меня вводили постепенно. Так я узнала, что генерал Андерс из Польши, как и другие офицеры, взятые в плен, был переведен в Россию. Часть кадровых офицеров попала в Козельск и Старобельск, часть, как сам Андерс, – в Москву. Многие из них были потом высланы в дальние лагеря, на север, на Колыму, в Караганду... Сам же Андерс попал сперва в Бутырки, а потом, в начале августа 41 года, в Лубянскую тюрьму.

До революции это была обыкновенная гостиница, потом ее переделали в тюрьму, она была окружена, как крепостью, зданиями НКВД. Репутация у нее была мрачная, одно слово "Лубянка" заставляло людей трепетать в ожидании пыток и расстрелов. Сидел здесь Андерс в одиночной камере, еще больной от пережитого за эти месяцы – холода, голода и грязи в предыдущих тюрьмах. Здесь же было относительно тепло и чисто. Андерс был истощен до крайности и после своего ранения ходил еще на костылях. Как и все заключенные, он не знал, что происходит в мире, но по перестукиванию с соседями и судя по более сдержанным и все менее грубым допросам, он чувствовал какую-то несомненную перемену к лучшему. Трудно себе представить, что должен он был ощущать, когда после 20-месячного заключения, издевательства, лишений и болезни – его не только освобождают, но со дня на день дают квартиру, денщиков, деньги и возмещение за "случайно затерянные вещи", выдают польскую форму и по приказу премьер-министра в Лондоне, генерала Сикорского, назначают с согласия Советов – главнокомандующим еще не существующей польской армии.

— Какой армии, откуда? — спрашиваю я, пораженная этим известием.

— Армия эта уже формируется на советской территории из заключенных по тюрьмам и лагерям, недавних "врагов народа", наших поляков, взятых в плен или вывезенных из Польши в 39 году.

Как это возможно? говорили мы между собой, и радуясь, и не веря этим сказочным слухам. А слухи ползли и ползли. Впервые мы тут услыхали об амнистии. Откуда эти слухи? Никем не проверенные, они повергали нас всех в смятение и беспокойство.

Уж не провокация ли это? с опаской говорили мы. Чтобы найти предлог и при неповиновении запрятать нас еще куда-нибудь подальше?

Не зная, как на это реагировать, все работали по-прежнему, кроме Ванды и меня.

От узбеков за это время мы узнали, что в июне 1941 года немцам удалось за первые три недели наступления пройти от Белостока до Смоленска — 450 километров, что через Балтийские провинции с августа они наступают на Ленинград, а на юге через Днепр на Киев.

— Сдаются, сдаются советские армии, — говорили они шепотом, — сдаются целыми дивизиями, а гражданское население им во всем помогает! Увидите, скоро конец! — и в голосе их звучала тайная радость и скрытая надежда. Мы слушаем, но молчим, наученные опытом, боимся провокации.

К концу августа стали доходить и противоречивые известия. Это были страшные вести, принесенные беженцами с запада. Узбеки недоверчиво слушали и молчали. Теперь они боялись провокации, но все мы не могли не чувствовать в этих вестях искренность и правду и растерянно обсуждали слухи между собой.

"Теперь не то, — рассказывали беженцы, — наши больше не сдаются, как в начале, дают отпор! Узнали все, что немцы вывозят русских в Германию. Там их принуждают работать и обращаются как со скотом. Всем известно стало теперь, что такое "новый порядок", немцы призывают к уничтожению вредного Германии элемента, то есть евреев, славянской интеллигенции и, конечно, коммунистов. Наша армия, да и гражданское население, теперь поняли, с кем имеют дело, и по всему фронту началось серьезное сопротивление. Мы ожидали другого, — говорили некоторые, — думали — только строй наш им не по душе, а не сам народ!"

Слушая их, мы верили и не верили. Со временем слова их все более и более подтверждались толпами бегущих с запада.

Невозможно описать весь ужас, пережитый во время войны евреями, поляками и русскими, которые по наивности сдались им добровольно! Много об этом говорили впоследствии и писали, но кто-то умный, не помню кто, сказал: "La statistique ne saigne pas, c'est les détails qui comptent".

Вот эти-то ежедневные жизненные мелочи, из которых состояла наша жизнь в эти годы, мелочи, с которыми мы ежечасно сталкивались, воочию нас убедили, насколько это верно.

В конце августа кто-то нам прислал по почте старую русскую газету. Мы впервые с волнением прочитали официальное сообщение, что 14 августа 1941 года состоялось польско-советское соглашение о создании польской армии на советской территории, для общей борьбы против Германии. Об амнистии ни слова, но слухи о ней продолжались упорно, от нас же все это намеренно скрывалось, в сентябре мы еще продолжали работать, чтобы прокормиться. Газет на русском языке не было, радио тоже, и мы, в смятении и беспокойстве, не знали, что предпринять. В это тревожное время поляки были разбросаны по всей обширной России, они работали на Украине, на Кубани, на Северном Кавказе, в Башкирии, Казахстане, не считая заключенных по лагерям и тюрьмам.

Постепенно все же наш барак пустел. Было еще несколько заболеваний сыпным тифом, но, по распоряжению свыше, тяжелобольных отправляли в больницу в Кос-Истэк.

Наконец, в начале сентября пришла к нам целая партия усталых, оборванных, загорелых польских женщин с котомками за плечами. Они вышли из своих колхозов в августе, а к ним по дороге примыкали поляки из ближайших поселков. Все пешком направлялись в Кос-Истэк к железнодорожной станции, к управлению НКВД. Это они первые наконец подтвердили нам никем до сих пор не проверенные слухи об амнистии.

Да, это правда! Еще в июне 1941 года генерал Сикорский в Лондоне добился, при поддержке Англии и Америки, полной амнистии всем полякам, вывезенным в 1939 году из Польши. Из тюрем и лагерей уже сейчас толпами возвращаются поляки в Москву и другие города. Они осаждают советские учреждения, т.к. их не постеснялись выпустить в ужасном виде, они голодны, босы и раздеты. У них даровой проезд по железной дороге, но они не знают языка, поэтому им приходится очень трудно. Часто они не попадают в польский штаб в Бузулуке, а скитаются по городам, ища помощи и совета. А тут еще ходят слухи, что среди выпущенных почти нет кадровых офи́церов. Говорят, их было больше десяти

тысяч вывезено в Козельск, Старобельск и Осташов. О них теперь идут запросы и из нашего штаба, и из Англии, но пока ничего не известно.

Для большинства наших женщин это известие было большой трагедией. Марыся, Мария и Клара, да и многие другие в нашем бараке, были жены кадровых офицеров. В эти тревожные дни на работу никто не ходил. Слушали мы то с радостью, то с ужасом рассказы о лагерниках и о Бузулуке. В штабе генерал Андерс принимает и размещает босых и оборванных скелетов, часто больных и истощенных до крайности.

– Господи, да где же они помещаются? – допытывались мы.

– Пока просто в лесу, в палатках, и говорят, что снабжение еще не дошло, но они все же получают пайки, хотя и пониженные до минимума, но после тюремного и лагерного режима и это им кажется достаточным!

Все эти рассказы взбудоражили весь наш барак. Многие, особенно бездетные, собрались во что бы то ни стало бежать в Кос-Истэк. Все это обсуждалось взволнованно и шумно на наших, теперь общих, трапезах. Через несколько дней отдохнувшая партия женщин, выкупавшись и постирав белье, двинулась в путь. Наш же барак стал заметно пустеть. Узбеки были этим обеспокоены, мы им были еще нужны, и они упорно делали вид, что об амнистии ничего не слышали.

Работать при этих условиях становилось невыносимо. Все чаще и чаще мы манкировали, и только голод заставлял нас тянуть эту лямку. С каждым днем чаще встречали мы вереницы женщин, стариков и детей с котомками за плечами. Останавливаясь у нас переночевать и отдохнуть, они горячо настаивали, чтобы и мы присоединились к ним.

– Бросайте работу, требуйте свои документы, – говорили они, – любыми средствами добирайтесь до Кос-Истэка. Там НКВД обязано вам дать "удостоверение" о том, что вы действительно вывезены из Польши в 39 и 40 годах. Оттуда надо ехать в Актюбинск или прямо в Бузулук. Туда теперь принимают и женщин. Да знаете ли вы, что с севера ежедневно приезжают наши целыми толпами. Останавливаются в городах, где просят помощи или указаний, а им часто, вместо того, чтобы направлять в наш штаб, намеренно советуют ехать на Ташкент. А на юге неслыханный голод и эпидемии, и они, спасаясь, едут дальше, в Туркестан, где можно работать, собирая хлопок. Нам необходимо встречать эти эшелоны и помогать им добираться до Бузулука.

– Я еду с вами, – вскочила Ванда, – нельзя нам дальше оставаться здесь.

С большим трудом удалось нам уговорить ее не разъединяться, ни она, ни я не смогли бы пройти пешком 40 километров до Кос-Истэка. Решили поговорить с председателем и за чай получить наши паспорта и подводу на ближайшую ночь.

На следующий день все было улажено, наскоро собрали вещи, уложились и устроили последнюю общую прощальную трапезу. Она прошла суетливо и тревожно. В бараке было несколько случаев сыпного тифа, теперь больных отвозили в больницу по требованию властей. Оставшиеся в тревоге тоже собирались покинуть наш барак, теперь такой неуютный и заброшенный, чтобы выехать ночью.

Было темно и тихо, когда старый узбек заехал за нами в наш барак. Вещей немного, нас пятеро, да четыре девочки, все мы уместились в большой телеге. Девочки спали, мы же сидели молча, со страхом ожидая, что нас еще могут остановить под предлогом, что подвода им нужна... Едем шагом, кое-где лают собаки, но вот мы наконец выехали и наш поселок остался далеко позади. Странное это было чувство – непривычной свободы, да и преследовать нас уже, казалось, незачем. Мы уже не враги, а союзники! Ощущение это было болезненно остро, и нам казалось тогда, что это окончание всех наших невзгод и бедствий. Взошла луна, а мы сидели как завороженные, молча переживая прошедшее, чудодейственное настоящее и неясную надежду на светлое будущее.

– Ведь это чудо! чудо! – все повторяла Ванда со слезами в голосе, и мы улыбались в темноту, держа друг друга за руки, как бы боясь разомкнуть этот круг, соединяющий нас в одном порыве любви и дружбы.

Еще не рассветало, когда мы подъехали к Кос-Истэку. Едем рысью вдоль спящих улиц. Редко где встречались запоздавшие пешеходы, огни везде потушены. Подъезжаем к управлению НКВД. Тут, как видно, и их ночная работа закончилась. Только в одном окне за матовым стеклом виден яркий свет электрической лампы. Долго нам еще пришлось сидеть на краю пустынного тротуара. Узбек, наш возница, боясь ответственности, давно поспешил обратно – поспеет к утру и все останется шито-крыто...

Постепенно небо начинает светлеть, луна и звезды бледнее. Слышны какие-то гудки, прогромыхал где-то недалеко длинный состав, наконец, начинает просыпаться и город. В окнах кое-где

зажигаются огни. Выходят люди, спешат куда-то по широким, все еще пустынным улицам, проезжают подводы и нагруженные грузовики. Когда стало совсем светло, вышел к нам из управления НКВД милиционер и, узнав, кто мы, пропустил по одной в приемную. Каждую держат долго; уже все прошли и получили "удостоверение", драгоценный документ, за которым, мы знаем, охотились все желающие бежать из Советского Союза; за него готовы были дать большие деньги. Все знали, что эта невзрачная бумажка, которую мы, сидя на своих вещах, тщательно рассматриваем, дарит нам свободу, а может быть и право выехать за границу. Фотографии на ней нет, только всемогущая подпись и печать НКВД!

Пришла, наконец, и моя очередь. Вхожу в приемную с замиранием сердца. Здесь сейчас уже и посторонние люди, и мне приходится ждать. Передаю свой паспорт, милиционер его уносит в заветную дверь. Меня вызывают. Знаю теперь, как люди, войдя туда, исчезают иногда бесследно, и невольно сердце сжимается от одной этой мысли.

Вхожу, передо мной за столом сидит молодой энкаведист в военной форме, в руках держит мой паспорт, внимательно и долго изучает его. Потом, усмехнувшись и посмотрев мне в глаза, иронически произносит, откинувшись на спинку стула:

– Ну, будем говорить серьезно. Какая же вы полька? Курам на смех. Родились в России, там же, верно, и учились, православная, по-русски говорите, наверно, не хуже меня. Жили в нашей Белоруссии, оставайтесь у нас. Амнистию вы получите, право жительства мы вам дадим в любом городе, кроме Москвы и Ленинграда, работать будете как полноправная гражданка.

Он замолчал, вопросительно глядя на меня. Знаю я это полноправие, с ужасом думаю я.

– У меня муж и дети за границей, – придушенным, не своим голосом отвечаю я.

Спорил он со мной долго, стараясь убедить, что я здесь снова обрету родину.

– Если вы не выдадите мне документа, удостоверяющего, что я в 39 году была вывезена из Польши, то у меня никакого другого документа не будет! Добровольно я не могу согласиться принять советский паспорт, когда мой муж и дети – поляки. Сами видите, – добавила я, – что я польская подданная!

Он молчал, слушая меня, и еще раз просмотрел мой польский документ. Зачем они насильно удерживают у себя людей, недоумевала я про себя. Для чего им это может быть нужно?

– У меня дети в Америке и во Франции, если они узнают, что меня задержали в Советском Союзе, что явно против договора, который вы подписали, они сделают запрос и будут хлопотать.

В это время советская армия крайне нуждалась в помощи и зависела в этом отношении от Америки и Англии, которые ее снабжали всем необходимым. Ссориться с ними из-за пустяков Советы не будут, так думала я, выставляя этот аргумент. Думала очень наивно, т.к., независимо ни от чего, люди, свои и иностранцы, в СССР пропадали бесследно. Неохотно, улыбаясь про себя моим глупым речам, энкаведист все же выдал мне "удостоверение", обеспечивающее возможность выезда из Советского Союза.

Господи, пронесло, думала я, спеша к нашим. Они сидели, поджидая меня, удивляясь моему долгому отсутствию.

Деньги у меня еще были, и мы, забрав вещи, перетащили их на вокзал. Железнодорожная станция недалеко, большинство вещей сдали в багаж, вскладчину купили билеты до Актюбинска и расположились на перроне в ожидании поезда. В это военное время поезда, даже местные, ходили нерегулярно. То и дело вне очереди пропускали военные эшелоны, товарные поезда и платформы, нагруженные машинами и покрытые брезентом. Наконец, после нескольких часов томительного ожидания, подали и местный пассажирский. Он тоже был переполнен солдатами и мешочниками, приехавшими за провизией в поселки и колхозы. После долгих усилий и толкотни, нам все же удалось втиснуться в разные переполненные до отказа вагоны.

Ехали мы все, конечно, стоя, но с новым удивительным чувством, что мы полноправные граждане и пассажиры, как и все здесь, с билетами и с советскими документами, дающими нам право на свободную жизнь. Не дай Бог этот документ потерять. В нем недвусмысленно указано, что он не возобновляется, а наши польские паспорта отобраны НКВД.

До Актюбинска оказалось недалеко, всего часа три, и по дороге, стоя у окна, мы с радостным чувством пролетали станции, полустанки и выжженную солнцем степь, казавшуюся нам теперь оставленной навсегда позади.

Приехали мы около пяти часов дня. Тут нам всем уже все знакомо. Оставив Клару и детей с вещами на станции, мы пошли по старым адресам искать себе пристанище и работу. В Советском Союзе найти работу действительно было не трудно. Марысю и Ванду снова приняли в больницу, Клара и Мария устроились

вместе в двух небольших комнатах, заплатив за это вещами пана Юзефа. Обеих их снова приняли в швейную мастерскую, которая теперь работала на армию. Я поселилась у Аграфены Ивановны. На следующий день написала дяде Жюлю в Москву, сообщая последние события и свой адрес.

Случается, что и счастье, как и несчастье, приходит какими-то волнами! Не прошло и трех дней, как я получила от него телеграмму. "Лева сообщает Поль сентябре здоровый бодрый покинул больницу живет с Мишей радуюсь целую Жюль". Лева, его брат, профессор консерватории в Цинциннати, в Соединенных Штатах, прислал нам это первое, конкретное, радостное известие о Поле! Он жив, здоров и свободен. Касается это известие и Сережи, сына его, который, переехав в Америку, жил у дяди Левы и учился у него в консерватории. Не я одна ликовала, но и наши, все были поражены и обрадованы. Они тоже теперь могли ожидать известий, и даже со дня на день свиданий со своими близкими и родными. Жизнь нам всем стала казаться прекрасной и полной смысла. Есть для кого жить, есть для чего работать, как бы это ни было тяжело и трудно.

Ванда повеселела.

– Смотрите, Марья-то Глухая все правду нам рассказала! увидите, увидите, все сбудется, муж приедет, я просто в этом не сомневаюсь! а как нам это казалось невозможным!

Действительно, наша надежда этих лет перешла теперь в уверенность встретиться, увидеться, зажить прежней жизнью, полной счастья, любви и радости – счастья иного, любви более глубокой, радости более сознательной.

Мы не подозревали, что наряду со счастливыми событиями, так внезапно изменившими нашу жизнь, всем нам предстояло пережить еще немало испытаний, но уже одно сознание, что Поля жив и вместе с Мишей, преобладало надо всем и давало силы и желание бороться до конца.

Глава 6

ДЕЛЕГАТУРА.

Сентябрь 1941 года приходил к концу. В эту вторую, такую памятную нам годовщину, все мы собрались вечером у Марии и Клары. Повзрослевшие девочки уже участвовали в нашем ужине и принимали участие в разговорах и воспоминаниях. Мы все вместе обсуждали наше теперешнее положение.

За эти последние три месяца со дня объявления войны Актюбинск сильно изменился. Привилегированность одних и гнетущая нищета других бросались в глаза сильнее прежнего. Позакрывались и те немногие лавки, которые были, пустовали базары, у немногих потребительских магазинов до рассвета устанавливались длинные очереди. Ярким контрастом выделялись сытые лица военных и местной администрации. Во всей жизни города чувствовалось напряженное беспокойство, которое передавалось и нам. Закрыли свои двери кино и театр, приезжие труппы выступали только в казармах и армейских клубах, в заброшенном городском саду позакрывались киоски с нарзаном и лимонадом и затих смех молодежи и детей. Посещался сад только мрачными, молчаливыми обывателями, ожидающими сводки последних новостей. Известия эти тоже были отрывисты и неясны. Их недоговоренность и лаконичность оставляли у всех нарастающее чувство страха и неуверенности в завтрашнем дне. Так услыхали мы, что 1 сентября Ворошилов и Буденный, герои Красной армии, но и знаменитые своим умением подавлять восстания, сняты с командования и, по официальной версии, посланы на Урал для формирования резервов. По городу же ходили слухи, что посланы они для наведения порядка и мобилизации среди народностей, не внушавших доверия советской власти. Это касалось в первую голову узбеков, киргизов, татар, казахов, украинцев и кавказцев. Мобилизованные их отряды тут же отправлялись на передовые позиции. Оружие им выдавалось

в последнюю минуту. За ними, глухой стеной, шли по пятам так называемые "заградительные отряды".

Главное же наше волнение, заботы и внимание были обращены на все большее и большее наводнение Актюбинска поляками. Осенью 1941 года они прибывали толпами из тюрем и лагерей, приезжали отовсюду, с крайнего севера, из Караганды, из местных поселков и колхозов. Среди них, конечно, было больше всего мужчин, но встречались и женщины и дети. Оборванные, голодные, почти все безработные, бродили они по городу, осаждая советские учреждения, где надеялись найти убежище и защиту. Не зная языка, не понимая, что происходит, многие из них не знали, как получить необходимые "удостоверения", они были на краю отчаяния. Тут-то зачастую Советы действительно отправляли их не в штаб польской армии, а на юг, в Туркестан, а оттуда голод и эпидемии гнали их дальше на работы по сбору хлопка. Мало кому удалось впоследствии оттуда вернуться. В ужасе от этих слухов, мы группами, не сговариваясь, тоже бродили по городу, встречаясь то в городском саду, то на станции, то на площади перед вокзалом. Здесь мы делились последними новостями и обсуждали наше теперешнее положение после амнистии.

Несмотря на сентябрь, дни стояли жаркие. Вокзальная площадь была обсажена тенистыми деревьями, под ними скамейки, место отдыха снующих по городу поляков. В центре ее – небольшой сквер, который постепенно обратился в ночлежку под открытым небом. Здесь же и клуб, тут они отдыхают, лежа на земле, тут едят, тут обсуждают свое положение.

Мы все с ужасом всматриваемся в эти испитые лица, в эти истощенные растерянные фигуры, только что вырвавшиеся из тюрем и лагерей, надеясь найти среди них знакомое или близкое лицо, сознавая при этом бессилие помочь им. Все свободное время Ванда проводила тут, ища мужа и расспрашивая о нем.

Власти нас не преследовали, но и не помогали. Они намеренно как бы не замечали нашего присутствия; это тупое равнодушие было нам бесконечно обидно и вновь возбуждало недоверие и страх. Было ясно, что так продолжаться не может. Спас положение один поляк. Он недавно приехал со своим сыном и женой из какого-то местного колхоза. Мы все его неоднократно встречали то на станции, то на площади внимательно выслушивающим рассказы лагерников. Часто и с нами он вел длинные беседы и сумел внушить к себе доверие. Станислав Критский, так его звали, был на редкость обаятельным и культурным человеком. До войны с большевиками в 20-ых годах он проживал в Австрии, где занимал

высокий пост при австрийском правительстве. Вывезен он был из Львова в 39 году и не попал в лагерь как уже немолодой инвалид, не занимавший к приходу большевиков никакой должности.

Однажды, встретившись с нами, он нам сообщил, что едет в Бузулук к генералу Андерсу за инструкциями.

Через неделю, в начале октября, он вернулся в Актюбинск и решительно взял польские дела в свои руки. Начал он с того, что обратился за помощью в НКВД. Побывав в штабе, он был теперь хорошо осведомлен о том, что происходит на фронте, в Лондоне и в оккупированной немцами Польше. Знал он также наши права и все, что касается польско-советских договоров последнего времени.

– Для вас же лучше помочь нам, – убеждал он НКВД. – Ваше население постоянно встречается с прибывающими сюда лагерниками, видит их изнурение и нищету. Дайте нам помещение, где мы могли бы ими заняться сами и избавили бы вас от этой ночлежки под открытым небом.

К нашему удивлению, НКВД охотно пошло навстречу. Они реквизировали огромное помещение кинематографа, доставили койки и сенники и обязались выдавать боны на хлеб и баню. Недалеко от вокзала они предоставили нам также барак из трех комнат для регистрации приезжающих, о которых мы, со своей стороны, обязались давать им отчет. Над входом был нами вывешен польский флаг и надпись "Польское справочное бюро". Правда, и то и другое пришлось тут же снять – как с неофициального учреждения.

К большой нашей радости, открылась эта первая ячейка нашей администрации, и я, благодаря рекомендации моих сожительниц, попала туда, несмотря на русское происхождение, одна из первых. Во главе конторы, конечно, стоял сам Критский. Он с большим умением и осторожностью подобрал себе постоянных работников и в начале октября вызвал нас всех на первое заседание. Оно должно было состояться у него, на частной квартире.

Снимал он две комнаты в глухом переулке, в ветхом домишке. Его хозяйка жила на кухне. Глухая старушка, работавшая целыми днями прачкой в городской больнице.

Ничего не сказав Аграфене, вечером ненастного и холодного дня, я отправилась к нему. Подходили и другие, собираясь к условленному часу. Гуськом проходим мы в маленький двор, вытираем ноги о рогожку и без звонка входим в обитую рваной клеенкой скрипучую дверь. На овальном столе – керосиновая лампа, которая бросает желтоватый свет на бумагу в руках Критского: список

наших фамилий и адресов. Мы же, человек 15, расположились где попало. Кое-кто на стульях, остальные на кровати, на ящике, на низком подоконнике, а кто и просто на полу. По перекличке все оказались налицо.

Здесь впервые услыхали мы наконец не просто никем не проверенные слухи, а достоверные сведения от знающего человека о международном положении, о войне, о сказочном возрождении польской армии на территории Советского Союза, под знаменем Белого Орла.

Затаив дыхание, мы слушали весь вечер его неторопливую, уверенную речь.

– Первый реальный контакт с нашими освобожденными из заточения поляками произошел у генерала Андерса в лагере около Вологды, – говорил он. – Там впервые Андерсу удалось настоять, чтобы они могли свободно выходить за пределы лагеря. Таких лагерей, куда временно стекались наши из тюрем и с дальнего севера, было несколько. Их необходимо было объединить. В Москве состоялось свидание генерала Андерса с польским послом из Лондона – профессором Котом. Он привез инструкции от премьера, генерала Сикорского. Со Сталиным было тут решено обосновать польский штаб в Бузулуке. Это, – продолжал Критский, – типичный провинциальный деревянный город, утопающий в это дождливое время в грязи и нищете. Поля вокруг не убраны, картофель, несмотря на голод, не собран, в деревнях не хватает топлива, хотя вокруг леса. Высшее польское командование помещается в большом кирпичном здании, над ним развевается наш флаг! Ежедневно прибывают теперь эшелоны из лагерей и тюрем – размещаются они в лесах. Совместно с Андерсом работает в штабе и генерал Жуков. Сталин назначил его делегатом по польским делам вместе с его помощником, Памфиловым. Жуков всецело предан Сталину, но Андерс отзывается о нем как об умном и энергичном человеке, с которым работать можно. В середине сентября в Бузулуке состоялась первая ревизия 17 000 собравшихся бывших заключенных. Я не буду описывать вам, – добавил Критский, – на что эти люди похожи! Вы сами их ежедневно встречаете... Там, в присутствии большевиков, с генералом Жуковым во главе, состоялась первая литургия, на которой старые солдаты плакали как дети. А после нее перед тут же стоящей советской властью и нашими офицерами продефилировали босоногие, оборванные скелеты, на удивление всем, не потерявшие солдатской выправки и дисциплины.

Он замолчал. Была абсолютная тишина...

– Стекается в штаб и много женщин. Несмотря на саркастические протесты Сталина, Андерсу все же удалось сформировать женский вспомогательный батальон. Генерала Андерса я знаю давно, – продолжал Критский. – Считаю за честь работать под его командованием. Со своей стороны и я подробно его информировал о вывезенном из Польши гражданском населении и его бедственном положении в колхозах и поселках. Мы вдвоем тут же наметили, как и чем им сейчас помочь. Мне для этого необходимо и ваше содействие. – Он на минуту замолк, мы же все сидели, не прерывая его и не спуская с него глаз.

– Работа эта будет трудная и самоотверженная, – продолжал Критский, – и, конечно, пока безвозмездная. Наша первая задача: официально известить всех об амнистии. Многие, даже в ближайших от центра колхозах, об этом еще не осведомлены. Необходимо помочь им и в получении "удостоверения", доказывающего их польское подданство. Материально мы им пока ничем помочь не в состоянии, но есть надежда вскоре получить снабжение всем необходимым из Америки и Англии. В нашей же конторе заведем регистрацию по колхозам, а также вновь прибывших лагерников, сделаем хоть частичную перепись поляков. Кое-кто, вероятно, найдет среди них и своих близких. Установим дежурства круглые сутки на станции, чтобы направлять приезжающих в наше справочное бюро. Транзитным пунктом будет вновь устроенный кинематограф, оттуда сортировка – кому в армию, кому в колхозы, кому в больницу. Для вас и для них мы обеспечены бонами на хлеб и баню... Очень важно для нас всех, чтобы Советы видели, что имеют дело не с дезорганизованной бандой, а с организацией, понимающей и знающей свои права, с организацией, которая опирается на подписанные с Советами договоры – тогда им будет трудно нам открыто вредить. Польско-советское соглашение, – говорил дальше Критский, оглядывая наши внимательные лица, – было подписано 14 августа 41 года. Согласно этому соглашению, наша армия должна быть организована в кратчайший срок. Легко сказать – при этих условиях, – невесело усмехнулся он, – наша армия будет сражаться вместе с союзниками против немцев; и после войны вернется в Польшу. Подчинена она польскому командованию. Экипировку будет по мере возможности получать от Англии и Америки.

После минутного молчания он добавил:

– Генералы Сикорский и Андерс очень озадачены и обеспокоены тем, что огромное число кадровых офицеров, из которых многих они знают по имени, до сих пор в штабе не появились.

С 40-го года о них нет никаких вестей. Было об этом много запросов, но пока безрезультатно. Вопрос этот очень сложный.

Критский снова помолчал и закончил, опустив глаза:

– Я сейчас не могу вдаваться в подробности.

Становилось поздно. Критский тут же перед нашим уходом распределил среди нас, кто и где будет работать, и назначил ответственных лиц каждого отдела. Я была назначена в контору, секретаршей Критского. В мои обязанности входила регистрация, списки, переводы и сношения с НКВД для отчетов.

Какая была радость, какой подъем – эта возможность работать среди своих для восстановления прежней жизни и, как мы тогда верили и говорили, "для восстановления свободной, независимой Польши".

Мы разошлись поздно, взволнованные, полные надежды, что нам удастся с помощью Англии и Америки наладить нормальные отношения с Советским Союзом. Расходились мы вразброд, чтобы не привлечь внимания милиции. В затихшем, уснувшем городе мы скоро потеряли друг друга из вида, теряясь среди темных, извилистых переулков.

Прояснилось, ясная, звездная ночь обещала утренний заморозок. Аграфена давно уже доверила мне ключ от дома, и я могла возвращаться, когда хотела, никому не мешая. С этой ночи мы все почувствовали почву под ногами. Жизнь стала нам казаться легкой, несмотря на все невзгоды и незавидную обстановку наших будней.

Моя жизнь сосредоточилась в трех комнатах нашего барака. В задней комнате сидел Критский, заваленный списками и отчетами, в средней я, за письменным столом с телефоном, в первой – приемная, где всегда сновал народ, ожидая регистрации и справок об адресах. Приезжающие давали в кабинете Критского ценные показания о жизни в лагерях и тюрьмах, о болезнях, об еще не выпущенных на свободу товарищах.

Октябрь 1941 года выдался на редкость холодным. Сильные ветры, дожди, ранние заморозки при отсутствии топлива поставили всех нас в очень трудное положение. Сидя в шапке и полушубке, я с трудом писала окоченевшими пальцами. Даже Аграфена топила плиту только с утра, запуская ее к ночи. Если бы не хлеб, который мы получали по бонам, по 400 грамм на человека, то наши условия жизни были бы трагичны.

На советском фронте все лето и осень дела были очень плохи. Немцы неукоснительно продвигались. 8 октября был взят Орел, ключ к Москве.

С конца октября дожди, непролазная грязь и полная распутица, а потом внезапно наступившие морозы впервые заставили и немцев столкнуться с большими трудностями. Явно и у них стали проявляться признаки замешательства. В декабре Тимошенко под Москвой был заменен генералом Жуковым. Все правительственные учреждения и дипломатический корпус из Москвы были эвакуированы в Куйбышев.

Мы же, сидя в нашем далеком Актюбинске, натыкаясь на ужасающую нужду во всем, не только среди поляков, но и среди русского населения, – чувствовали себя совершенно беспомощными. Только к концу ноября 41 года приехал, наконец, в Москву профессор Кот, чтобы обсудить вопросы, касающиеся поляков, и необходимость открытия делегатур, задача которых будет состоять в обслуживании гражданского населения.

Сталин выслушал без энтузиазма это новое требование, которое поддерживали и союзники. Допустить польских делегатов официально заниматься регистрацией и информацией гражданского населения по далеким, глухим колхозам ему совсем не хотелось. После долгих прений и под давлением союзников, Сталину все-таки пришлось согласиться, и к середине декабря в Актюбинск прибыли польские делегаты. Ознакомившись с работой нашей конторы, они переименовали ее в "делегатуру" и назначили делегатом Критского. С этого времени уже официально был вывешен польский флаг и мы сделались штатными служащими.

Поддержку Америки мы особенно почувствовали со дня ее вступления в число союзников. Вскоре после этого прибыл в Актюбинск целый вагон невиданных американских продуктов для раздачи нуждающимся полякам. В одном из уничтоженных за неимением товаров магазинов поместился наш закрытый склад. Оттуда ежедневно высылались с оказией продукты, медикаменты и одежда по поселкам и дальним колхозам нашей области.

В декабре морозы доходили уже до 52^0, а солдаты все еще продолжали жить в палатках в лесу и получали снабжение совершенно недостаточное. Советы были явно удивлены и недовольны наплывом желающих записаться в армию. Это совсем не входило в их расчеты. На словах они шли, как будто, навстречу их нуждам, но на деле как могли тормозили, и в организации, и в снабжении. Без помощи Англии и Америки участь поляков в СССР была бы поистине трагичной.

Был морозный, но солнечный день, когда, в конце декабря, я пришла к восьми утра сменить ночное дежурство. Железная печь

в приемной накалена докрасна. На официальное учреждение советские власти стали нам выдавать уголь. Еще темно, и приходится работать с лампой. К этому времени приемная уже полна народа, это все приехавшие ночными поездами. Пол наслежен, сушится у печки намокшая верхняя одежда, на конфорке кипит жестяной чайник, кто греется у огня, потирая заскорузлые руки, кто пьет кипяток с выданным на станции хлебом, кто дремлет, сидя прислонившись к стенке.

При моем появлении начинается заметное движение. С улыбкой, как при тяжелобольных, я, здороваясь, прохожу к себе. Ночная дежурная передает мне заготовленные польские списки, устало улыбается, одевается и выходит отдыхать после бессонной ночи. Слышно, как в приемной устанавливается очередь, тихо переговариваясь, готовят документы. Входят по одному, регистрируются, справляются об адресах, не найдется ли кто из близких! Подают мне свои удостоверения, внимательно следят за моей пишущей рукой.

"Можете ли дать какие-нибудь сведения о вашем лагере?" – спрашиваю я каждого. Если да, направляю к Критскому, если нет – группой отсылаю их в кинематограф, на наш транзитный пункт. Он уже давно, благодаря старанию дружной группы, принял жилой и даже уютный вид. Здесь и ночлежка, и столовая с ежедневным горячим и сытным супом с пайком хлеба, иногда кашей с американским салом. Здесь и клуб, где на черной доске вывешены всевозможные объявления: "променяю варежки на шапку", "требуются сапоги №45", "нужна уборщица", "нужна помощь на кухню". Здесь же и адреса и запросы о розыске. Здесь тепло, сытно, но редко кто задерживается в транзите дольше десяти дней. Отдохнув, каждый старается скорее осесть, найти себе пристанище, родных и подходящую работу.

Около полудня подходит к моему столу немолодой, высокий, на вид крепкий поляк. Одет опрятно, хоть давно не брит, но выглядит чище других. Внимательные глаза, чуть заметная, несмелая улыбка. Привычным движением беру печатный бланк. Прошу показать удостоверение. Бегло прочитываю. И от внезапного волнения у меня захватывает дух. Скопович! Может быть, однофамилец, проносится в голове.

– Откуда вы были вывезены? – спрашиваю осторожно, все еще не веря возможности такого счастья.

– Из Новогрудка, – был его спокойный ответ.

– Вы женаты?

– Да, жена осталась там.

Намеренно медленно, чтобы не выдать своего волнения, я опускаю перо на стол.

– Как ее зовут?

– Вандой, да вы, может быть, что-нибудь о ней знаете? – он с беспокойством наклоняется ко мне и смотрит мне в глаза.

Нет, тут, при всех, я ему о ней сказать не могу, и, бросая все, веду его сама к Критскому. Здесь передаю его удостоверение, а Критский, зная о моей дружбе с Вандой, прочитав бланк, понимает, в чем дело, и сам берется заменить меня. Скопович недоуменно смотрит на меня, его беспокойство переходит в страх.

– Я знаю, – говорю я, обнимая и целуя его, – вы доктор, вы теперь останетесь с нами.

– Вы знали Ванду? – смотрит на меня Скопович, и руки у него начинают дрожать и никак не могут справиться с удостоверением, которое он старается положить в карман.

– Да, – говорю я ему, – я знаю ее и дружна с ней, мы были вместе вывезены и все это время не расставались. Вы не волнуйтесь, для вас обоих теперь все будет счастливо и хорошо. Она здорова и работает здесь, в Актюбинске.

Но вижу, что мои слова не доходят до его сознания, дрожь его все усиливается, текут слезы по небритым щекам...

Сколько трагичных и счастливых встреч приходилось мне видеть в этой маленькой казенной комнате! Для таких случаев припасено у нас здесь и лекарство. Достаю из шкапа водку и стакан и открываю коробку консервов.

– Вот, выпейте, – протягиваю я ему стакан, – вам станет лучше!

Он пьет машинально, не закусывая.

– Простите, – говорит задыхаясь, – слаб я стал – не ожидал совсем!

Когда он успокоился, я вывела его на улицу.

– Вас вывезли из тюрьмы одновременно с моим мужем, – говорю я и называю фамилию.

– Хрептовича по фамилии знаю, но его самого нет, видимо, сидели в разных камерах.

Стоял сильный мороз, но солнце светило ярко, нестерпимо блестел нетронутый наст. Мы шли не торопясь, выбирая протоптанные тропинки. Проходя мимо кино, записала его на ночлег и выдала боны на хлеб и баню. Оттуда мы направились в больницу. Тяжело и широко шагая в прорванных, но заштопанных валенках, он молча слушал мой беспорядочный рассказ о нашей жизни в

течение этих двух лет. Наконец, несколько оправившись, заговорил он сам.

– Вас, наверно, удивляет, – начал он, не глядя на меня, – что я менее истощен, чем другие? Вы не знаете, как мне это теперь мучительно! Это кажется мне просто – клеймом. Я ведь врачом там был, – с каким-то отчаянием продолжал он. – На лесозаготовках не работал, при 70^0 мороза не выходил на перекличку! – Он вдруг остановился, смотря мне прямо в глаза каким-то расширенным, немигающим взглядом. – Вы не знаете! на мне лежала тяжелая и гнусная обязанность, осмотрев больного и ясно видя его непригодность, не выдавать ему справки, а объявить годным к работе, "доходягу" не пустить отдохнуть в больницу, отлежаться в тепле на усиленном больничном пайке! Допустить это я мог только в исключительных случаях, при высокой температуре, да и то не всегда удавалось их отстоять.

Ошеломленная, я слушала молча... Несмотря на ежедневные рапорты про окружающую нищету – это, больничное, было ново для меня. Даже при наших условиях это отношение к больным казалось немыслимым. Скопович же, медленно и тяжело ступая, шел, продолжая говорить как бы сам с собой.

– Не многих мне удалось спасти, но верьте мне, – снова обернулся он ко мне, – и тут риск был большой. Вы спросите – риск чего? Риск карцера, риск быть выброшенным еще дальше, в Магадан, откуда нет возврата; риск быть искалеченным и избитым. Конечно, это слабость с моей стороны! Никогда я это не чувствовал так сильно, как теперь. Морально это куда хуже, чем работать в лесу, со своими, – добавил он, – на общих с ними условиях...

Наступило тягостное молчание, но он снова заговорил.

– Я жил в тепле, и паек был другой, но я изолирован был, как чужой и нашим, и им. Правда, я сохранил себя для нее, но какой ценой. Ей обо всем этом не скажу. Не могу! с посторонним легче.

Он остановился задыхаясь. Меня же все более и более охватывал ужас, и ни одного слова утешения, несмотря на жгучую жалость к нему, не выходило из как тисками сжатого горла. Снова пошли, и он продолжал.

– Не дай Бог попасть у них на ответственный пост. Слежка, доносы, и чуть что – расстрел. И смотришь вокруг, и не знаешь – кто друг, а кто недруг, и никому довериться нельзя. А врачи им нужны, особенно теперь – война! Не только для доходяг нужны, а для себя. Они и сами долго там не выдерживают. Вот разве при

эпидемии иногда в помощники к себе затянуть сможешь, и то с обманом – скажешь, что он фельдшер или санитар, что работал с ним раньше.

Он замолчал, видимо, вспоминая что-то свое. Живя в колхозах, не представляли мы себе эту лагерную жизнь, и только теперь, по их виду и рассказам, открывалась нам эта сторона жизни.

С ужасом и жалостью я искоса смотрела на него. Казалось, он ошеломлен происшедшим – не готов, и хочет и боится встречи – и ищет у меня поддержки и совета. Теперь мы шли молча, но я взяла его под руку, чтобы хоть чем-нибудь проявить свою солидарность с ним.

Что они делают с человеком! думала я. И весь кошмар этой жизни, как никогда еще, ярко встал перед моими глазами. Хочешь выжить, иди на сотрудничество! Не пойдешь? сломаем тебя другим способом! А как потом таким, вернувшимся, зажить по-старому? И что можно сказать им в утешение? Только любовь, ласка, нежность и забота могут залечить эти раны, но боюсь, что всегда они будут гноиться и болеть.

К счастью, мы уже подходили к больнице. Мне было тягостно наше молчание и моя неловкая беспомощность. Сама я тоже волновалась и боялась их встречи, такой неожиданной и неподготовленной. Я провела его в приемную, где было уже много народу.

– Ванда работает по ночам, – предупредила я его, – подождите здесь, я узнаю, где она, и тогда проведу вас в ее комнату.

К моему большому облегчению, комната оказалась пуста. Ванду послали с подводой в местный колхоз за больным. Это к лучшему, подумала я. Он успеет успокоиться, а я Марысю предупрежу, чтобы она подготовила Ванду к этому невероятному событию. Снова мы вышли на улицу. А вокруг было как-то празднично и ярко от недавно выпавшего снега. Мне даже показалось, что и лицо Скоповича прояснилось и что его трагичный рассказ отошел куда-то вдаль. Я взяла его под руку, мне стало легко и просто заговорить с ним как ни в чем не бывало. О городе, о делегатуре, о больнице, о Марысе, которая сумеет гораздо лучше меня подготовить Ванду. "Не думайте о прошлом, – говорила я. – Если бы вы знали, как Ванда вас ждет! Давно ждет и уверена, что увидится с вами. А вы пока устройтесь, пообедайте, отдохните, здесь вы будете окружены заботой и лаской. Мы так все радуемся каждому, которому удается вернуться. А у вас еще здесь и жена, ведь это просто чудо". С этими словами мы простились и никогда больше не вспоминали тягостную для нас обоих беседу по дороге к Ванде.

Было далеко за полдень, когда я вернулась в контору. Отпустив Критского, работаю машинально – перевожу, отвечаю на звонки, принимаю посетителей, но мысли мои с Вандой и ее мужем. Как то прошла их первая встреча? Как наладится их жизнь? Как все это должно быть трудно и сложно.

Перед глазами его облик, выражение отчаяния и растерянности, и бесконечная жалость ко всем этим людям, вынужденным на ежедневные компромиссы, заполняет все мое существо. Вот и Владислав сам сознает, что удалось ему мало кого спасти, но это "малое", такой ценой спасенное, не больше ли обычной помощи при нормальных условиях жизни? Какое счастье, думала я, что мне здесь приходилось заниматься самым рабским, рутинным, никому не вредящим трудом. Счастье также, что дети остались за рубежом и Поля тоже – одной легче перенести и пережить весь этот кошмар.

Долго еще эти мысли кружились в голове и мешали работать. Яснее становилось, что если не быть героем, уж лучше быть рабом, чем деспотом, и угнетаемым, чем имеющим власть над жизнью и смертью подчиненных людей. Какая это страшная сила и ответственность – богатство, власть, часто произвол и беззаконность по отношению к подчиненным, и как мало и редко мы об этом думаем.

Прошла неделя. Я нарочно не заходила к Ванде и в кино. Хотелось, чтобы они привыкли постепенно к новой жизни. Наконец, все же зашла днем в кино. Они обедали вместе в столовой, Владислав заметно успокоился и повеселел, а Ванда сияла своим и без того миловидным и приветливым лицом. Я облегченно вздохнула, наша общая встреча прошла радостно и непринужденно.

Наступил январь 1942 года. С первых же дней он ознаменовался для нас всех большим событием. Неожиданно из штаба прислали грузовик за Марысей, Кларой и Марией с детьми. Армия брала под свою опеку жен кадровых офицеров, пропавших без вести под Смоленском. Их отъезд был так внезапен, что мы не успели даже проститься с ними. Одна только Марыся успела забежать к нам в контору и сказать, что Скоповича приняли на ее место в больницу – санитаром. Впервые распадалась наша такая сплоченная и дружная группа. Уехали... увидимся ли когда-нибудь! Все реже и реже видала я и Ванду. Она была поглощена своим счастьем, особенно, когда ее муж переехал к ней и они стали работать вместе.

Из нашей группы я осталась одна, и вечерами, когда работа кончалась, как никогда еще, стала чувствовать свое одиночество.

Сблизиться с кем-нибудь в конторе было трудно; непрестанным потоком текли и текли люди, и в этом состоянии постоянного движения – ни мысли, ни чувства, ни взгляды не успевали сосредоточиться, а лишь скользили по поверхности, и казалось, что любишь дело, а не людей, и чувствовалась в этом утрата чего-то самого важного и ценного в жизни. Посылки в тюрьму тоже прекратились, и последняя связь с тем старым миром тоже была порвана.

Материально мне стало жить, конечно, гораздо легче. Наш склад снабжал колхозы, а иногда и нас, вызывая зависть и недовольство местного населения. Приходилось выгружать продукты по ночам, и было это унизительно и тяжело – скрываться и прятаться от их злобных, завистливых взглядов.

На советском фронте с холодами дела поправились. Наступление немцев сдерживалось по всей линии, ходили слухи, что Гитлер уже принужден вербовать иностранцев для пополнения своих резервов. Румыны, венгры и итальянцы бросались на передовые позиции с надеждой на весеннее наступление.

Возвращаясь по вечерам из конторы, торопясь домой, я стала часто встречать на своем пути молодую польку. Казалось, что она поджидала меня при выходе с работы или из управления НКВД, куда мне приходилось часто заходить с отчетами. Наконец однажды она подошла ко мне.

– Я знаю, вы вывезены из Новогрудка, – сказала она, – вы из Щорс – графиня Хрептович! Я зимой не раз бывала в вашем имении; у Малишевских я работала поденно портнихой. Вы меня, верно, не помните.

– Нет, – неуверенно ответила я, – мы зимой часто жили в Варшаве.

– Как вы хорошо говорите по-русски, – продолжала она.

– Вы тоже, – заметила я ей.

– У меня мама русская, – как бы оправдываясь ответила она. – Отец – поляк, был убит в 20 году в войне с большевиками, а мама с моими двумя детьми осталась в Новогрудке. Муж мой попал в армию, о нем ничего не знаю. Когда всех вывозили, мама с детьми попрятались. Дети мои еще маленькие, – добавила она, все продолжая идти рядом со мной, искоса на меня поглядывая. – Я тоже сначала работала в колхозе, да недолго, а потом в швейной артели. Я и ваших двух подруг хорошо знаю – Клару и Марию, да они не любили меня. Вам они ничего обо мне не говорили? – подозрительно спросила она.

– Нет, не помню, – ответила я. – Почему же они вас не любили?

— Да я простая, настоящая портниха, шить умею, строчила на их машине, которую мне определили, зарабатывала много больше их, ну им и обидно! Да и по-русски хорошо говорю, это им тоже не по душе. Теперь-то им много лучше нашего. Они жены офицеров, их армия себе взяла, — продолжала она.

— У них мужья пропали без вести! — заметила я ей.

— Да, слышала я, — да ведь это еще неизвестно, может скрываются где? Они-то сами гордые, настоящие польки, вот вы не такая, рада я поговорить с человеком, — продолжала она, беспокойно на меня взглядывая. — Одна я, скучно мне очень без семьи. Заходила я в делегатуру, думала, найду кого из родных. Видела я, как вы там работаете. Была только в приемной, к вам не подходила, много народу в очереди было. Говорят, все вы грамотны. Вас даже в НКВД посылают, значит, доверяют.

Мы уже подходили к моему дому.

— Позвольте мне как-нибудь зайти к вам? — несмело добавила она. — Так хочется с человеком, с земляком поговорить по душам!

— Отчего же, заходите когда-нибудь в мой свободный день — по понедельникам, а то я очень устаю после работы.

— Да я бы и помогать вам могла в делегатуре, я пишу по-русски хорошо. Поговорите в конторе обо мне, меня зовут Зосей Бродской.

— Знаете, — ответила я, — это не от меня зависит, не я вербую служащих.

Я торопилась проститься с ней, холодно было стоять на ветру, а в ее заискивающей манере проскальзывало то что-то жалкое и растерянное, то какая-то наглая, чуть заметная черточка, которая отталкивала своей нарочитой ласковостью и навязчивостью. Вернувшись к себе, я тотчас забыла о ней. Было не до того! Последнее время наш магазин давно не получал продуктов. Все мы, да и русские, сильно голодали. Хлеб в делегатуре все же получали, и я ежедневно покупала у Аграфены пол-литра молока, а иногда при дежурстве в кино получала и горячий суп. Это и было мое главное питание. За деньги ничего достать было нельзя. После непрерывной, спешной двенадцатичасовой работы, я возвращалась домой совершенно обессиленная. Хорошо помню один из таких вечеров, характерный для нашего тогдашнего существования этой на редкость холодной, голодной зимы.

Вернувшись из делегатуры, захожу к Аграфене купить молока. У нее свет, и стоит она спиной ко мне у обеденного стола. Перед ней глиняный горшок с дымящейся кашей, которую она мешает

деревянной ложкой. Я подхожу, с наслаждением вдыхая этот влажный запах рассыпчатой, только что сваренной каши. Хорошо упревшая крупа поблескивала при свете лампы. Аграфена, конечно, понимала, что я с радостью купила бы у нее тарелку этой редкой для меня еды, но не предложила мне, а только неприветливо обернулась и зло заметила:

– Что для вас теперь такая мужицкая еда? У самих полный склад американских продуктов. – И, помолчав, прибавила: – Не знаю только, где вы у себя их прячете.

– Я ничего, никогда не прячу, – возмутилась я, – вы сами это хорошо знаете. Сейчас подвоза нет, и мы давно кроме хлеба ничего не получаем! Снабжаем только колхозы – там и хлеба нет.

– Ну, знаете! – закричала Аграфена. – Никогда я не поверю, чтобы ваша контора не попользовалась бы! Хоть когда-нибудь побаловали бы Лиду.

Я молчала, ожидая со своей кружкой молоко.

– Знаю, – продолжала Аграфена, – вам самой готовить неохота! Принесите консервов, я вам обед варить буду, и суп и кашу.

Было противно вступать с ней в споры, и я уже повернулась, чтобы идти к себе, когда она громко крикнула мне вслед.

– Вот Лида вернется – будем ужинать. Сейчас зима, корова тельная, молока дает мало – самим не хватает.

Чайник на плите еще кипел, и чай с хлебом – тоже неплохая еда! Все же мне горько было – где прежняя жалость и доброжелательность Аграфены, ее доверие ко мне, тихие рассказы о своей прежней жизни, о последних новостях на фронте. Когда незадолго до этого я по приезде болела возвратным тифом, как хорошо она ухаживала за мной, и при сильном жаре приносила подушку, туго набитую свежим сеном, и ее ласковые слова и забота: "Сено жар оттягивает!" И правда, становилось легче. А теперь? Откуда такая неприязнь? Я чувствую тут не только зависть, что у нас есть свой закрытый магазин, у нее тоже есть доступ до своего, чтобы обслуживать энкаведистов! Тут то́, что мы теперь признанные иностранцы, и поддерживает нас далекий, недоступный запад! А на фронте немцы отходят, и все ее надежды на освобождение от советского строя тают с каждым днем. Хоть она и молчит, но давно заметно, как ей это трудно переживать, а двойственность ее положения все тяжелее и тяжелее отзывается на ней. Я невольно тоже замыкалась в себе и все реже и реже встречалась с ней.

В это одинокое и трудное для меня время я неожиданно получила телеграмму из Ленинграда. "Еду Сибирь, заеду Актюбинск.

Маруся”. Сестра от второй жены моего отца, много моложе меня, но сестра. Когда в 1917 году я выехала из Москвы с дядей Жюлем и его семьей на Кавказ, ей было всего 14–15 лет, мне – 22. С институтом, где она училась, она была эвакуирована в Харьков, а по окончании его поступила в Политехнический Институт в Ленинграде и вышла оттуда инженером, уже при советской власти. Она вышла замуж за коммуниста, сына бывшего мельника около нашего имения Осничкн Новгородской губернии. Сейчас же, по-видимому, эвакуировалась, как и все учреждения, из голодающего и осажденного Ленинграда в Новосибирск.

Кто она? Что стало с ней за эти годы? Я оставила ее тоненькой смеющейся девочкой. Встретиться после двадцати с лишним лет – казалось страшным событием.

Через два дня снова телеграмма: ”Завтра 7 вечера. Маруся”.

Конечно, я бы не узнала ее, если бы в назначенный час не подошла ко мне на перроне пожилая, как мне показалось, женщина. Строгое лицо, плотно сжатые, тонкие губы. С тяжелым, неулыбающимся взглядом. Она спросила: ”Вы Хрептович? Я Маруся”. Странно, совсем чужая, думала я, поцеловав ее и идя с ней рядом по занесенным снегом улицам.

Вглядываясь, стараюсь найти хоть что-нибудь из давнишнего, детского мира. Только постепенно, в движениях, выражениях и интонациях культурного петербургского говора, она делалась мне все ближе. Этого она не утеряла.

Было уже темно, и ей, наверно, холодно в ее городском поношенном пальто и старомодных ботиках. Кое-где мигающие желтым светом фонари озаряют занесенный снегом и обледенелый тротуар, приходится идти друг за другом по скользкой дорожке.

– Мне удалось отстать от моего состава на одну ночь, – говорила Маруся. – Очень уж хотелось тебя видеть. Последнее время я жила в Москве, от дяди Жюля узнала о тебе. Для меня тебя увидеть – это как человека с того света. Только мало, всего одна ночь у нас с тобой. Завтра утром я должна выехать, чтобы догнать их по дороге в Новосибирск, куда переводится наш завод.

Мне нравилась ее уверенность и независимое, как мне показалось, отношение к своей судьбе, а главное, не заметен был в ней страх поехать повидаться с ссыльной сестрой, да еще недавно вывезенной из Польши. Ее не удивил ни мой убогий угол, ни скудная еда, все это ей было, видимо, знакомо и казалось неважным и естественным.

Сидя на моей койке, она долго рассказывала мне о своей жизни, о нужде, болезнях, смерти ее матери, нашей тетки и мачехи, о своем

браке с малокультурным, но хорошим человеком, от которого она имела дочь. С горечью вспоминала она о первом знакомстве с ним нашей семьи, когда она, радостная и влюбленная, привела его и была встречена молчаливой и так много говорящей сдержанностью.

– Он коммунист, – говорила она, – я беспартийная. У нас дочь, ей уже 12 лет. Она едет с нами в Новосибирск.

Рассказывая, она взволнованно взглядывала на меня, и мне казалось – как бы искала во мне сочувствия и поддержки.

– Что же я все о себе говорю! – вдруг спохватилась она. – Несколько раз я виделась в Москве с дядей Жюлем. Трудно ему там и голодно сейчас очень. Он собирается поехать к своей сестре, тете Оле, в Меленки. Там все же легче прокормиться. Он мне так много рассказывал о тебе и о сестре Жене. Как вы жили в Париже, как работали, ты в консерватории, а она по своей специальности – истории искусства, потом о твоем замужестве и об имении в Польше, и как ему хорошо было жить там с вами! Для меня это просто какая-то сказка! – Она пытливо посмотрела на меня и, помолчав, прибавила: – Ну, а как же ты сейчас?

– Как видишь, – ответила я, не глядя на нее.

Стало совсем тихо. Она первая прервала неловкое молчание.

– Конечно, вот ты и многие пострадали от нашего строя. Знаю, что часто и безвинно, как наша сестра Люба, которая до сих пор сидит. Конечно, все это чуждо и непонятно вам. Но согласись, что вы заранее не хотите допустить и мысли о возможности того добра, которое здесь все-таки существует. Я ведь все помню, и прежнюю жизнь и теперешнюю знаю. Я хорошо понимаю ваше отношение к коммунизму, но он ведь, как идея, не виноват, что его деформируют люди. Это как в любой религии, – учение не виновато, если находятся изуверы, искажающие его.

Я молча продолжала ее слушать. Аграфена рядом за занавеской готовила обед, не шумела, стараясь прислушиваться к нашему разговору. Ей явно импонировала мысль, что приехала ко мне сестра – советский инженер из столицы – и остановилась у нее. Неожиданно она вошла с двумя дымящимися глубокими тарелками сытного супа. Я была очень тронута этим жестом солидарности, так за последнее время на нее не похожим. Маруся тут же угостила ее ленинградскими гостинцами – чайной колбасой и рыбными консервами, выданными ей на дорогу.

– Кушайте на здоровье! – простилась она с нами. – Поговорите, оба жильца в командировке, вы одни.

Я была этому рада, я смутно чувствовала, что Марусе хочется высказать мне свои воззрения и как бы встать на защиту своих близких.

– Знаешь, – говорила она, – я просто уверена, что большинство из вас там за границей забыли и не помните, да и не имели возможности проследить, фантастическую историю возникновения большевизма. Вряд ли вы все себе отдаете отчет, почему и откуда меньшинство смогло получить свою силу и имело такой успех. Совсем не из-за террора, как ты думаешь! Террор пришел позже. Сила его была в том, что впервые весь народ был призван к активности. Это и только это объединило всех с правящим классом. Ведь марксизм не есть только материалистическая доктрина, – воодушевленно продолжала она, – это гораздо более мессианское призвание пролетариата, и тут-то и проявляется его необычайная идейность.

Она помолчала, я сидела не шевелясь.

– Марксизм открыл гениальную по простоте мысль, – медленно выговаривая каждое слово, говорила Маруся. – Это – что капитал есть лишь общественные отношения людей в производстве. А за экономической деятельностью всегда стоят скрытые живые люди. Люди, которые нам дороги и близки, и это с материализмом совсем не связано. Никакой страх, никакие обещания будущих благ не смогли бы дать того подъема, того энтузиазма, силы и энергии незначительному тогда меньшинству – большевикам. Им удалось тогда увлечь многих колеблющихся. У нас же, у молодой интеллигенции, может быть, наивно, но перед глазами брезжила новая жизнь, "скачок в царство свободы", по словам Энгельса. – Она остановилась, слегка задыхаясь после своей продолжительной тирады.

– Хорош скачок в свободу! – ответила я ей сквозь зубы.

– Да, представь себе, тогда это казалось свободой. Пафос революции заключался именно в этом раскрытии и порицании эксплуатации человека человеком. Мы искренне смотрели на буржуазию как на зло, а на пролетариат как на добро! Тогда-то и обратилось все это движение в веру в лучшее будущее, в религию, и в этом была его главная сила.

Наступило молчание. Я убрала посуду и снова села напротив нее. Мы обе глубоко задумались. Два мира, два мировоззрения, два идеала! Неужели возможно совмещение или примирение между ними?

– Мне было уже 15 лет, когда началась революция, – тихо продолжала Маруся, – я все хорошо понимала и все ясно помню.

Конечно, многому научили меня и в политехническом институте, и потом на службе. Ужасна у нас не сама доктрина, а то, что по-разному она была воспринята. Отсюда пошли группировки, террор и чистки. Один только Ленин сумел в свое время всех подчинить своей линии – ортодоксальной, не допускающей дробления. Ты думаешь, я не вижу и не понимаю ее недостатков? ошибаешься! Вижу и знаю. Вкратце могу сказать тебе о них следующее: организованное меньшинство вместе с Лениным во главе, для скорейшего достижения власти, призвало весь народ к активной, беспощадной борьбе классов. Для создания своей партии, он прибег к лозунгу "цель оправдывает средства".

– Нет, подожди, не перебивай! – остановила она меня, видя, что я порываюсь возразить ей. – Тогда-то Ленин и воспользовался имеющимися налицо факторами: войной, крестьянами, у которых постепенная потеря веры сменилась жестокостью, и, наконец, помогла ему молодежь. Для них – старая культура была чужда. От традиции они отошли, многие из них успели получить и партийную дисциплину.

Я снова нетерпеливо двинулась. Ее как бы заученная, трафаретная речь действовала на меня и притягательно и раздражающе, но она снова меня остановила.

– А кто учил их, эту молодежь? Ваша же старая интеллигенция. Вспомни их проповеди о справедливости и равенстве. Она же и внушила им ненависть к буржуазии и к культурной элите. Она их привела к отрицанию религии и поклонению материализму.

Она устало облокотилась о стенку и закрыла глаза. Я тоже сижу молча, взволнованная ее волнением и желанием во что бы то ни стало найти себе и им оправдание.

– Ну что же, – раздельно начала я. – Большинство из нас сознает огромные ошибки прошлого. Несомненно, и мы тоже виноваты во всей этой катастрофе. Но неужели вы так слепы, что не видите главной ошибки вашего вождя Ленина? Ошибки, которая вас несомненно рано или поздно погубит. В проведении борьбы классов, с его пресловутым лозунгом, Ленин сам противоречил себе, довел эксплуатацию человека человеком до неслыханных размеров. Ты не можешь этого отрицать. Куда они все зашли со своими идеями и лозунгами? Для всех очевидно, что партия действует исключительно насилием, террором, неслыханной ложью и лицемерием, чтобы не быть сметенной!

– Ну, знаешь, – заметила Маруся, – насчет лицемерия еще неизвестно, кто из нас зашел дальше. Вы ли в вашем капиталистическом

мире, или они здесь. У здешних своя мораль, они не прикрываются внешней благопристойностью.

— Во-первых, прикрываются, — возразила я, — они все скрывают от запада. Но не в этом дело, они делают гораздо хуже, они просто явное зло, как, например, доносы, называют доблестью и добром. А в нашем понимании это хула на Духа Святого, которая не простится ни в этом, ни в будущем мире. Вы принизили человека, его духовную личность! Это вам тоже не простится уже самими людьми!

Окно чуть-чуть светлеет. Моя лампа мигает желтыми языками по почерневшему стеклу, керосин кончился. Тушу ее, и нас окутывает полумрак. Разжигаю плиту, ставлю на нее мой жестяной чайник... Все тихо. Мы обе устали, молчим. Каждая думает, вспоминает и отвечает на все эти вопросы по-своему. Маруся зябко кутается в такой с детства знакомый коричневый оренбургский платок, потрепанный и тщательно заштопанный. Одета она чисто, но крайне бедно.

— Возьми на память польский плед, — протягиваю я его сестре.

Она его берет, разглаживает на коленях.

— Красивый, теплый, заграничный! — тихо говорит она, опустив глаза.

В комнате заметно светлеет. Уютно поет мой закипающий чайник.

— Да, — говорит сестра, — все же мне так хочется, чтобы ты видела и другие стороны нашего коллектива. У него есть здоровое и даже согласное с вашим христианским пониманием жизни. Причем, заметь, — применимого у вас часто только в теории, у нас же на практике! Прежде всего, наше служение не личное. Не для себя мы несем эти лишения и страдания, не для своих удобств и маленького своего личного счастья. Мы живем и работаем для великого целого. НКВД же глаза и уши Советского Союза. Их сведения не могут быть поверхностны. Они обязаны следить за тем, что люди думают и о чем мечтают, чтобы вовремя принять то или другое решение. Без них новая интеллигенция не смогла бы встать на ноги. Конечно, у них есть свои правила морали и они без лицемерия безжалостны к мешающим им врагам.

— Я думаю, — вставила я, — ты о многом даже и не подозреваешь, иначе и не защищала бы их. Ты же сама против их лозунга.

— Многого не знаю? — задумчиво ответила сестра. — Возможно, но пойми, ведь они стоят на страже революции, а на посту каждый часовой при опасности — стреляет! Вы вот в христианской

религии считаете себя членами Христа, Ему служите (на словах), – добавила она саркастически, – а мы на деле считаем себя членами коммунистического мира, служим его великой целости, сознавая себя ничтожными единицами, но Советский Союз наш велик, и мы ему преданы. Возьми наши семьи, мой муж очень любящий и нежный отец, а вот уже последние четыре года я его почти и не видала, только в его коротких командировках случалось пожить нам вместе. Я служила на заводе в Ленинграде, он на ответственном посту, на дальнем севере, в тяжелых условиях тамошнего климата, послан партией на рыбные промыслы. Это у нас обычное явление. А теперь война, он на фронте, я в Сибири. Все ответственные посты требуют от нас много любви и жертвенности.

– Да, но ведь отказаться от своего поста вы не можете, даже в мирное время. Согласись, что большинство работает у вас, не выбрав своего пути, а просто спасая свою жизнь. Хорошо еще, если ваша ответственная работа никому не вредит и не приходится вам работать против своей совести. Давно ваши вожди растеряли свою идейность и энтузиазм, о котором ты вспоминала. Где теперь ваша пресловутая свобода? Где равенство? Где самая элементарная справедливость? Что она вам дала, ваша советская власть? Одно неслыханное порабощение. Я не говорю о ваших материальных и научных достижениях, они признаются всеми, но мы-то хорошо знаем, какой ценой они вам дались: ценой крови и нечеловеческого страдания. Ваше недомыслие, которое должно вас погубить, заключается в попирании личности и ее духовной свободы, в отличие от нашей христианской культуры! Здесь дух человека свободен и личность человека уважается, а не принижается, как у вас! Все ваши лозунги о добре и истине искажены, и это может привести или к неслыханной катастрофе, или к духовному возрождению, у которого будет достаточно мужества и силы свергнуть эту вашу дьявольскую власть.

Маруся молчит. Контуры комнаты тихо выплывают из мрака. Завариваю чай, есть хлеб и сахар, а сестра достает русские шпроты, кильки, чайную колбасу и несколько крутых яиц.

– Это мне на дорогу выдали, – говорит она.

– Неужели ты бы не хотела, – спрашиваю я ее, наливая ей чай, – уехать за границу, пожить хоть свой короткий век прежней жизнью, среди людей, не втянутых в вашу кошмарную, все сокрушающую машину?

Она ответила не сразу.

– Знаешь, иногда от усталости, безнадежности, невзгод и одиночества, выпавших на мой век, хочется чистоты, личного

счастья, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, но эти мысли приходят только в минуты слабости, когда, несмотря ни на что, хочется бежать, не видеть и не слышать! Но чуть окрепнешь, и снова возвращается вера в лучшее будущее. Да и работа спасает. Нужная, неотложная, важная работа для создания благосостояния всех и каждого. А вот сейчас – на оборону! У нас блокада. Ты себе не представляешь, во что обратился Ленинград. За последнее время он совершенно опустел. Город стал фантастически красив, несмотря на окопы, на баррикады, на развалины и опустошение. На фоне зарева пожаров мрачен он также своим молчанием, величественными громадами дворцов. Они вырисовываются темными, таинственными силуэтами на фоне нашего несравненного светлого неба, и тогда кажется, что нет тех сил и жертв, которые не отдал бы для помощи этому сказочному городу и этой нашей великой и нищей России.

Стук в дверь прервал наш разговор. Вошла Аграфена.

– Да вы, я вижу, и не ложились! – заметила она. – И плита уже растоплена!

Была в ее лице снова и ласковость, и забота. Она поставила на стол кувшин парного молока и, казалось, забыла нашу недавнюю размолвку. А я, смотря на них, – почувствовала тесную, внутреннюю связь этих двух таких разных и по воспитанию, и по культуре русских женщин, которые наперекор всему сумели пережить эти несравненные по тяжести годы и выжить. Я же давно эту связь утратила и чувствовала себя особняком, органически неспособной слиться с их пониманием вещей.

Несмотря на противоположность взглядов, мы расстались с сестрой ласково и по-родственному.

Рано вышли на сильный мороз. Тускло горят еще не потушенные городские фонари. Прохожих мало. Встречные, зябко подняв воротники, торопливо шагают, хмуро смотря себе под ноги. У Маруси билет до Новосибирска. Где-то она должна догнать свой завод и пересесть к ним. Увидимся ли когда? Вряд ли, думаем мы, ожидая поезд. Она смотрит на меня, держа обе мои руки в своих, как бы стараясь удержать и запомнить все, что было сказано и прочувствовано за эту ночь.

Вдали появились огни, все ближе и ближе, пыхтя и замедляя ход, паровоз подъехал и остановился у перрона. Пассажиров необычно мало, сестра легко вошла в свой вагон. Один звонок, второй, третий. Она прошла к окну и остановилась. Свисток – и поезд проплывает вдоль платформы. По-старому она, стоя, машет мне платком. Я тоже. Уехала...

Через несколько лет, уже после войны, я узнала, что она умерла от туберкулеза в своем любимом Ленинграде. Ее дочь до сих пор живет там.

Проводив Марусю, пробираясь среди сугробов, я еще полна мыслей о прошедшей ночи, ее речах, пронизанных ежедневной пропагандой, ее желании оправдать и найти идейный выход из тупика, куда ее загнала жизнь, о ее надежде найти во мне поддержку... все это вызывало во мне огромную к ней жалость.

Город просыпается, потухли фонари, я спешу в контору. Настоящее начинает захватывать меня. Наверно, Критский уже там, приемная полна народу. Действительно, стоило мне войти в делегатуру, как насущная потребность деятельности оторвала меня от воспоминаний и бесплодных рассуждений. Меня ждут! Глаза новоприбывших с вопросом и надеждой направлены на меня. Найдется ли поблизости семья? Есть ли у нас нужный адрес? Несмотря на бессонную ночь, начиналась лихорадочная работа, все остальное переставало существовать, и жить становилось легче. Наш архив уже давно не умещался в кабинете Критского, а занимал и у меня часть стены, на недавно сколоченных полках. Все чаще новоприбывшие допытывались у нас, обеспокоенные слухами: "Отчего наши кадровые офицеры до сих пор не в армии?" Ответить им было трудно. Мы сами ничего не знали. Несмотря на все запросы генерала Сикорского из Лондона, генерала Андерса из штаба, несмотря на поддержку Англии и Америки – запросы письменные и личные в Москве и Куйбышеве – след их терялся с 1940 года в Старобельске и Осташове. Было их там около десяти тысяч человек. С нескрываемым раздражением Сталин отвечал: "Выпущены все. Они или еще не доехали, или бежали в Манчжурию".

О зверском убийстве этих офицеров в Катыни мы официально узнали гораздо позже. Еще позже стало известно, что на Нюренбергском процессе этот вопрос запретили поднимать. Тогда же только ходили слухи.

Однажды прибыла к нам чудом спасенная партия поляков с Колымы. По их определению, Колыма – смерть! Теперь уже стали доходить слухи об этом лагере. Он считался в то время лагерем уничтожения.

На крайнем северо-востоке, где мороз доходит до – 70^0, идет добыча золота для Советского Союза. Добывалось оно в то время самым примитивным способом. Находилось оно повсюду, даже на поверхности.

В 40 и 41 годах на Колыму вывезли до десяти тысяч поляков. Впоследствии выяснилось, что по амнистии вернулось – 583...

По их рассказам, мало кто выживал там дольше нескольких месяцев. Инвалидов без рук и ног от обморожения вывозили в Магадан. Здесь, кто еще мог, шил мешки или плел корзины руками или ногами. Самых же безнадежных вывозили в абсолютно закрытые лагеря, откуда никто и никогда не возвращался, даже местная администрация.

Приезжавшим оттуда трудно было об этом рассказывать, слишком еще недавно тяготели над ними эти страдания. Они говорили с опущенными глазами, прерывистым шепотом, как бы стыдясь за человека, как будто на них лежало теперь несмываемое клеймо унижения... А мы слушали, затаив дыхание, со стиснутыми челюстями, чтобы не завыть от ужаса. Их было жалко до острой физической боли, а наша жизнь в колхозах казалась нам теперь раем.

Хорошо вечером уйти от этих кошмарных рассказов. Мороз! С наслаждением вдыхаю чистый, холодный воздух. В этот вечерний час так тихо, только снег хрустит под ногами. Небо уже усеяно звездами, луна освещает дорогу. Синеют тени незажженных фонарей, падают яркие блики от освещенных окон. Тут жизнь продолжается. Сидят, уютно ужинают у накрытого стола, кипит самовар, слышны иногда говор и смех, укладывают детей, купают их в корыте около печки или в кухне. И после всего слышанного, несмотря ни на что, это действует умиротворяюще.

В Бузулуке же становилось все яснее, что в условиях суровой зимы создание польской армии немыслимо. В декабре 41 года в Москве состоялось свидание генералов Сикорского и Андерса со Сталиным. Они оба, при поддержке Англии и Америки, настаивали на переводе измученных солдат на юг. Этот проект обсуждался долго, к большому неудовольствию Сталина, но все же решение в пользу вывоза состоялось, и базой концентрации польской армии были назначены предместья Ташкента, а штаба – Янги-Юль. Известие это вызвало у нас у всех нескрываемый восторг. Из Англии стали доставляться туда транспорты с обмундированием и продовольствием, началась деятельная подготовка к приему армии.

В Бузулуке к этому времени смертность была очень большая – эпидемии дизентерии, лихорадки, сыпного тифа. Но надежда на солнце и тепло сделали свое дело, возрождение армии стало казаться возможным.

Отношения поляков с Советами все же заметно портились. Обоюдное недовольство возрастало. Во многих польских учреждениях, даже в штабе, периодически появлялись микрофоны. За

последнее время мы жили в делегатуре под постоянным страхом и напряжением, то и дело ожидая обысков и арестов. Очевидцы из тюрем и лагерей продолжали нас информировать о сотнях заключенных, еще почему-то не выпущенных, несмотря на амнистию. Бывали случаи, что выпущенных внезапно снимали с поезда, и они исчезали без следа. Возмущение поляков возрастало, и все чаще и чаще генералу Андерсу приходилось вступаться и отстаивать свои права, но добиваться у Советов реальной помощи становилось все труднее. Так же, как и выполнения ими же подписанных договоров.

Зосю я стала встречать все чаще. Она поджидала меня при выходе из конторы или управления НКВД. Все больше она интересовалась и моей работой и постоянно о ней расспрашивала.

– Знаете, – говорила она, – мало кто из поляков допускается в НКВД. Что вы там делаете?

– Да вы уже спрашивали меня об этом, – возражала я, – делегатура меня посылает с докладами и переводами официальных бумаг.

– Ах, как бы я хотела работать вместе с вами! – воскликнула она однажды. – Я правда могла бы быть вам очень полезной, да и вы бы не так уставали; надоело мне шить, я согласна была бы за самое маленькое жалованье. Пожалуйста, поговорите обо мне с Критским, ведь мало поляков знает так русский язык, как я.

Мне пришлось решительно ей отказать, сухо добавив:

– Как я могу вас рекомендовать, ведь я вас совсем не знаю! – Зося растерянно замолчала и больше не настаивала.

Недели через две, позднее обычного, я возвращалась к себе домой. У Аграфены свет, захожу к ней за молоком. К моему удивлению, застаю ее оживленно беседующей с Зосей. При моем появлении она заметно смутилась, встала и, как бы оправдываясь, тревожно взглядывая на Аграфену, быстро проговорила:

– А я вот случайно вашу хозяйку встретила, разговорились мы с ней, вас поджидая, и я взялась для Лиды платье переделать, в артели на машине прострочу.

Аграфена, чуть улыбаясь, молча завернула ей платье в газету, Зося взяла пакет.

– А можно к вам на минутку зайти? – неуверенно проговорила она.

Я довольно сухо согласилась, не до болтовни мне было после утомительного дня, но поставила чайник, чтобы угостить ее чаем. Пока я вынимала посуду, она молча смотрела на меня, и вдруг ее глаза наполнились слезами. Они лились по ее неподвижному лицу

совершенно беззвучно, она даже не вытирала их, и они падали крупными каплями ей на колени.

– Что с вами? – остановилась я перед ней с посудой в руках.

– Потом! – прошептала она сквозь стиснутые зубы, кивнув головой на комнату хозяйки. Я протянула ей платок и заговорила о постороннем, стараясь не привлечь внимания Аграфены нашим молчанием. Но вот стукнула дверь, это Аграфена вышла разносить молоко. Мы остались одни, ни жильцов, ни Лиды в доме не было. Зося продолжала сидеть, машинально перебирая складки своей юбки. По ее покрасневшему лицу были видны ее волнение и нерешительность. Я молча ждала, чтобы она успокоилась.

Вдруг она порывисто вскочила и бросилась передо мной на колени, закрыв лицо руками. Я тоже вскочила, испуганная этим неожиданным порывом.

– Мне так трудно! так трудно! – услышала я ее шепот.

– Нет, Зося, встаньте. Вот, выпейте воды и успокойтесь, а то я и слушать вас не буду. Посидите здесь, а я пойду проверить, одни ли мы в доме.

Усадив ее на моей койке, я нарочно вышла, чтобы дать ей время оправиться. Я уже смутно предчувствовала, о чем она будет говорить. Давно мне казалось неестественным ее отношение ко мне, и, видя вокруг себя постоянное недоверие друг к другу, я начала с подозрением относиться к окружающим меня людям, вероятно, в большинстве случаев совершенно невинных. Когда я вернулась, Зося сидела на моей койке, поджав ноги и кутаясь в платок.

– Не знаю, поверите ли вы мне и простите ли, – начала она, стараясь сдержать слезы и то и дело вытирая их платком.

– Да в чем же дело? – сухо спросила я, стараясь удержать ее от новой вспышки необузданного отчаяния.

– Боюсь вам сказать! но я верю, что вы не предадите меня, – продолжала Зося всхлипывая, – не донесете, для чего я пришла к вам, и никому об этом не скажете. Не думаю, что вы сможете помочь мне, но дайте хоть совет. Мне так трудно все это переживать одной! Помогите хоть добрым словом.

Я слушала ее, не прерывая, но сознаюсь, и тут промелькнула у меня мысль – не провокация ли все это? Не подслушивает ли кто-нибудь наш разговор. Хотя и казались мне ее слезы искренними, а все же мысль о провокации не оставляла меня, я была настороже...

– Это началось еще в Новогрудке, – начала она наконец свой рассказ. – У нас там была мастерская готового платья. Мы с мамой

и детьми на это и жили. Дети еще маленькие, – добавила она всхлипывая. – Когда пришли русские, нас тоже захотели вывозить. Донес кто-то, что богатые мы. Умолила я не трогать маму и детей, а сама согласилась работать с ними. Они меня сами привели к себе, зная, что я хорошо говорю по-русски и по-польски. Говорили со мной так ласково, уговаривали ехать с ними: "Поработайте с нами год-два, а потом мы вас домой отпустим, и вы еще семье деньгами помогать будете". Взяли они с меня расписку, не велели об этом никому говорить, даже маме. Я боялась и молчала, а они вывезли меня одну, семью оставили в Новогрудке. Работала я сперва в колхозе, меня часто вызывали в НКВД. Потом перевели сюда в город, поместили в швейную артель, там уже тоже поляки появились, вот и ваши подруги тоже. Я сначала и не понимала, что это за работа такая, – согласилась только ради детей! Сначала все ничего было, а потом, как стали мне грозить, да на меня нажимать, об этом узнай, о том расспроси, денег тоже мало давать стали, – наивно добавила она. – Сейчас еще хуже стало. Все прижимают, почему я в делегатуре не работаю. Ты, говорят, язык знаешь, должна за всеми примечать, у нас твоя расписка есть, что работать с нами будешь. Потом вот к вам приставили, – опустив голову, прошептала она, – велели и с хозяйкой вашей познакомиться, ее о вас расспросить.

Все это она говорила, задыхаясь от волнения, прерывистым шепотом, со слезами и всхлипываниями. В доме было совершенно тихо. Мы обе сидели не шевелясь, прислушиваясь к своим мыслям.

– А теперь вот амнистия! – всхлипнула она снова. – И польская армия, магазин, и помощь Америки, и на юг едут, а может и дальше потом, – залилась она снова слезами. – Я ведь тоже могла бы быть с ними, с вами вместе, – добавила она. – На беду я с ними связалась! А за мной теперь тоже следят, – шепотом продолжала она. – Я уже давно замечаю – провожают все те же люди, проверяют, к кому хожу. Там, вы знаете, все один за другим примечают, да кому нужно доносят! Страшно мне это, хочу уйти, и не знаю как! В армию бы мне! Я там какую ни на есть, самую трудную, тяжелую работу на себя бы взяла! Вот вам крест, – снова вскочила она, – не знаю, поверите ли, никого я не погубила. О вас только о Щорсах рассказывала! Может быть и поможете мне? – смотрела она на меня умоляющими глазами.

Неужели провокация? проносится в мыслях... До сих пор мне больно вспоминать об этом, но тогда опасения брали верх.

— Как и чем могу я помочь вам? — осторожно спросила я. — Может быть, если вы откроетесь в штабе, они сами вас и простят. Пойдите к ксендзу, он вас не выдаст, а я сама и советовать вам ничего не могу, это слишком страшно!

Снова наступило молчание.

— Боюсь я их, — проговорила она задумчиво, — поймают — тюрьма или лагерь, а то и расстрел! они уже грозились, не очень-то и доверяют мне теперь.

Замолчали. Чуть потрескивает огонь в печи да чайник поет на горячей конфорке. Налитые чашки стоят нетронутые на столе. Послышался стук запираемой калитки, через минуту вошла Аграфена и поставила молоко на стол. Она пытливо оглядела нас.

— Что же это вы, чай налили и не пьете? — спросила она. — Чем-то расстроились или случилось что?

— Да нет, — ответила я, — так, разговорились, старое вспомнили.

Зося медленно, задумчиво выпила свой чай. Аграфена вышла, еще раз оглянувшись на нас.

— Проводите меня до калитки, — попросила Зося.

Надев полушубок, я вышла следом за ней во двор. Открыли скрипучую калитку, на улице уже темно, прохожих нет, время обеденное.

— Все-таки попробую, — шепнула она мне на прощание, — а по секрету вам скажу, очень теперь в НКВД делегатурами заняты, говорят — шпионы вы все, государство в государстве затеяли. Не по душе им это. Вашими архивами тоже интересуются, боятся, вы их за границу переправите. Смотрите, скоро начнутся обыски да аресты. До вас они тоже добираются — говорят, вы хорошо и польский и русский знаете, много чего наслышались, чего вам не полагается.

Она поцеловала меня и торопясь скрылась за углом.

Напрасно я о ней плохо подумала. Она явно завязла по глупости, а сейчас искренне ищет выхода. Но действительно, как ей помочь? Поляки тоже сексотам не прощают и, конечно, в армию не допустят. То, что она мне сказала о делегатурах, давно назревало, и теперь у нас особенно все будут осторожны...

Вернувшись к себе, убрала посуду и не спеша легла спать, все равно скоро не засну. Сомнение, подозрительность, страх, неуверенность в завтрашнем дне, признание Зоси, мое к ней несправедливое подозрение мучили, не давали забыться.

На следующий день работа снова отвлекла меня, я постаралась выйти вечером вместе с Критским, чтобы иметь возможность по

дороге, без свидетелей, поговорить с ним. Не называя Зоси, я предупредила его о разговорах среди энкаведистов о нашем шпионском гнезде.

– Я знаю, – ответил он, – у меня свои информаторы, вас только заранее не хотел пугать. На днях в делегатуру посадят энкаведиста, говорящего по-польски. Будем тогда работать под его наблюдением. Давно они нам не доверяют, как, впрочем, и мы им. Очень опасаюсь, что все это окончится для нас трагедией.

Помолчали.

– А в Бузулуке все хуже и хуже! Холод, эпидемии, голод. Только на днях в их жизнь проник луч света. Раздали им листовки, переведенные с английского на польский о выступлении Рузвельта по радио. Очень он тепло отозвался о поляках – примером стойкости и храбрости их выставлял перед союзниками... А заглавие листовки: "Президент знает!" Так, поверите ли, солдаты, читая, тут же на снегу становились на колени – благодарили Бога, что не оставлены и не брошены на произвол судьбы. Надежда есть все-таки теперь на юг, на солнце, на реальную помощь Америки и Англии, на возможность осуществления нашей мечты – создания армии и возможности сражаться с целью вернуться на родину.*

Мы расстались у его дома, оба взволнованные, но с растущей решимостью бороться до конца.

---

* В Куйбышеве, 6 декабря 1941 г., Сикорский и Андерс получили согласие Сталина создать 7 дивизий (150 000), не считая резерва. 8 марта 1942 г. в Куйбышеве было 60 000 человек, но ежедневно прибывало до 1 500 добровольцев отовсюду. Андерс докладывал Сталину, что 4 дивизии почти готовы, в каждой по 12 700 человек. В Янги-Юль было переведено 76 000 военнообязанных, не считая гражданского населения, которое ежедневно прибывало.

Глава 7

ЯНГИ–ЮЛЬ.

Только в январе 1942 года началась медленная переброска польской армии из Бузулука на юг. Шли эшелоны за эшелонами, к ним по дороге присоединялись бегущие из колхозов и поселков поляки. Среди них женщины, дети, старики. Гражданское население размещают в окрестностях Ташкента, но под покровительством армии. Штаб обосновался в Янги-Юль, предместье, название которого обозначает "Новая Дорога". Он поместился в каменном павильоне, посреди огромного яблоневого сада. Вокруг, под яблонями, разбит целый поселок палаток, тут же хозяйственные бараки и кухня.

Известие о переводе армии распространилось по Актюбинской области молниеносно. Все, кто мог достать удостоверение, бросились следом за нею.

Напуганные этим нашествием гражданского населения, не только Советы, но и Англия тщетно старались остановить этот непрекращающийся поток измученных людей. Кормила их армия из своих пайков, лишая себя самого необходимого. В нашу делегатуру посыпались всевозможные постановления и официальные декреты за декретами. "Не допускайте в армию белорусов, не допускайте евреев. На юг пропускать из гражданского населения только семьи военных. В Иран будут допущены только чистокровные поляки".

Все же лавина бегущих с севера не прекращалась, а генерал Андерс как мог отстаивал интересы и белорусов, и евреев, насильно вывезенных из Польши.

Наконец, в марте 1942 года состоялось в Москве важное для нас всех совещание генерала Андерса со Сталиным. С весной настало время очень тяжелых боев, как для Советов, так и для союзников. Снова немцы повели наступление по всему фронту. Ребром встал вопрос о переводе уже подготовленных польских частей в Персию. Сталин с нескрываемым раздражением настаивал, чтобы эти части

сражались на советском фронте, под советским командованием. С большими трудностями, при поддержке Англии, все же удалось отстоять, не дробить польские части и оставить всю армию под польским флагом. К этому времени и польские пайки были значительно сокращены. Без обиняков Сталин объяснил: "Мы и в нашей армии были вынуждены пересмотреть план снабжения. Америка оказалась не в состоянии выполнить обещанную нам доставку пшеницы. Ее многочисленные транспорты систематически топятся Японией". Только после долгих прений Сталин согласился выдавать вместо прежних ста тысяч пайков – всего 44 000! Это стало уже грозить не просто голодом, но вымиранием. Ведь на этих пайках жило и все гражданское население, которое опекала только что создавшаяся армия. Выход из этого катастрофического положения был один: добиться согласия Сталина выпустить в Персию не только готовые польские дивизии, но и гражданское население, находящееся под Ташкентом. Сталин вынужден был согласиться на это. С этого времени он стал все упорнее настаивать на сокращении польских дивизий. Тогда уже у него созревала мысль создать "освободительную армию" из еще не выпущенных и не допущенных на юг поляков и влить их в советские дивизии. Он иронически заметил при последнем разговоре: "По всему видно, Англия нуждается в хороших солдатах для пополнения своей армии". Все же под давлением союзников пришлось ему выработать и план эвакуации из-под Ташкента. Базами ее были приняты – Красноводск и Ашхабад. Как только решение это было принято, срок ее был ограничен концом марта. Проведена эвакуация была необычайно энергично самими советскими властями, без промедления.

Всего эвакуировано было 40 000 человек, и среди них из нашей прежней группы Марыся, Клара и Мария с детьми. Все мы облегченно вздохнули, узнав об их вывозе.

В делегатуре весной работа становилась все нервнее и напряженнее. Энкаведист не покидал ни на минуту нашего помещения. Он не только как власть имущий во все вмешивался, но и намеренно тормозил текущие дела. Часто сам допрашивал приезжающих из тюрем и лагерей, а когда они подавали списки фамилий еще не выпущенных заключенных, обвинял их в провокации.

В управление НКВД я, к своей большой радости, не допускалась, он сам передавал переведенные мною списки и делал доклады о текущей работе. Моя роль сводилась теперь к дежурству на станции и секретарству.

Счастлива я была выйти на свежий воздух из нашей душной и теперь такой мрачной конторы, уйти от этой безнадежной

подозрительности, недоброжелательства, постоянных придирок и грубой наглости.

Приближалась весна. Солнце днем уже сильно припекает, стекает снег с нагретых железных крыш. Радугой блестят на солнце длинные сосульки, смывается грязный снег вдоль почерневших улиц.

Апрель подходил к концу, когда я, проходя через городской сад, не спеша возвращалась домой с дежурства на станции. С радостью смотрела я на набухание почек, на чуть зеленую дымку, на пробуждение жизни после длительной, холодной зимы. Аграфена была дома и как будто поджидала меня. Не успела я вступить в свою комнату, как она вошла со словами:

– Слыхали, верно? Зосю-то вашу увели!

– Увели куда? Я ничего не знаю.

– Вчера вечером задержали ее на станции. Собралась она, видно, уезжать, а пропуска у нее не было. А может и за что другое, теперь время военное, – добавила она.

Я не спросила, откуда она об этом узнала, как видно, у нее были свои информаторы.

– Вы-то сами, – продолжала она, – ее хорошо знали? Что за человек она была?

– Да нет, я с ней только здесь познакомилась, – ответила я.

– Она мне давеча платье занесла, все о вас спрашивала, сказывала, что земляки вы.

Господи, да что она все допытывается у меня! Может быть тоже, чтобы в НКВД донести! мелькнула подозрительная мысль. Смутно было на душе, поздно спохватилась Зося, надо было бежать, пока ей еще доверяли, думала я. Советы своим сексотам пощады не дают. Что будет теперь с ней. Страшно подумать. Жалость к ней сплеталась со страхом за себя, как бы она при допросах и меня не вовлекла в эту историю. Невольно приходят эти подозрительные мысли, оставляя после себя отвратительный осадок трусливости и нечистоты. Предательство, вынужденное страхом и силой. Как часто мы об этом слышали от заключенных. Бывало, и сильные духом не выдерживали. Случалось не раз, что панический страх охватывал еще не арестованных людей, ожидающих, что их опутают невидимой сетью предательства. И снова и снова приходит мысль, что теперь, возможно, на Аграфену возложена обязанность следить за каждым моим шагом. Она им своя, отказаться не может! Уж не переехать ли мне от нее?

С ужасом и омерзением вспоминаю теперь эти мысли и чувства. Тогда же ими было охвачено большинство, особенно то, которое соприкасалось с советской властью.

В делегатуре по временам всем нам становилось тоже страшно. Сидим молча, нагло расхаживает по комнате энкаведист. То посмотрит, что я пишу, то подсядет к Critскому, то проверит, что делается в приемной. Там мгновенно стихают разговоры, и так уже приглушенные. В нашем кино тоже ежедневные посещения властей, то проверка документов, то вселения никому не известных поляков. Все стали настороженными, прекратились разговоры, каждый старался скорее выехать в армию. Всем становилось ясно, что так долго продолжаться не может. Мы же это отношение к нам переживали с ужасом и считали его незаслуженной обидой.

Уже самые отдаленные поселки и колхозы были оповещены, что первая эвакуация в Персию действительно состоялась и что с армией выехала часть гражданского населения. Несмотря ни на запрещения, ни на репрессии, ни на самые противоречивые слухи, поток поляков на юг не прекращался. Ехали мобилизованные, уезжали родственники призванных, бежали и без пропусков, подкупая по дороге милицию и кондукторов.

Из Янги-Юля в апреле генерал Андерс вылетел в Англию, чтобы посетить там отряды польских летчиков, уже зарекомендовавших себя в многочисленных боях. В Шотландию прибыли к этому времени готовые польские части из Персии, а в Лондоне генерал Андерс совещался о текущих делах с генералом Сикорским и видался лично с Черчиллем. Тут было принято общее решение – продолжать настаивать перед советским правительством относительно эвакуации оставшейся польской армии и гражданского населения из Янги-Юля в Персию. После Англии Андерсу пришлось еще посетить Каир и Тегеран – для инспекции и устройства прибывших туда частей. И только после почти двухмесячного отсутствия он вернулся в Янги-Юль.

Все это время армия, да и мы все, со страхом и надеждой ожидали его возвращения, зная, что решается наша судьба. Положение на юге было в это время очень тяжелым. Июнь, жарко, свирепствуют эпидемии, смертность большая. Борьба с этим трудная из-за недостатка во всем, но главное – все заметнее недоброжелательство властей и отчужденность местного населения, чего раньше не было заметно. Ежедневные слухи о все еще не выпущенных из тюрем и лагерей кадровых офицерах, пропавших без вести, об их массовом уничтожении под Смоленском, в Катынском лесу, чему просто отказывались верить. Все это поддерживало растерянность среди поляков.

Наконец, в июне, по возвращении генерала Андерса и при посредничестве английского правительства, удалось вырвать согласие

Сталина – выпустить за пределы СССР остаток армии и гражданское население из-под Ташкента. Касалось это семидесяти тысяч человек, сюда входили и белорусы, и евреи, которые за эти годы не приняли советского гражданства.

Эвакуация была назначена на август 42 года и должна была быть проведена безотлагательно.

Стояло жаркое лето. Дороги обсохли. Военные дела Германии поправились, а для союзников настал тяжелый период войны. Советы этим, конечно, воспользовались, чтобы поднять голову и выставить новые требования и условия.

Мы в делегатуре в это смутное время чувствовали себя забытыми и беспомощными, перестали доходить вести с юга. От нас все как будто намеренно скрывалось. Приезжавшие из лагерей старались миновать Актюбинск, чтобы скорее попасть на юг. Таинственно приезжали оттуда военные и спешно, тайком вывозили своих близких. Казалось, всех охватила одна мысль, одна цель: спасайся, кто может! Отчего это? недоумевали мы, ни распоряжения, ни декреты до нас не доходят. "Это Англия больше не может принять всех желающих выехать, – объяснил нам Критский, – ей нелегко и свою армию прокормить. Мы молчим, чтобы не вызвать панику среди оставшихся и репрессий Советов".

Озабоченная всеми этими событиями, я в начале августа как-то столкнулась с Критским у дверей делегатуры. Было еще очень рано. Улыбаясь, он протянул мне официальный синий бланк. "Это вам, прочтите, потом спрячьте, – тихо добавил он, – а завтра вечером зайдите ко мне".

Вместе вошли в контору. Здесь все как обычно, хотя народу мало, энкаведиста пока еще нет. Украдкой прочитала бланк и, озадаченная, спрятала его в карман. Это оказался лаконический вызов в местный военкомат, утром следующего дня. Я тогда об этом учреждении ничего не знала, и если бы не улыбка Критского, вероятно, отнеслась бы с недоверием и страхом.

Утром, ничего не сказав Аграфене и зная, что в конторе меня заменят, я отправилась по указанному адресу. Военкомат находился в центре города. Большой двор, огороженный высокой каменной стеной, у ворот две будки с вооруженными часовыми. Сюда то и дело заезжают военные грузовики, легковые машины, торопливо снуют военные в летнем походном обмундировании. Часовой пропустил меня по повестке, я вошла со двора в обширное каменное здание. В приемной, переполненной людьми, я ждала недолго. Здесь все больше солдаты, пришедшие за справками или по командировкам. Все весело и свободно разговаривают, шутят, смеются. По очереди

впускают в разные двери дежурные вестовые, обходят ожидающих, проверяют их повестки. Невольно приходит сравнение с управлением НКВД, куда я часто ходила. Там все молчат, все пропитано страхом и подозрением, зачем вызвали? не донос ли? Гнет этот отражается и на самих энкаведистах. Никто и никогда не уверен, чем это свидание может окончиться. Здесь и лица другие, и чувствуется доброжелательность и какая-то солидарность. Наконец, очередь дошла до меня, и, следуя за вестовым, я прошла по коридору в небольшой кабинет.

За столом сидел немолодой офицер, перед ним моя повестка.

– Вас вызывают в польский штаб в Янги-Юль, – обратился он ко мне, протягивая официальную бумагу с печатями военкома. – Вы мобилизованы в Красный Крест. Выезжайте немедля, если хотите попасть на транспорт в Персию. НКВД о вашем вызове в армию не осведомлено, и, между нами, не советую вам им об этом объявлять, – добавил он, внушительно посмотрев на меня.

Вот оно что, мелькнуло в голове, эти два учреждения не очень-то, как будто, ладят между собой и работают параллельно, по возможности без тесной связи. Я взяла бумагу, не вполне еще сознавая, что она мне принесет. Но когда офицер подписал, как военнообязанной, пропуск на любой поезд до Ташкента, безудержная радость не могла не отразиться на моем сияющем лице. Он усмехнулся понимающе и добродушно... Встал, пожал мне руку, улыбаясь моему неожиданному, очевидному счастью. Его сочувствие, окружающая обстановка общего дела, приязни, спокойного добродушия и уверенности в своей правоте захватили меня, когда я, счастливая, проходила в опустевшую приемную. Было радостно не только за себя, но приоткрылась завеса какой-то другой жизни, других людей, объятых другими идеалами и у которых сохранилось прежнее, доверчивое отношение друг к другу.

Как на крыльях я долетела до делегатуры. Здесь, как обычно, молчание. Хмуро все сидят на своих местах, искоса поглядывает на меня через открытую дверь Критский. Работаю. До вечера еще далеко. Это казалось трудным, так хотелось поделиться моим счастьем с друзьями. Внешне спокойно, наученная Советами скрывать свои мысли и чувства, я дотянула до вечера.

После ужина, когда совсем стемнело, я поспешила к Критскому.

– Ну, поздравляю! – встретил он меня на пороге, сам открыв дверь. – Было у нас уже несколько случаев именного вызова в армию через военкомат – это самый верный способ! Кто-то за вас

похлопотал, может быть ваши колхозные подруги? Они ведь выехали с первой эвакуацией, теперь уже, наверно, устроились в женском батальоне. Заходите! заходите! – открыл он мне дверь в свою комнату. Тут его спальня, столовая и частный кабинет. В этой комнате мы впервые встретились и выслушали его доклад. Сколько было тогда наивных надежд. Казалось, с этого времени прошла целая вечность.

– Садитесь за стол, – придвинул мне стул Критский, – вот я вам даже угощение приготовил. Выпьем с вами на радостях.

На столе водка, закуска, хлеб, масло.

– Рад за вас, – продолжал он, – сможете вырваться отсюда, и, дай Бог, попадете в свет из этой непроглядной тьмы.

Я невольно улыбнулась, наш милый, всеми любимый Критский всегда говорил немного старомодно и торжественно.

– Не скрою от вас, да вы и сами понимаете, – говорил он, наливая водку и пододвигая мне закуску, – будущее наше мрачно и безотрадно. Не надеюсь на улучшение наших отношений с Советским Союзом. Я уверен, что не сегодня завтра – делегатуры все закроются, магазин отберут, эвакуацию приостановят под каким-нибудь благовидным предлогом, а возможно закроют совсем границу. Вы уже слышали, конечно, что они имеют наглость открыто нас обвинять в шпионаже. Добираются и до наших архивов, боятся, что мы их вывезем и опубликуем за границей, чтобы испортить их отношения с союзниками. Уже кое-что я передал в верные руки, да не знаю, удастся ли их вывезти. При эвакуации запрещают вывозить все написанное – трудно с этим бороться. Я знаю, уже кое-кто из делегатов и служащих арестованы. Вы тут у нас как раз на первом месте. Язык хорошо знаете и в НКВД часто бывали.

Он замолчал, а я смотрела на его тонкое, красивое лицо, теперь такое усталое и изможденное. Во всем его облике проглядывала безысходная грусть. В этой, теперь такой обжитой, комнате, в тепле, после длительной дружеской работы этих последних месяцев – эта наша последняя беседа, торжественные тосты, которые он провозглашал, навсегда остались у меня в памяти. Не часто встречаешь таких чистых, культурных, самоотверженных людей.

– А сами вы что думаете делать? – спросила я его.

– Я? Я делегат, бежать не могу, пока меня не сняли с должности, а жена и сын не хотят оставить меня одного и отказались выехать.

В доме было тихо. Нам принесли два стакана горячего чая с американским печеньем.

– Сегодня кутим, – улыбнулся Критский, показывая на них. – Велел я из предосторожности из магазина все раздать, все равно так или иначе отберут.

Выпили чаю, и, просмотрев мои бумаги из военкомата, подумав, он предложил мне план моего отъезда.

– Садитесь в прямой поезд в Ташкент в 12 дня. Скажем, послезавтра, в среду. В конторе при энкаведисте я вас вызову. Дам вам боны на хлеб и баню и попрошу пойти на станцию встретить поезд с севера. Прощаться с вами не будем. Вот, – поднял он рюмку водки, – сегодня простимся. На станции вас будет ждать дежурная, вы ей передадите боны, а сами погружайтесь. Вот вам тут и пакет, который полагается всем отъезжающим. По дороге берегитесь контроля – бывало, что и с пропуском людей с поезда снимали. Подкупайте тех, кого найдете нужным, лучше всего кондуктора. Вещей много не берите.

Я взволнованно слушаю его заботливые предостережения. Так бы хотелось, как тогда у узбеков, уехать всем вместе, не прерывать наладившихся ценных отношений, но знаю, как это невозможно, особенно с такими людьми, как Критский. Этот не сбежит, связан, и до конца будет на своем посту...

Долго еще мы сидели, обсуждая, что возможно сделать и как избежать надвигающихся на все делегатуры бедствий.

– Я мало чем могу помочь! – грустно сказал он напоследок. – Постараюсь еще кого только возможно переправить на юг, ну, а если делегатуру закроют, тогда буду считать себя свободным и постараюсь скрыться.

Мы простились, он проводил меня до калитки. Бесконечно грустно было оставлять этого человека, который мне казался обреченным, и, конечно, и сам он это смутно предугадывал... Под яркой луной и усеянным звездами небом – Актюбинск спал. Нигде ни души. Темные улицы уже давно не освещались фонарями и редко где в окнах слабо брезжил желтоватый огонек.

Взбудораженная вином и разговором с Критским, чувствуя к нему жгучую жалость, но все же счастливая, несмотря ни на что, я шла не спеша, с наслаждением вдыхая посвежевший после жаркого душного дня ночной воздух. В прозрачном лунном свете все казалось нереальным, а мысли о прошлом, настоящем и будущем мелькали в голове, оставляя какое-то новое ощущение легкости и свободы. Старое отходило, и все существо как-то стремилось в новую, еще неясную жизнь. Уже вырисовывались планы, как провести этот мой последний день в Актюбинске, кого повидать и что сделать.

Отравляли эту радость – образ Критского, всей нашей работы, кино, служащих, явная их обреченность на грядущие волнения и страх за себя и за недоконченное дело.

Я вернулась домой глухой ночью, калитка отперта, ключ от дома у меня в кармане. Тихо вошла, тихо легла, не зажигая огня – вся комната и так залита луной. Долго еще я ворочалась на своей койке, пока незаметно для себя под утро заснула. Проснулась с радостной и волнующей мыслью: сегодня последний день! Необходимо скорее пойти в больницу и добиться решения Скоповичей ехать со мной. Как военнообязанная – могу их выдать за своих родственников – не могу допустить и мысли, что они останутся здесь!

Владислав оказался свободен, а Ванда после ночного дежурства отдыхала на кровати. Они оба выслушали меня, просто онемев от волнения и неожиданности. Я не скрыла от них серьезности положения.

– Умоляю вас, откажитесь от работы, выедем из Актюбинска завтра со мной вместе. У меня есть пропуск, а вас я выдам за родственников, да и делегатура поможет.

Ванда колебалась, на щеках у нее выступили красные пятна.

– Да как же можно? так сразу! – проговорила она наконец, вопросительно взглядывая на мужа. – Ведь говорят, там на юге страшный голод, надо сперва променять все вещи на провизию.

– Нет, Ванда, – уговаривала я ее, – надо бежать, и как можно скорее. Вы ничем не рискуете в армии. Вас, Владислав, сейчас же примут доктором в госпиталь, Ванду сиделкой, чего вам бояться! Из вещей берите только самое необходимое и выезжайте со мной завтра!

– Завтра? – с нескрываемым ужасом протянула Ванда. – Это совсем невозможно, не могу же я все бросить! – Она с отчаянием оглядывала свою комнату, чемоданы, аккуратно сложенные в углу, одежду на вешалке, прикрытую чистой простыней, постель с новогрудскими одеялами и подушками.

Владислав молчал, вопросительно глядя на нее. Видимо, и он колебался. Наконец, решительно заговорил:

– Мне кажется, Ванда права. Мы здесь подготовимся, променяем вещи на продовольствие, ведь и армия голодает. А вы поговорите в штабе о нас, пусть меня мобилизуют как врача, тогда мы тоже сможем выехать через военкомат. Это все же вернее! Да я думаю, что все эти страхи, которыми вас пугают, сильно преувеличены. Зачем Советам нас задерживать? Даже если прикроют

делегатуры, транспорты в Персию будут продолжаться, раз Сталин согласился всех выпустить.

Что было ему на это ответить? Я промолчала, не смея настаивать, да и я сама разве бы уехала из делегатуры, если бы не вызов из штаба!

Найдя поддержку у мужа, Ванда повеселела.

– Вы предупредите хозяйку, – добавил Скопович, – что переезжаете ближе к конторе, и что мы вдвоем придем уложить ваши вещи, т.к. вы сами работаете.

Перед уходом я снова напомнила им, что, я боюсь, они могут пропустить транспорт. Сам офицер в военкомате предупредил меня не медлить, если я хочу попасть в Персию. Они же поддерживали друг друга, считая такой внезапный отъезд просто немыслимым, и в душе, вероятно, считали меня паникершей.

Оставила я их смущенными и растерянными, а в душе надеялась, что они вскоре последуют за мной.

Из больницы я зашла еще к недавно приехавшему из колхоза нашему щорсовскому леснику, Божко, вывезенному из леса еще до меня. Он жил на квартире с женой и детьми и неплохо зарабатывал: то грузчиком, то поденно маляром или плотником. Это был верный и преданный семье человек, я ему откровенно рассказала об общем положении и о своем внезапном отъезде. Он тотчас же взялся помочь мне с вещами и посадкой на поезд. Со мной вместе он зашел ко мне. Наскоро я распределила вещи, оставила ему, как православному, две чудные иконы из Щорс, себе один чемодан и ремни с одеялом, остальное разделила между ним и Вандой. Мой чемодан они вдвоем уложили уже без меня по своему усмотрению, сама я пошла на работу.

Вечером, вернувшись, простилась с Аграфеной и Лидой. Они моему переезду не удивились. Чувствовали, как и я, что в наших отношениях что-то порвалось, да и уроки с Лидой за неимением времени прекратились. Все же рано утром Аграфена вышла меня проводить до калитки, я шла налегке, вещи с вечера забрал с собой Божко. Улыбаясь, она протянула мне руку.

– Ну, вы теперь в свет вышли! Все с делегатами да с офицерами работаете, кто знает, увидимся ли когда?

– Благодарю вас за все, – ответила я ей, – вы мне во многом помогли, и в самое трудное время! Я это вам никогда не забуду! – Поцеловав ее на прощанье, я с облегчением отправилась в делегатуру.

Начало августа. Хоть и рано, а солнце уже сильно печет. Перехожу на теневую сторону. В летнем платье, без платка на голове, без

вещей, сознавая, что работаю последние часы, чувствую какую-то необыкновенную легкость. Хоть в конторе все по-старому и ничто не отличало этот день от других, но в душе стояла такая радость, что она своим светом окрашивала все. Все вокруг хотелось заметить, запомнить, все внутренно обнять.

Огромная жалость поднималась к этим людям. Сумбурно, как бы ища выхода, снуют они из приемной ко мне. Вокруг так чувствуется молчаливое, тревожное ожидание. Чего? Одна из гнетущих обязанностей нашего последнего пребывания в делегатуре – это вынужденное наше молчание на настойчивые вопросы приезжающих.

Машинально перевожу списки, переданные мне вновь прибывшими. Снова и снова мелькают фамилии и прежние занятия еще сидящих по лагерям поляков. Вот ксендз, вот судья, вот крестьянин. Эти списки Критский передает энкаведисту.

– Ладно, наведем справки, – говорит он, просматривая их. – Может быть и провокация. Кто подал записку?

Но того уже давно нет. Списки без подписи – опасно! Привезший его ушел, а может быть и уехал – у него пропуск в армию – на юг. На язвительные слова энкаведиста никто не отвечает. Критский, не глядя на меня, перебирает бумаги. Наконец, он через открытую дверь, около 11 часов, вызывает меня к себе.

– Вот вам боны на хлеб и баню, – говорит он, взглянув на меня. – Прошу вас встретить поезд с севера, затем проводите приехавших в кино. Устройте их там, сегодня я занят – регистрироваться пусть придут завтра.

Я молча взяла боны.

– Так до завтра! – кивнул он мне не улыбаясь. Я взглянула на него, и только глазами простились мы, чтобы больше никогда не встретиться.

Может быть я на одну лишнюю секунду задержалась у стола, но Критский уже опустил глаза и деловито просматривал бумаги. Энкаведист не обратил на нас никакого внимания, как и остальные присутствующие. Он стоял спиной и смотрел на улицу. Окинув глазами комнату, я медленно вышла за дверь. На душе было смутно. Закрывалась еще одна страница жизни. С нею уплывала в вечность хотя и тяжелая жизнь, но заполненная часто такими чудесными примерами любви, жертвенности, стойкости и сочувствия многих окружавших меня людей, что с замиранием сердца и сожалением я переживала это распыление прошлого.

Полуденное солнце заливало горячим светом все вокруг. Прохожих нет. Стараюсь идти в тени, но и тут мостовая раскалена и на

асфальте остаются следы каблуков. При малейшем дуновении ветра поднимается желтая пыль и долго радугой стоит в нагретом воздухе. Дышать трудно, но вокзал уже недалеко. Вот и памятная площадь – ночлежка прошлого года. Здесь под деревьями, на скамейке, поджидают меня Скоповичи. Они оба бросаются ко мне взволнованные и говорят со мной, как будто оправдываясь.

– А мы уже все обдумали, – говорит Ванда, – увидите, все будет хорошо, и мы очень скоро увидимся. Вот только Владислав съездит променять вещи на провизию, ведь еще неизвестно, сколько времени придется ждать транспорта в Янги-Юль.

– Послушайте меня, – отвечала я, – умоляю вас не задерживаться. Меня не провожайте – Божко мне поможет.

Мы наскоро расцеловались. Уже какая-то невидимая стена нас разделяла, уже мои мысли разбегались и глаза искали распахнутую настежь дверь, куда валил народ, а он валил густой толпой, с чемоданами, кошелками, узлами.

– До свидания! – прокричала мне вдогонку Ванда, высоко подняв руку, провожая глазами, пока я не исчезла в дверях вокзала.

Вот и все! подумала я. Хорошо, что они хоть вместе. Но и эти последние мысли, последняя связь с Вандой, растаяли среди окружающей меня суматохи и толкотни. Одна мысль охватила все мое существо: только бы попасть на поезд! Нелегко было мне найти в этой беспрерывно двигающейся толпе моего провожатого, Божко. Он стоял на перроне далеко впереди, с моим чемоданом и узлом, перевязанным ремнями. Он заранее достал себе билет до следующей станции, чтобы проводить меня, а себе там закупить провизии. Ждали мы недолго. Вот уже послышался нарастающий шум подходившего поезда. Постепенно замедляя ход, он пыхтя проплыл мимо нас и остановился. В последнюю минуту отдала боны дежурной, которая подбежала ко мне. Продвигаюсь с трудом за богатырской спиной Божко, а поезд уже облеплен со всех сторон гроздьями за что-то уцепившихся людей.

Господи, да я никогда не влезу, с отчаянием думаю я, но Божко, держа мои вещи в одной руке, другой силой втаскивает меня на площадку. Влезли!

– Подождите здесь! – говорит он мне, протащив меня в угол, и сам исчезает с вещами.

Вокруг все продолжается неистовая суматоха, крики и ругань. В своем углу я стараюсь отдышаться, но воздуха нет и дышать совершенно нечем. Вероятно, я бы упала, если бы это было

возможно, но упасть тоже некуда, и хоть и кажется, что выдержать так долго немыслимо, а стоишь, подпираемая со всех сторон какими-то потными телами. Сквозь немытое стекло смутно различаю – бабы, плачущие дети, вещи, мешочники, солдаты, все смешалось в какой-то круговорот. Ведь это чудо, что я попала! промелькнуло в голове, когда откуда-то снова появляется Божко.

– Пани храбина, – окликает он меня и, раздвигая толпу, несмотря на протесты, протаскивает меня в коридор. Мы остановились и прислонились спиной к закрытому купе с надписью "Служебное".

– Я уже сговорился, – шепчет он мне по-польски, – как только двинемся, кондуктор вас в свое купе пустит. Там отдохнете. Пришлось дать ему за это костюм храбия! Дорого! да ничего не поделаешь, боится, теперь время такое! Я тут с вами постою, а то затолкают вас.

Его слова долетали до меня, как в тумане, и я только после осознала, что этот человек сделал для меня. Тогда же мне казалось, что я дольше не выдержу, и я напрягала все силы, только чтобы не упасть. Звенело в ушах и кружилась голова, когда наконец послышался долгожданный звонок. Сразу подошла милиция и стала наводить порядок. Поснимали висящих людей, отогнали и с шумом захлопнули дверь.

Свисток – и мы медленно поплыли вдоль еще гудевшего перрона. Отходит все, станция, толпа, Актюбинск с его низкими домами, садами, вот пошли и пригороды, пустыри, знакомые лачуги и горы мусора.

Я стою спиной к двери и через чью-то голову смотрю в окно. Уехали. Актюбинска с его пригородами уже не видно, потянулась выгоревшая, такая знакомая нам степь. Понемногу я отошла. Расспрашиваю Божко об его планах.

– В армию не пойду, – говорит он, – семья без меня пропадет. Тут останусь до окончания войны, заработаю, прокормлюсь как-нибудь, а там и домой поеду, – и, помолчав, добавил: – может еще и с вами со всеми увидимся.

Вокруг нас все постепенно устраиваются, кто сидит, кто стоит, стало свободнее дышать. Я пробираюсь к самому окну. Оно открыто, и несется навстречу мне ветер, обвевая горящее от жара лицо. Проясняются мысли, постепенно радость снова охватывает все мое существо. Наконец появился и кондуктор, усмехнулся в сторону Божко и пожал ему руку, как знакомому. Своей отмычкой отпер дверь купе и пропустил нас туда.

Мягкий вагон, окно с откидным столиком. Мой чемодан уже в сетке, на диване постельные принадлежности. Все обдумал Божко!

– Ну, покажите ваш пропуск, – обращается кондуктор ко мне, – без разрешения рисковать не смею.

Я показываю ему мои бумаги из военкомата.

– Так вы военнообязанная? Вот это хорошо! – вернул он мне бумаги. – Я ведь понимаю, устали – шутка ли в вагон влезть! Жарко, сесть негде. Отдыхайте здесь, никто вас не потревожит. Я вас запру и буду наведываться.

Тут же я простилась и с Божко. Как его отблагодарить? Без него я и сейчас бы была еще на станции! Божко достал из узла водку и закуску для угощения контроля, и оба довольные вышли, оставив меня одну.

Чувство невесомости, легкости, пустоты и распыленности охватило меня. Была ли это реакция после напряжения и волнения, усталость ли от жары или просто дурнота от духоты и шума – я не знаю, но голова блаженно кружилась, стучало сердце, испарина освежала воспаленное лицо. Одно только неодолимое желание было – лечь, ни о чем не думать и спать... спать... спать... Я не помню, как я легла, неудобно поджав ноги из-за мешавшего мне узла, и под мерное колыхание и однообразный стук колес погрузилась в небытие.

Проснулась я только под вечер. Стоим. В купе темно. Окно задернуто суконной занавеской. Вечереет, но как будто даже и не посвежело, так же жарко и душно, как днем. За дверью слышны разговоры, шарканье ног, хлопанье дверей. Сквозь щель занавески вижу – станция большая. Огни еще не зажжены, но солнце уже сильно склонилось к горизонту.

На перроне, как и в Актюбинске, суматоха и крики. Облеплены подножки, детей и вещи подают в открытые окна. Здесь, в полумраке, за крепко запертой надежной дверью, я чувствую себя в безопасности. Не выдаст меня кондуктор, самому опасно – получил взятку. Вот наконец и звонок. Первый, второй, третий. Мы медленно отплываем в открытую степь и тишину.

Ну, не чудо ли это, думаю я, еду на юг, в армию, о чем и мечтать даже не смела! Ведь я не подхожу ни под один из наших декретов и распоряжений для выезда в Персию. Не чистокровная полька, никого из родственников в армии у меня нет, и Советы вывезли меня из "своей", как они считают, Белоруссии. После трех лет впервые осязаемая перемена, сулящая столько счастья впереди. Вот он, скачок в свободу! вспоминаю я слова сестры.

Откинула штору, опустила стекло окна. Ветер так и хлынул в лицо, растрепал волосы, засвистел в ушах. С наслаждением развертываю заботливо приготовленные Вандой бутерброды, открываю термос с горячим чаем. В коридоре у соседей тихо. Солнце зашло, посвежело. Успокоительно, убаюкивающе, неумолкаемо стучат колеса вагонов. К ночи зашел кондуктор.

– Я к вам уже не раз заходил, – улыбался он, – да вы все отдыхали, видно, что замучились. Вы вот к полякам в армию едете, а мне не раз приходилось вашим помогать. Они ничего, вояки хорошие. Нам тоже их солдаты пригодятся, сам Сталин вашу армию хвалит! А земляк ваш давно уж с поезда сошел. Обходительный человек, вроде как наш русский. Мы все вместе и закусили. Сейчас будет до утра тихо. Может, хотите в коридоре посидеть?

– Вот это хорошо, – обрадовалась я, – а вы тут отдохните.

Вышла в коридор, тускло горят давно не протиравшиеся, пыльные лампочки. Вагон заметно опустел, повыходили мешочники и местные колхозники. Стоя у окна, вглядываюсь в тьму. Ни луны, ни звезд, летят только навстречу гонимые ветром искры и тут же пропадают в темноте.

Часа через два кондуктор провел меня обратно в купе и вышел, заперев за собою дверь. Снова я заснула как убитая. Но отчего такая пустота в голове? как будто что-то умерло внутри, а новое еще не народилось. Смутно ощущалось и грядущее одиночество, ведь в армии я никого не знала, а меня за настоящую польку никто считать не мог. Надо было прожить вместе с ними так близко, как эти годы, чтобы поляки приняли, как свою. Но сейчас и об этом не думалось, хотелось только отдыха, тишины и покоя.

Наутро узкая красная полоска зари осветила контуры редких деревьев на безграничной равнине. Камни да песок, да телеграфные столбы бегут мне навстречу, и лишь небо меняет свой облик и окраску. Почти без остановок пролетаем мы огромные пространства какого-то безликого края. Мысли тоже не останавливаются ни на чем. Все же вынужденное безделье радует. Остро ощущается оторванность от прежней жизни, и беззаботно и бездумно течет ничем не занятое время.

Так проходят еще сутки. Впрочем, я утеряла счет часам и не ждала приезда, пока не зашел кондуктор и не объявил:

– Сегодня к вечеру будем в Ташкенте.

Последний день не отрываясь смотрю в окно. Так все ново, и пейзаж, и освещение. Летят зеленые оазисы, мелькают белые сакли, серебряная лента Сыр-Дарьи то появляется, то исчезает среди холмов и долин. Много нам о ней рассказывали. Знаменита среди нас была

станция Кизил-Орда, здесь в первые месяцы после амнистии было снято с поезда немало поляков, не допущенных в армию. Здесь им сулили хлеб и заработки и сплавляли на баржах вниз по реке на сбор хлопка. Оттуда никто не вернулся, многие погибли от эпидемий и голода. Вот и сейчас мы долго стоим на этой станции. Толпа здесь заметно другая. Женщины в длинных, ярких платьях и платках иногда очень живописны в своих лохмотьях, с детьми на спине или на руках, они не спеша шагают группой за мужчинами в халатах и тюбетейках на бритых головах. Когда мы отъехали и заметно стих шум в коридоре, вошел кондуктор и открыл мою дверь настежь.

– Ну, теперь можете себе выбирать любое место, – сказал он, – до Ташкента больше контроля не будет, а там ваши вас встретят.

Я обошла весь вагон, но поляков не нашла. Было жарко. На душе неспокойно, что то меня еще ждет на этом новом месте! Как отнесутся в армии к моей несомненной русскости, которую я, конечно, не намерена скрывать. Стою у окна размышляя, глядя на то и дело появляющуюся мутную, бурную реку. Окно открыто, веет свежестью и влагой. К ночи мы наконец подъехали к Ташкенту. Кондуктор вынес мои вещи на площадку, и мы расстались с ним друзьями. Остановились, везде огни, мы стоим у перрона. Открываю настежь дверь. Смотрю. Группами стоят в летних гимнастерках поляки. Лихо сидят на них береты с польским значком. Уже на ходу многие повскакали на подножки и, пробегая по коридору, кричат по-польски:

– Есть ли здесь наши поляки?

– Есть! есть! – кричу я им вслед.

В ту же минуту мои вещи спущены на платформу, меня высаживают. Из других вагонов тоже – женщины, дети, старики... Сомкнувшись вокруг нас плотным кольцом, нас ведут к выходу. Здесь на вокзальной площади уже ждут военные грузовики. Во мгновение ока мы погружены, сидим на своих вещах и катим полным ходом по гладкому шоссе к предместью Ташкента, в штаб польской армии. От быстроты этого неожиданного натиска мы ошеломленно молчим. Было поздно, когда мы подъехали к воротам, у которых стояли часовые.

Нас ввели в каменное освещенное здание. Здесь нас зарегистрировала приемная комиссия, я подала адрес Скоповичей для их вызова в армию – через военкомат. Всю нашу партию приехавших тут же распределили и передали дежурным, кого в армию, кого в гражданский лагерь, меня же оставили при штабе.

– Вы из делегатуры, у нас есть сведения, что их начали преследовать. До транспорта поживете у нас в палатке, – объяснила мне молодая полька в военной форме.

Помогая нести мои вещи, с мигающим фонарем в руке, она повела меня по сказочному, как мне показалось при свете луны, яблоневому саду. Под деревьями было темно, и, несмотря на фонарь, я то и дело натыкалась на стволы, корни и торчащие по дороге колья палаток. Дежурная ввела меня в одну из них. Высоко подняв фонарь, указала на свободный матрас с подушкой и солдатским одеялом, попрощалась и ушла, оставив меня в полной темноте. Не раздеваясь, я улеглась на мое жесткое ложе. Чудесный ночной воздух насыщен какими-то новыми, пряными запахами цветов и трав. Треск кузнечиков и перекликание ночных птиц так заполнили эту бархатную тьму непривычной, ночной жизни, что заснуть мне, со всеми новыми ощущениями и мыслями, беспорядочно пролетавшими в голове, удалось только под самое утро. Разбудила меня громкая войсковая побудка. Светло. Яркий луч, как лезвие ножа, проникает в палатку. Со мной семеро молодых, приветливых, смешливых девушек. Они ожидают приема в женский вспомогательный батальон. Мы лежим головами к стенкам палатки. У наших ног, прислоненные к центральному столбу, кучей сложены наши вещи. Вопросы так и посыпались на меня.

– Вы откуда? Когда вывезены? Как там в Актюбинске? Как делегатура? Встречали вы такого-то? Знакомы ли с таким-то?

Я старалась как могла удовлетворить их любопытство, пока они вели меня среди целого города палаток к душам и кухне.

Не торопясь, мы пробирались гуськом по узким протоптанным тропинкам среди низкорослых, старых, корявых яблонь, то и дело наклоняясь под их узловатыми ветками. Но вот и деревянные бараки с душами, умывальниками, уборными. Есть горячая вода, парикмахеры, тут же ларек, в котором продавались мыло, щетки и гребенки. Дальше шли бараки с кухнями, где в больших котлах заготовлен крепкий чай с сахаром и молоком. Тут же получали мы и солдатский сухой паек на несколько дней. Здесь место встреч, все заговаривают друг с другом без предварительного знакомства. В очереди делятся последними новостями. У всех, даже у меня, сознание, что вернулись к себе домой, что каждый является частью какого-то надежного, дорогого целого, и меня тоже охватывает чувство солидарности и признательности к этой окружающей нас ежедневной заботе, от которой мы так отвыкли. Здесь каждый и сам по себе, со своими думами, со своей личной

жизнью, но и какая-то невидимая цепь охватывает и сплачивает нас в одно целое.

Возвращаясь, проходим мимо каменного павильона – нашего штаба. Высоко поднят Белый Орел, неподвижно стоят часовые, снуют женщины в военной форме, солдаты, офицеры. К подъезду то и дело подъезжают легковые машины.

Вернувшись к себе, мы прячемся от солнца и завтракаем, сидя на своих вещах. Девочки наперебой мне рассказывают последние новости. На фронте идут напряженные бои, немцы снова одерживают верх, ожесточенная борьба идет за нефть Донецкого Бассейна и Кавказа. Уже в начале августа 42 года немцам удалось занять Эльбрус и с севера подступы к Сталинграду, но тут сосредоточены большие советские силы. Добрались немцы и к нефтяным промыслам Майкопа, говорят, они уже недалеко и от Грозного.

Все это для меня ново. В Актюбинске официальные известия тщательно скрывали поражения и неудачи.

– Будет ли транспорт, и когда? – спрашиваю я.

– Будет! конечно будет! – уверенно отвечали мне. – Но когда – еще неизвестно, мы вот уже месяц как сидим на вещах! В июле много наших приезжало с севера, теперь все меньше и меньше, – недоумевали они.

– Здесь теперь стало голодно, – продолжали они рассказывать, – паек все уменьшается, мы уже меняем вещи на провизию по поселкам. Не было бы счастья, так несчастье помогло! – смеялись они. – Только из-за голода и согласились Советы выпустить нас в Персию. Не могут же они, на глазах союзников, всех здесь заморить голодом. Вот теперь ходят слухи, что Сталин скоро остановит списки на вывоз, а потом и границу закроет. Говорят еще, что и Англия испугана нашествием женщин и детей, у них тоже с транспортом плохо, а в Африке сейчас их положение трудное.

С этой молодежью я зажила весело и дружно. Все они были студентки, вывезенные из Львова и Вильно. Перебивались мы все это время, питаясь супом, хлебом и скудным сухим пайком. Подходил конец августа. Я уже свыклась с этой беззаботной бивуачной жизнью. От нас требовалось только убирать вокруг своей палатки да дежурить при кухне или душах. Несмотря на недоедание, чувствовалась твердая рука и постоянная забота. По утрам, несмотря на жгучее солнце, мы группами выходили на живописные южные базары, где, правда, ничего, кроме фруктов, достать было нельзя. Манили нас нарезанные ломти арбузов, дынь, горы сухих абрикосов и изюма под парусиновыми или камышовыми навесами. Под тенью

деревьев, скрестив ноги, на циновках, сидели восточные люди с корзинами винограда. Вокруг базара – оазис, вода, сакли, утопающие в сочной зелени. За старые тряпки здесь можно было выменять горячий чурек или кукурузную лепешку. Вскоре и эти прогулки прекратились. Нам запретили отлучаться из штаба, а мы от жары и долгого вынужденного безделья все устали. В палатке днем стояла нестерпимая жара и духота, мы предпочитали сидеть под деревьями на корявых корнях, ожидая вечерней прохлады.

Бывало, уже далеко за полночь, а мы все еще не расходимся, лениво переговариваемся, пока не затихнут все ночные шорохи и постепенно не погаснут огни в уснувшем лагере. Время от времени только заметишь, как промелькнет свет фонаря, качающегося в невидимой руке куда-то идущей дежурной, и невольно следишь за ним, то появляющимся, то снова пропадающим, пока не исчезнет окончательно в темноте. Вот и наши девушки одна за другой уходят вглубь палатки, без света устраиваются на ночь, приподымая у изголовья парусину для сквозного ветра.

Темнота южной ночи особенная, бархатно-черная, мягкая, беспросветная. В ней светлячки пролетают зелеными искрами, и за их полетом тоже следишь лениво и бездумно... Все ушли, пора и мне! Ощупью пробираюсь я до своего матраса. Как и все, приподымаю полу жесткого брезента, и, чуть легла, засыпаю как камень. Спала я недолго. Проснулась как от толчка и села. Неясно почудилось чье-то присутствие. Вокруг полная тишина и мрак. Все же было ощущение, что кто-то коснулся моей головы. Снова ложусь, и без мысли, по заученной давно привычке, просовываю руку под подушку. Тут в изголовье завернуто и связано в пакете все самое для меня ценное.

Удостоверение, свидетельство о работе в делегатуре, заботливо написанное рукой Критского, его отзывы и рекомендации, кое-какие уцелевшие фотографии и письма.

Этот привычный жест меня всегда успокаивал перед сном: здесь все мое прошлое и надежда на будущее. С радостной благодарностью я засыпала, чувствуя сверток под своей головой. Но в этот раз рука не встретила заветного пакета! Уже смыкавшиеся глаза открылись, полные ужаса, сон мгновенно отлетел. Сажусь, откидываю подушку и, холодея от страха, обшариваю углы. Пусто! Хоть в голове не умещается, что пакет может так внезапно исчезнуть, но сердце куда-то проваливается, захватывает дыхание.

Нет! как это ни кажется чудовищным и невозможным – он исчез! Удостоверившись в пропаже, я разбудила всех в палатке.

Зажгли электрический фонарик и обшарили все углы. Все напрасно! Девочки были напуганы и подавлены и, сочувствуя мне, подняли тревогу во всех соседних палатках. Слишком поздно! Только подкупленный местный мальчишка мог проскользнуть сквозь стражу, говорили мы между собой, и подползти к палатке. Кто-то знал, где берегут самое ценное и дорогое. Нам всем, конечно, было известно, что за удостоверением охотились все: и белорусы, и евреи, и русские.

Всем нам урок! Известие о покраже облетело весь лагерь, все зашили свои удостоверения в носильную одежду. Я себя не переставая упрекала в непростительном легкомыслии. Мне здесь все показалось с первого же дня таким прочным и безопасным, что я искренно считала себя уже на свободе.

Утром того же дня мне выдали в штабе свидетельство о покраже и удостоверение личности. Но печати НКВД не было, а что для них мог значить документ, выданный поляками? Советским властям об этой пропаже ничего не было известно, и мы ее тщательно скрывали, чтобы не обратить на меня их внимание. В штабе мне посоветовали при посадке на пароход польский документ не показывать, а постараться пройти незамеченной. Легко сказать, а как сделать? думала я. С этой памятной ночи нашло на меня какое-то оцепенение. Днем я тупо сидела одна, перебирая в голове все возможности выхода из этого положения, но не находила его.

Вероятнее всего, меня не пропустят, с ожесточением думала я. Дадут какое-то советское удостоверение личности. Какое? Мой паспорт отобран. Доказать, что я польская подданная, мне невозможно. Сослаться на делегатуру – меня арестуют и будут принуждать взять советский паспорт, а это конец моей надежде прорваться в Европу. Пойти в советские войска и бежать с немцами? Меня никогда не пошлют на фронт. День и ночь эти мысли стояли в голове, приводя меня временами в отчаяние.

Вокруг шла деятельная подготовка к транспорту. Пересматривались вещи, отменены были все отпуска, и наконец стало известно, что приехал в штаб генерал Жуков для проведения второй эвакуации. Говорили, что она уже началась и должна быть проведена в течение недели. Меня еще очень беспокоила участь Скоповичей. Несколько раз я справлялась о них в штабе, но их все еще не было. Вокруг меня все ликовало, и это только сильнее подчеркивало, как мне казалось, мою обреченность.

– Не горюйте! Вот увидите, мы отстоим вас! – утешали меня мои девушки.

С шутками и хохотом они между собой придумывали способы, как бы одурачить и провести энкаведиста при посадке. К счастью, состояние ожидания продолжалось недолго. Через несколько дней, с зарей, проверили списки и вывели нас с вещами из палаток, погрузили в военные грузовики и отвезли в Ташкент.

Я покинула Янги-Юль без сожаления. Жить так дальше в неизвестности казалось невыносимым, хотелось, чтобы моя участь решилась как можно скорее.

Бесконечно длинный состав разнокалиберных вагонов – пассажирских, товарных и платформ, покрытых брезентом, ожидал нас на запасных путях. Было еще утро, когда прицепили паровоз и мы двинулись в путь. Я попала с моими семью девушками в вагон третьего класса, по-советски – "жесткий", где мы все и разместились.

Вокруг бурлила жизнь. Все были возбуждены и радостны, беззаботно обсуждая наше положение, всецело доверяя нашему командованию. Иногда передавали и непроверенные слухи о том, что наш транспорт последний, что следом за нами эвакуируется генерал Андерс с оставшейся армией, а затем Сталин закроет границу и никого больше из России не выпустит. Эти слухи, конечно, омрачали общую радость, но моя молодежь не задумывалась и не верила в возможность этой катастрофы для огромного большинства оставшихся в СССР поляков.

Не помню, сколько времени мы ехали – дни и ночи пролетали в волнении и напряжении, мы мало где останавливались. Часами я смотрела в окно, но и там, как и в душе, – опустошенная пустыня. Камни, серые, красноватые, черные, да желтый песок мелькали перед утомленными от бессонницы глазами. Стояла удушливая жара, но окна приходилось держать закрытыми, т.к. пыль тяжелым облаком неслась нам навстречу.

Наконец мы подъехали к месту назначения. Унылая железнодорожная станция от места нашей посадки на пароход в Красноводске, на Каспийском море, находилась в нескольких километрах. Советские солдаты погрузили больных, старых и детей на грузовики и отъехали, оставив нас добираться своими средствами. Взяв свои вещи, мы бодро направились по каменистой пыльной дороге в указанном направлении.

Дорога пустынна, по бокам скалы, горизонт незаметно сливается с небом в желтоватой мгле. Нас всех предупредили, что поляки встретят нас только на пароходе, но и там командование будет советское. При посадке мы обязаны пройти советский контроль документов и вещей.

Было часов 11, мы шагали под раскаленным небом по нагретым камням и песку в удушливом облаке красноватой пыли, которая забивалась всюду и мешала дышать. Большинство женщины. Каждая несла уцелевшее за эти 3 года последнее свое достояние. Мы не ожидали, что эта, казалось бы, недлинная дорога окажется нам всем совершенно непосильной.

Уже через полчаса стали мы присаживаться на камнях, чтобы отдышаться, протереть воспаленные глаза и вытереть вспотевшее лицо. Ясно было, что надо идти налегке и вещи выбросить по дороге, взяв только самое необходимое. Открываем чемоданы, развязываем узлы. Тут только увидала я серебряный тяжелый поднос и сервиз, которые Божко с Вандой, несмотря на мое запрещение, все же засунули в чемодан. Их первые и пришлось выкинуть в пустыне среди скал и песка. Оглядываясь, я долго еще видела отраженное в них, как в зеркале, ослепительное солнце. Никто из наших не вздумал их подобрать.

Шли и шли дальше, завязали ноги в мельчайшей пыли, снова и снова останавливались, открывали чемоданы, снова выбрасывали вещи: сапоги, белье, одеяла, а потом и сами чемоданы. Запыхавшись, обливаясь потом, но смеясь, связывали последний узелок со сменой белья и платья.

Было около трех часов дня, когда мы добрались, еле волоча ноги, до места нашего сбора. Безлюдная пустыня, деревянный барак, но пахнет морем, а у далекого от нас мола стоит пароход.

Здесь, под открытым небом, утолив жажду тепловатой водой и умыв под краном лицо и руки, сидели мы на краю дороги длинной вереницей, ожидая начальство.

Вокруг, особенно среди молодых, – ропот. "Вот как нас Советы провожают за нашу трехлетнюю работу!" Стражи нет. Это Советы нарочно устроили, что наши вещи не подвезли, знали, что мы их не донесем, теперь поедут собирать! возмущались мои молодые соседки, с грустью осматривая свои узелки.

Наконец, появились солдаты под начальством молодого энкаведиста. Они выстроили нас попарно в длинную шеренгу, перед нами на земле открыты вещи на просмотр. Справа от нас уходящий в открытое море мол и пароход, стоящий на рейде. Все наши мысли и чувства направлены к этому невзрачному, облупленному пароходу, около которого снуют люди.

Начался обход. Спереди идет солдат с мешком, туда мы должны бросать оставшиеся советские деньги, книги, фотографии, все печатное. За ним в нескольких шагах – офицер. Он внимательно просматривает у каждого по очереди "удостоверение", все остальные

документы, справки, свидетельства, официальные бумаги выбрасываются в мешок. Освободившиеся, подхватив свои вещи, с сияющими лицами убегают к молу. Шеренга медленно двигается вперед. Я стою во втором ряду.

– Ну, как могут меня пропустить? – шепчу я своей соседке.

– А вот увидите, как пройдете! – задорно отвечает она. – Мы уже сговорились, вы первая бросайте деньги без очереди, это нам знак. Уже все предупреждены, мы все вместе такое замешательство устроим, что он ничего не успеет разобрать.

Они уже заранее хохочут, предвкушая потеху, я же стою настороже. Они подталкивают меня вне очереди, я через них бросаю деньги и письма в мешок. Все глаза вокруг были обращены на это. Шеренга только и ждала этого движения и внезапно начала напирать на нас, как бы торопясь. Мы уже стоим не в два ряда, а целой группой, обступая энкаведиста. Ему жарко, фуражка сдвинута на затылок, лицо красное и лоснится от пота. Вокруг него без всякого порядка бросают деньги и книги в мешок. Часто они падают мимо, летят советские бумажки, их подхватывают в воздухе с криками и смехом. Приходится подбирать их на земле. Нагнувшись, солдат ворчит, зорко следит за ним офицер:

– Куда кидаете? – кричит он на девушек, но они, обступив его со всех сторон, с хохотом и шутками суют ему свои документы.

– Вот мы и уезжаем! заглядывает одна из них ему в глаза. Скучно вам без нас будет!

– Ничего, проживем, – отшучивается он.

– Смотри, смотри, как плохо фамилию мою прописали, – показывает другая, – вот как надо, – и сует ему конверт от письма.

– Плохо прописали? Ну понятно, не по-нашему, там разберут! А письма не дозволено провозить, почему не бросила? – Он пропустил ее к солдату. Тот тоже остановился, улыбается на смешливых, веселых девушек, а девчонки продолжают напирать со всех сторон. Меня толпа проталкивает вперед и заслоняет. Растерянно оглядывается энкаведист на толпу, заметил, вероятно, мое напряженное лицо, останавливается.

– Вы куда? – хмурится он на меня.

– Как куда? – возмущенно накидываются на него мои заступницы. – Спроси солдата – первая она деньги кидала, да много! А ее бумагу ты сам в руках держал. Как же так? Все тут свидетели! И нас отпусти скорее с ней вместе на пароход, тетя она наша!

— Да вы что это, девчата, без порядка! — нахмурился энкаведист. — Вон вся шеренга ждет! А ну вставай попарно! Давай по одной! — деловито кричит офицер.

Порядок постепенно снова налаживается. Впереди солдат с мешком, за ним нахмуренный теперь энкаведист. Мы же с моими девушками уже далеко. Я, не веря своему счастью, с узелком бегу к сходням.

— Видите! — хохочут девушки. — Слава Богу, все обошлось, а мы было испугались, когда он вас вдруг окликнул. Вам бы надо было тоже смеяться, а вы были такая серьезная. Он вас и приметил, — говорили они, перебивая друг друга, отвечая на мои смущенные, благодарные слова.

Оживленные, счастливые, мы все вместе взбежали по сходням на палубу. Здесь нас уже встретил польский офицер, и мы влились в густую, движущуюся толпу, наводнившую палубу, трапы и трюмы. Со всех сторон слышатся взволнованные разговоры, а у меня кружится голова от пережитого волнения и радости. Поток людей все прибывает. Вот поднялась к вечеру группа знакомых лиц. Это мои сослуживцы и знакомые из Актюбинска. С бьющимся сердцем пробираюсь к ним. По их словам, они только что приехали следом за нами, глазами ищу среди них высокую фигуру Скоповича, но его не видно. Перебивая друг друга, они мне рассказывают последние новости. "Вовремя вы выехали, — стараются они перекричать гул толпы, обращаясь ко мне. — Плохо там стало! Нам удалось с пропусками вырваться оттуда неделю тому назад, все это время прожили в лагере, еле-еле попали на этот транспорт. Никто в Актюбинске не ожидал, что так все переменится к худшему. Перед нашим отъездом пережили мы все просто панику. Неожиданно закрыли делегатуру. Из кино мы все попрятались кто куда! Критского арестовали ночью у него на дому, жена и сын успели скрыться, но выехать с нами не захотели. В делегатуре всех служащих объявили шпионами. Кто не бежал, тех арестовали! Магазин реквизировали. Разрешений на выезд никому больше не выдают, хорошо Критский нам успел всем пропуск заранее достать. Вы себе не представляете, что делалось на станции, когда мы выезжали! Это был какой-то кошмар! Поезда брались приступом, вещи оставляли на перроне — только бы самим сесть! Теперь, ходят слухи, выпускают на юг и без пропусков, не знаем, правда ли это, но эти уже на транспорты не попадут! Говорят, Жуков закрыл запись выезжающих в Персию. Остались в Янги-Юль только генерал Андерс с последней партией военных. Они должны все ликвидировать, а после их отъезда границу совсем закроют! Говорят, Советы собираются из оставшихся поляков

создать ”Армию Освобождения”, но это все слухи, никто не знает, что будет с теми, кто там остался”.

”Не слыхали ли вы что-нибудь о докторе Скоповиче и его жене?” – спрашиваю я их со страхом. ”Как же, как же! – отвечали они мне. – Они вам не родственники? Они тоже вырвались из Актюбинска, но приехали в наш лагерь слишком поздно и в списки выезжающих не попали! Как они плакали, провожая нас. Но никто, даже Андерс не мог им помочь!”

Ну вот, остались, с горечью думала я. Из-за тряпок, из-за вещей! Что они теперь там испытывают, продав все и оставшись на мели. Одно счастье, они вместе, он врач – всегда работу найдет. Это известие о них было последнее, которое мне удалось услышать. Как и многие, с которыми у меня была дружба, канули они в вечность, и только в сердце осталось о них светлое воспоминание!

Много позже, уже в Персии, нам стало известно, что за две эвакуации из Советского Союза удалось вывезти только 115 000 человек. В это число входила и армия, и гражданское население, находившееся в Ташкенте. Остальные полтора миллиона поляков, вывезенных из Польши, остались в СССР, многие из них погибли в лагерях и тюрьмах, пропали без вести по колхозам и поселкам, были уничтожены, как потом выяснилось, в Катыни, где погибло 15 000 кадровых офицеров и солдат. Когда же опущен был железный занавес, после отъезда генерала Андерса, Советы стали вербовать поляков в армию под лозунгом ”Союз польских патриотов”. Армия эта была всецело подчинена советскому командованию и мало кому из нее удалось впоследствии бежать к Андерсу из немецкого плена.

С тяжелыми мыслями смотрю на плоский, пустынный берег, и невольно навертываются слезы. У нас по опыту не было иллюзий об участи оставшихся.

К вечеру закончили погрузку. На берегу суетится толпа. Хоть бы скорее отъехать! думает каждый из нас. И тут ходят слухи, что и с парохода снимают людей, пока не отъехали, мы в их власти.

Наконец зычно прогудел долгожданный гудок, пронзительный и мощный, он потрясает воздух... другой, третий... снимают сходни, гремят по палубе тяжелые цепи. Матросы наматывают канаты.

Незаметно после третьего гудка отходит от нас вдруг опустевший берег. Освещенный заходящим солнцем, он вытягивается в длинную полосу, которая становится все уже и уже.

Стою на корме у самого борта. Серебряная поверхность сверкающей воды рассекается, отходят в обе стороны гладкие валы, убегающие вдаль.

Мрачный берег уходит все дальше, а с ним и наше прошлое. Туманом покрываются образы ушедших навсегда друзей...

Солнце заходит, розовеет небо, поднимается ветер, а в душе всплывает что-то новое, еще неведомое.

Чернеет толпа неподвижно стоящих на палубе людей. Старики, женщины, дети. Все молчат! Многие со слезами вглядываются в туман уходящей дали.

Мало кто торопится спуститься в трюм, чтобы занять место поудобнее, не до того! Трудно нам всем оторваться сердцем и мыслями от этой земли, где каждый из нас что-то отдал и оставил какую-то частичку своего сердца и души!

"Хорошо бы отслужить молебен!" – слышатся взволнованные речи, но ксендза среди нас нет. Армия, кого возможно, эвакуировала еще с первым транспортом.

Все же каждый из нас несомненно чувствовал на себе благословляющую, спасающую и ведущую руку, и всякий как умел про себя благодарил Бога за избавление и просил поддержки и помощи оставшимся.

ЭПИЛОГ.

Приехав в Иран, мы высадились в порту Пахлеви–пустынном, окруженном солдатами. Тут нас встретили англичане. Они с любопытством и, казалось, с сочувствием пропускали нас без всякого контроля. За барьером я сразу заметила Марию, нашу Марию из колхоза! Она стояла, присматриваясь к проходящим, и, увидев меня, заулыбалась. Пораженная ее видом, я поспешила пробраться к ней через толпу. Она стояла спокойная, уверенная в себе, как бы выросшая, элегантная, в форме Корпуса Андерса. Мария уехала из Актюбинска еще в марте и теперь работала в порту, принимая транспорты из России. О моем приезде она знала из списков и давно уже ждала меня. Эта встреча оказалась для меня очень важной. Мария ввела меня в новый, чужой для меня мир. Зарегистрировала, наладила переписку с внешним миром, помогла без промедления выехать в Тегеран, где я стала работать сестрой в госпитале. В декабре 42 года мне предложили ехать работать в Ахваз – там создавался транзитный лагерь для наводнившего Иран польского гражданского населения.

Должна сказать, что поначалу пребывание в Иране было радостно. Выбравшись из России, поляки словно возродились. Никто не сомневался в победе союзников, все стремились принять участие в борьбе с немцами, надеясь вернуться в свободную Польшу. Работать в Ахвазе было интересно, я сблизилась с англичанами и лагерной администрацией, во главе которой стоял польский делегат. Там я получила известие о том, что немцы, заняв Барановичи, выпустили из тюрьмы моего мужа. Как подтверждение этого события, уже в январе 43-го года, пришло письмо, написанное его рукой. Тут уж ликовала не я одна! Многим это дало надежду получить вести от пропавших близких. Моя переписка с семьей стала регулярной. Вскоре я узнала, что Мише удалось помочь отцу вернуться к семье из Щорс в наше поместье во Франции.

Но уже в 43 году радужные надежды сменились тревожными опасениями. Грозные слухи, а потом и официальные сообщения вызывали страх и негодование. Катынь, постановления Тегеранской

конференции, новая граница с СССР (для нашей семьи – потеря Щорс), затруднения дипломатических отношений между СССР и законным польским правительством в Лондоне... Надежды таяли с каждым днем. Многие мои друзья шли в армию, уговаривали и меня поступить сестрой в Корпус Андерса. Я и сама давно об этом мечтала, и, благодаря англичанам и нашему делегату, мне легко удалось это сделать. Очень скоро я получила вызов в штаб нашего Красного Креста, который находился в Иерусалиме. Оттуда меня послали работать сестрой в Египет. Там, в Эль Кантаре, был большой чисто польский отдел. Здесь царили полное доверие и взаимопонимание, и это очень помогло нам пережить потрясения, которые нас ждали: гибель Сикорского, Варшавское восстание, трудности, переживаемые нашим лондонским правительством, Ялтинскую конференцию и, наконец, создание нового правительства в Варшаве.

К сожалению, нашу дружную группу разъединили – сестер, знающих языки, перевели в Александрию (мой последний этап), там мы работали в чисто английском госпитале, где были и польские раненые. Тут дисциплина была военная, очень строгая, так что свободно общаться между собой было невозможно.

Наступил май 45-го года, и с ним – окончание войны. Среди всеобщей радости и веселья настроение поляков омрачалось тяжелой неизвестностью – о будущем Корпуса, о будущем самой Польши. Многие стали хлопотать в Каире о демобилизации или об отпуске. В это смутное время я узнала из писем детей, что муж мой тяжело болен, и, ссылаясь на это, тоже подала прошение об отпуске. Добиться желаемого оказалось нелегко. Только в октябре 45 года я, наконец, смогла оставить работу и выехать в специальный лагерь. Тут, живя в загроможденных багажом палатках, мы ждали переправки в Европу. Из разговоров с польскими офицерами я узнала о лагере в Ахвазе и о судьбе Корпуса Андерса, где у меня оставались друзья. Из Ахваза все бегут, лагерь ликвидируется, едут кто куда, чтобы соединиться с близкими. Корпус Андерса пришлось сократить, началась демобилизация. Из Варшавы приехала комиссия по репатриации. Но, несмотря на обещания и уговоры, большинство опасается возвращаться в Польшу и не знает, на что решиться. Материальное положение у них трудное, языков они не знают, эмиграции не хотят, но и возвращения в новую Польшу боятся.

Зная все это, нелегко мне было покидать остающихся друзей в такое трудное для них время. Я возвращалась в свободный мир, к семье, а они теряли ту Польшу, за которую боролись, за которую было отдано столько сил и столько жизней. Я тоже теряла эту Польшу.

Что, по существу, она значила для меня – русской? Очень многое! Щорсы – оазис после разгрома России. Мария, страстная патриотка, ее отец пан Юзеф, умерший от голода в Актюбинске со словами "Тшимайтесь!". Жертвенная Марыся, выходившая меня, когда я болела тифом. Милая Ванда, украсившая мою жизнь в изгнании заботой и любовью. Да просто все мое окружение, люди, которые наперекор всему, часто с безрассудной храбростью, шли на большие жертвы, чтобы сохранить свою веру, свободу и независимость своей родины. Вот эти-то незыблемые принципы и объединяли меня с ними.

В начале ноября 45 года, ранним утром, мы, наконец, отчалили от берегов Египта и вышли в открытое море. В Бари нас сразу погрузили на военные грузовики, чтобы двинуться дальше, на север. Во время этого путешествия – на остановках, ночевках, при перегрузке вещей – нас повсюду сопровождала помощь Корпуса Андерса. Мы расстались с ними на французской границе. Мы были им очень благодарны, на прощанье хотелось их расцеловать, но они, стоя "смирно" и глядя на нас строго и печально, по-военному отдали нам честь! После минутного замешательства, мы ответили им тем же.

Марсель. Ночевка. Проверка документов. Потом поезд в Париж. Стоя у окна, я с радостью и волнением вновь увидала знакомый французский пейзаж, услышала такой близкий мне французский говор. Вокзал. Сестра. Дети! Ищу глазами Полю, но его нет. Первое прямое указание на тяжесть его болезни. Вечер и ночь у сестры. Беспорядочные вопросы, еще более беспорядочные мои ответы на русско-польском языке! Наутро выезд в Бордебюр на Луаре. С маленькой станции Бони нанятая машина везет нас к дому. Круто завернув под железнодорожным мостом, мы въезжаем в тенистую липовую аллею. После густой тени открывается перед нами лужайка, ярко освещенная солнцем. За ней открывается старинный дом, окаймленный гармоничными строениями.

Мы молчим. Мыслей нет. Одно только незабываемое ощущение завершающегося чуда! Вот тут, сейчас! В этой тихой обители! Остановились. Миша ведет меня под руку к главному входу.

– А вот и папа́! – говорит он, показывая мне на окно второго этажа.

Остановились. Смотрю вверх. Поля стоит, опираясь рукой на оконную раму и смотрит вниз. Наши глаза встретились. Взгляд его тот же – внимательный и мягкий. На до неузнаваемости похудевшем лице светится патетическая улыбка. Он что-то говорит, но окно высоко, а говорит он тихо, и его первые слова не долетели до меня... Все же мне было даровано прожить с ним почти год. Он скончался летом, окруженный заботой и семьей.

СОДЕРЖАНИЕ

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 7 DÉCEMBRE 1984
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 8899

Об авторе

Ольга Александровна Хрептович-Бутенева родилась в 1890 году, в 1920 году эмигрировала, жила во Франции. В 1935 году, выйдя замуж за овдовевшего графа А. К. Хрептович-Бутенева, переселилась с семьей мужа в Польшу, в родовое имение Щорсы. В 1939 году большевистский захват восточной Польши положил конец налаженному быту и разметал семью. А. К. Хрептович-Бутенев был арестован, Ольгу Александровну вместе с многочисленными поляками выслали в Казахстан, где она прожила три года. Когда стала формироваться армия генерала Андерса, ей удалось через Иран, Палестину и Египет вырваться на Запад. С 1945 года Ольга Александровна живет во Франции.

Серия "Наше недавнее"

Вышли из печати:

1. Н. В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии.
2. Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни.
3. О. А. Хрептович-Бутенева. Перелом (1939—1942).

Готовится к печати:

4. А. В. Герасимов. На лезвии с террористами.

I.S.B.N. 2-85065-054-4